

Фихте Иоганн Готтлиб. Речи к немецкой нации

1808, источник: [здесь](#). Серия патриотических лекций, прочитанных философом Иоганном Готтлибом Фихте в Берлине в период оккупации Пруссии Наполеоном. В этих речах Фихте призывает к духовному возрождению немецкого народа через образование, культуру и внутреннюю моральную дисциплину. Данное произведение является основополагающим для идеологии национализма.

- [Предисловие](#)
- [Основная часть](#)
 - [Первая речь. Предварительные напоминания и обозрение целого](#)
 - [Вторая речь. О сущности нового воспитания в общих чертах](#)
 - [Третья речь. Продолжение описания нового воспитания](#)
 - [Четвертая речь. Основное различие между немцами и другими народами германского происхождения](#)
 - [Пятая речь. Следствия указанного различия](#)
 - [Шестая речь. Изложение основных черт немцев в истории](#)
 - [Седьмая речь. Еще более глубокое постижение изначальности и немецкости народа](#)
 - [Восьмая речь. Что такое народ, в высшем значении этого слова, и что такое любовь к отечеству](#)
 - [Девятая речь. На какой наличный в действительности пункт должно опираться новое национальное воспитание немцев](#)

- Десятая речь. К ближайшему определению немецкого национального воспитания
 - Одиннадцатая речь. Кому достанется осуществление этого плана воспитания
 - Двенадцатая речь. О средствах для нас сохранить себя до осуществления этого плана
 - Содержание тринадцатой речи. Продолжение начатого ранее рассуждения
 - Четырнадцатая речь. Заключение целого
-
- Приложение к «Речам к немецкой нации»
 - Примечания

Предисловие

Нижеследующие речи были произнесены в Берлине зимой 1807–1808 в виде ряда лекций, и как продолжение прочитанных мною там же зимой 1804–1805 «Основных черт современной эпохи» (напечатанных в том же книгоиздательстве в 1806)[2]. То, что следовало мне сказать публике в этих речах и этими речами, высказано в них самих, и постольку к ним не нужно никакого предисловия. Между тем за истекшее время (вследствие того, в каком виде эти речи были напечатаны) возникло пустое пространство, требующее заполнения. Я наполню его тем, что отчасти уже прошло цензуру и было напечатано в другом месте, о чем напоминают нам слова, бывшие причиной возникновения упомянутого пробела, и что, в общем, могло бы найти здесь применение – укажу в особенности на заключение двенадцатой речи, касающееся того же самого предмета.

Берлин, в апреле 1808 года.

Фихте

Из сочинения «О Маккиавелли как писателе, и фрагменты из его работ» [3]

I. Из заключения этого сочинения

Прежде всего нам приходят на мысль два рода людей, от нападков которых мы желали бы защититься, если бы только могли.

Прежде всего – такие люди, которые, коль скоро сами они никогда не выбирают мыслью дальше последнего номера газеты, полагают, что и никто другой не в состоянии мыслить шире; что, стало быть, все, о чем говорят или что пишут, имеет некоторое отношение к этой газете, и призвано служить для нее комментарием. Этим людям я прошу принять во внимание, что никто не может сказать: «смотри, он разумеет здесь такого-то и такого-то», – если прежде сам не составит в самом себе суждения, что «такой-то» и «такой-то» человек действительно и в самом деле таков, что его здесь могли иметь в виду; что поэтому писателя, рассуждающего в общем и забывающего всякое частное время в изложении правила, объемлющего все времена, никто не может обвинить в сатире на личности, если прежде сам, как изначальный и самобытный творец, не составил такую сатиру, и поэтому, обвиняя, самым глупейшим образом выдает свои собственные сокровеннейшие мысли. Затем есть еще такие люди, которые не стыдятся никакой вещи, но стыдятся, и притом безмерно, слов об этих вещах. Ты можешь топтать их ногами у всего света на виду – им от того ни стыда, ни вреда не будет; но вот если пойдут разговоры о том, что кого-то топтали ногами, это уже будет нестерпимое для них оскорбление, и тут только начинаются для них неприятности: Ведь, кроме того, ни один разумный и благожелательно настроенный

человек и не начнет подобного разговора из злорадства, а разве только для изыскания средств к тому, чтобы этого более не случилось. Так же точно обстоит у них и с будущими неприятностями: Они хотят, чтобы им не мешали предаваться их сладким мечтаниям, и потому плотно закрывают глаза на будущее. Поскольку же другим, у которых глаза открыты, это не мешает видеть то, что приближается, и они могут впасть в искушение сказать, и назвать по имени, что они видят, – самым надежным средством от этой опасности этим людям представляется: помешать зрячим это сказать и назвать. Как будто, в противоположность действительному порядку вещей, не-сказавший станет оттого невидящим, а не-видение предмета означает его небытие. Так лунатик разгуливает по самому краю пропасти. Из милосердия к нему не зовите его – сейчас его состояние хранит его невредимым, но если он проснется, то упадет в пропасть. Пусть же и сновидения тех людей дают им привилегии, дарование и уверенность лунатиков: тогда у нас будет средство спасти их, не крикнув и не разбудив их. Говорят, что страус так же закрывает глаза при виде подходящего к нему охотника – и тоже полагает при этом, будто опасность, которая ему более не видна, вообще более не существует. И не будет ведь врагом страусу тот, кто крикнет ему: «Открой глаза, смотри – вон идет охотник, беги в ту сторону – и спасешься от него».

II. Большая свобода пера и печати в эпоху Макиавелли

Быть может, кто-нибудь из наших читателей удивится, как могло случиться с Макиавелли все только что рассказанное нами. Ввиду этого и в связи с предшествующим разделом, вероятно, стоит труда, в начале 19-го столетия, из стран, которые хвалятся величайшей свободой мысли, бросить взгляд на ту свободу пера и печати, какая была в Италии и в папской резиденции, Риме, в начале 16-го столетия. Из тысяч примеров я приведу лишь один. «История Флоренции» написана Макиавелли по предложению папы Климента VI[4], и посвящена ему же. В этой «Истории», уже в первой книге, мы находим следующие слова: «До этих пор мы ни разу не упоминали ни одного племянника или родственника какого-нибудь папы, отныне же история будет полна подобных упоминаний, пока нам не придется заговорить об их сыновьях. Таким образом, для будущих пап остается только одна возможность достичь здесь большего: а именно, как до сих пор они старались поставить этих своих сыновей во главе княжеств, оставить им же в наследство и папский престол».

На эту «Историю Флоренции», как и на книгу о «Государе» и на «Рассуждения»[5], тот же Климент, *honesto Antonii* (так звали издателя) *desiderio annuere volens*[6], объявляет привилегий (*Privilegium*), в котором всем христианам запрещается перепечатка этих сочинений, под страхом отлучения от Церкви, а для папских подданных кроме того конфискации экземпляров и штрафа в 25 дукатов.

Впрочем, это вполне объяснимо. Сами папы и церковные гранды рассматривали все свои труды лишь как иллюзию для самой подлой черни и, если возможно, также для ультрамонтанов, и они были достаточно либеральны, чтобы позволить всякому образованному итальянцу с утонченным вкусом думать, говорить и писать об этих предметах так же, как они и сами говорили о них в своем кругу. Образованного человека они не хотели обманывать, а чернь не читала книг. Так же точно легко объяснить, почему впоследствии понадобились иные меры. Реформаторы учили немецкий народ читать, они

ссылались на таких писателей, которые писали на виду у пап; пример народного чтения стал заразителен для других стран, и отныне писатели превратились в страшную силу, которую поэтому надлежало содержать под более строгим надзором.

Эти времена тоже миновали, и теперь – особенно в протестантских государствах – известные отрасли писательства, как например, философское утверждение общих принципов всякого рода, подвергаются цензуре, конечно же, только потому, что это уж так издавна повелось. Поскольку же при этом оказывается, что тем, кто ничего не способен сказать, кроме того, что все и так уже знают назубок, всемерно позволяется употребить на то столько бумаги, сколько им угодно; а если действительно хотят сказать что-то новое, то цензор, будучи неспособен сразу же понять это и полагая, что в этом может заключаться некий яд, скрытый лишь от него одного, склонен бывает скорее запретить сочинение, чтобы уж наверняка не ошибиться: то, может быть, иного писателя в протестантских странах в начале 19-го столетия не стоит упрекать за то, что он желает для себя скромной и приемлемой доли той свободы печати, которую папы без колебаний признавали за авторами в начале 16-го столетия.

III. Из предисловия к оставшимся ненапечатанными беседам о любви к отечеству и ее противоположности [7]

...В этих же пределах, каких требует справедливость и рассудительность, они, я полагаю, должны позволить нам сказать не стыдясь то, что сами они не стыдятся делать в действительной жизни; ибо ведь, без всякого сомнения, поступок, который бросается в глаза, даже если мы ничего о нем не скажем, чинит много больше неприятностей, чем все наши последующие речи об этом поступке. И хотя тем людям, которые по долгу своей службы исполняют надзор за публичным книгопечатанием, ничто не мешает лично самим принадлежать к одной из спорящих ныне партий в духовном мире, – но все же они могут защитить интересы этой своей партии лишь в том случае, если сами выступят однажды в роли писателей. Но как должностные лица они не имеют партии, и должны предоставить слово разуму (который и так уж много реже просит у них слова, чем неразумие) так же точно, как позволяют они всякий день неразумию тешить свою нужду сколько вздумается; однако им отнюдь не позволено запретить нам издавать вслух какой-нибудь звук потому, что для их ушей он звучит непривычно и парадоксально.

Написано в Берлине, в июле 1806 года

Основная часть

Первая речь.

Предварительные напоминания и обозрение целого

Речи, которые я теперь начинаю, объявлены мною как продолжение лекций, читанных мною три года назад здесь, на этом самом месте, и изданных под заглавием: «Основные черты современной эпохи». В упомянутых лекциях я показал, что наше время находится в третьем основном разделе совокупного мирового времени, в каковом разделе мотивом всех живых движений и побуждений оказывается сугубо чувственная корысть; что это время вполне понимает и постигает себя самое также лишь под условием названного мотива как единственно возможного; и что благодаря этому ясному постижению своей сущности оно глубоко укоренено и прочно основано в этой своей живой сущности⁸.

У нас, более нежели в какую-нибудь эпоху с тех самых пор как существует мировая история, время идет вперед гигантскими шагами. За три года, прошедшие с тех пор, как я дал это истолкование текущего отрезка мирового времени, этот отрезок где-то совершенно истек и завершился. Где-то эгоизм, через полное свое развитие, уничтожил сам себя, утратив благодаря такому развитию свою самость и ее самостоятельность; и ему – коль скоро он по доброй воле не желал полагать себе никакой иной цели, кроме себя самого – внешняя сила навязала эту иную и чуждую цель. Кто однажды взялся толковать свое время, тот должен сопровождать своим истолкованием и его дальнейший ход, если оно получает этот дальнейший ход. И поэтому на меня ложится обязанность – перед той же самой публикой, пред которой я назвал нечто настоящим временем, признать его прошедшим, после того как оно перестало уже быть настоящим.

То, что утратило свою самостоятельность, утратило в то же время и способность вмешиваться в течение времени и свободно определять его содержание; для него, если оно задержится в этом состоянии, его время и само оно в этом своем времени совершается чуждой властью, которая повелевает его судьбой; отныне у него уже вовсе нет более своего собственного времени, но оно считает года по событиям и отрезкам истории чужих народностей и царств. Из этого состояния, в котором весь его прежний мир неподвластен его самодеятельному вмешательству и в этом мире ему остается только слава послушания, оно могло бы подняться единственно лишь при условии, что перед ним открылся бы некий

новый мир, создав который, оно начало бы новый и свой собственный отрезок во времени, и развитие которого наполнило бы его совершенно. Однако, поскольку уж оно подчинено чуждой власти, этот новый мир должен быть таким, чтобы он остался незаметен для этой власти и никоим образом не возбуждал бы в ней ревности; и даже, чтобы собственная выгода побуждала эту власть не чинить никаких препятствий устройению этого нового мира. И если бы для поколения, утратившего свою прежнюю самость и свое прежнее время и прежний мир, существовал таковой мир, как средство порождения новой самости и нового времени, то для всестороннего истолкования даже и возможного времени надлежало бы указать на этот мир с таким именно свойствами.

И вот, что касается меня, я полагаю, что такой мир существует; и цель этих речей в том и заключается, чтобы доказать Вам существование и подлинного хозяина этого мира, представить Вашим глазам живой образ этого мира и указать средства для его созидания. А потому эти речи станут таким образом продолжением читанных мною некогда лекций о том времени, которое было тогда настоящим, ибо они раскроют перед Вами новую эпоху, которая может и должна непосредственно последовать за разрушением, чуждою властью, царства эгоизма.

Однако прежде, чем я приступлю к этому делу, я вынужден просить Вас предположить (так, чтобы это ни на минуту не ускользнуло от Вашего внимания) и согласиться со мною, там и постольку, где и поскольку это необходимо, в следующих пунктах:

1). Я говорю для немцев вообще, о немцах вообще, не признавая, но решительно отставляя в сторону и пренебрегая всеми теми разделяющими различиями, которые злосчастными событиями созданы были в течение веков в единой нации. Хотя Вы, почтенные слушатели, для моих плотских глаз оказываетесь первыми и непосредственными представителями, в которых воплощены для меня любезные мне национальные черты немцев, и зримым фокусом, в котором возгорается пламя моей речи; но дух мой собирает вокруг себя образованную часть всей немецкой нации, из всех тех земель, по которым она рассеяна, учитывает и понимает положение и обстоятельства, общие для всех нас, и желает, чтобы частица той живой силы, с которой охватят Вас, быть может, эти речи, осталась и в немом отпечатке, который только и попадет на глаза здесь отсутствующим, и дышала в нем, и воспламеняла повсюду души немцев к решимости и к действию. Я сказал: «только о немцах и для немцев вообще». В свое время мы покажем, что любое другое обозначение единства или национальная связь либо не имела в себе никогда истины и значения, либо же, если бы она и имела в себе истину, эти объединяющие точки уничтожены и отняты у нас нашим нынешним положением – и им никогда не дано возвратиться; и что только общая основная черта нашей немецкости позволит нам предотвратить гибель нашей нации в слиянии ее с границей, и что лишь в ней мы сможем вновь обрести самость, покоящуюся лишь на себе самой и решительно исключаящую всякую зависимость. И когда мы постигнем это последнее обстоятельство, для нас совершенно исчезнет и мнимое противоречие этого утверждения другим обязанностям и почитаемым священными задачам – противоречие, которое теперь, может быть, пугает некоторых из вас.

И поэтому, раз я говорю только о немцах вообще, кое-что из того, что не относится непосредственно к собравшимся здесь людям, я выскажу как то, что верно все-таки и для

нас, и так же точно другое, справедливое прежде всего только для нас, я выскажу как то, что верно для всех немцев. В духе, изливанием которого являются эти речи, я вижу прочно сросшееся единство, где ни один член не считает судьбу какого-нибудь другого члена чуждой для себя, единство, которое должно и обязано возникнуть, если нам не суждено до конца погибнуть, – вижу это единство уже возникшим, законченным и предстоящим нашему взору как действительность.

2). Я предполагаю не таких немецких слушателей, которые предаются всецело всем существом своим чувству боли от пережитой утраты, и довольны собою в этой своей боли и пробавляются своей безутешностью, и думают примириться в этом чувстве с обращенным к ним призывом к действию; но таких слушателей, которые уже возвысились или, по крайней мере, способны возвыситься даже через эту справедливую боль до ясной сознательности и рассуждения. Эта боль мне знакома, я чувствовал ее подобно всякому, я чту ее; тупость, что бывает довольна, если находит себе пищу и питье и не испытывает физической боли, и для которой честь, свобода, самостоятельность суть имена без смысла, неспособна ощущать ее. Но и эта боль является в нас единственно для того, чтобы побуждать нас к размышлению, решимости и действию; не достигая этой своей конечной цели, она лишает нас способности осмысливать жизнь и всех тех сил, что еще остаются у нас, и тем усугубляет наши бедствия; ибо, кроме того, как свидетельство нашей косности и трусости, она служит наглядным доказательством, что наши бедствия достались нам по заслугам. Но я отнюдь не собираюсь возвысить Вас над этой болью, обнадежив помощью, которая придет к нам извне, и сославшись на всякого рода возможные события и перемены, которые, положим, могли бы произойти с течением времени: Ибо, даже если бы этот образ мысли, который предпочитает витать в непрочном мире возможностей, но не опираться на необходимость, и который хочет быть обязан своим спасением слепому случаю, но не себе самому, не обнаруживал уже сам по себе самого предосудительного легкомыслия и глубочайшего презрения к себе (как это и есть в самом деле), то, кроме того, все подобные утешения и указания еще и совершенно неприменимы к нашему нынешнему положению. Можно строго логически доказать (и мы в свое время это докажем), что никакой человек, никакой бог, и никакое событие из всех событий, находящихся в пределах возможного, не сможет помочь нам, но что, если нужна нам помощь, только мы сами должны помочь себе. Скорее, я попытаюсь возвысить Вас над этим чувством боли через ясное понимание нашего положения, силы, которая еще остается у нас, и средств нашего спасения. Поэтому я, конечно, потребую от Вас известной меры размышления, известной самодеятельности и некоторой самоотверженности, и потому рассчитываю на таких слушателей, от которых всего этого ожидать возможно. Между прочим, все требуемое мною легко и не предполагает сколько-нибудь большей силы в человеке, чем та, какую, по-моему, вполне можно признать возможной в нашу эпоху; что же до опасности, то опасности здесь вовсе никакой нет.

3). Собираясь образовать в немцах как таковых ясное понимание их настоящего положения, я предполагаю слушателей, которые склонны смотреть на предметы такого рода собственными глазами, а вовсе не таких, которые находят более удобным дать подсунуть себе при рассмотрении этих предметов чужой иностранный бинокль, либо нарочно рассчитанный на искажение, либо же по самой природе своей имеющий иную точку зрения или меньшую резкость, и потому отнюдь не пригодный для немецких глаз. Далее, я предполагаю, что эти слушатели, рассматривая предмет собственными глазами, имеют

достаточно смелости, чтобы честно взглянуть на то, что есть, и честно сознаться себе, что именно они видят. И что они или уже победили, или хотя бы способны победить в себе часто проявляющуюся склонность вводить себя в обман относительно своих собственных дел и рисовать себе не столь безотрадную картину этих дел, как та, которой требует истина. Эта склонность есть трусливое бегство от своих собственных мыслей и детский ум, который мнимо полагает, что если он не видит своего бедствия или по крайней мере не признается сам себе в том, что видит его, то тем самым его бедствие уничтожается и в самой действительности, как оно уже уничтожено в его мысли. Напротив, мужественная смелость состоит в том, чтобы твердо смотреть в глаза беде, заставляя ее выдерживать наш напор, спокойно, хладнокровно и свободно проникать в нее взглядом и разлагать ее на составляющие ее части. К тому же, благодаря такому ясному пониманию, мы становимся хозяевами своего бедственного положения и уверенным шагом движемся в борьбе со злом, потому что, не теряя из виду целое в каждой его части, мы всегда знаем, где мы находимся, и, однажды достигнув ясности, уверены в победе своего дела; а тот, другой, вслепую и на ощупь бродит, погрузившись в мечтания, без прочной путеводной нити и твердой уверенности.

И почему же мы должны бояться этой ясности? Беда не становится меньше оттого, что мы о ней не знаем, или больше оттого, что мы познаем ее; благодаря последнему она просто станет поправимой; а вину здесь вовсе не следовало бы выставлять на вид. Бичуй косность и себялюбие суровой обвинительной речью, язвительной насмешкой, разящим презрением, и если не можешь добиться от них большего, побуди их по крайней мере к ненависти и ожесточению против самого обвинителя – это все-таки тоже сильное душевное движение, – до тех пор, пока не исполнится мера бедствий как необходимого последствия их и пока еще могут они ожидать себе, вместо исправления, спасения или послаблений. Но когда эти бедствия исполнятся уже настолько, что лишат нас и возможности грешить далее таким же образом, то порицание грехов, которых мы уже не можем более совершать, становится бессмысленным, и имеет вид злорадства; и наше рассуждение в таком случае падает из области учения о нравах в область истории, для которой свобода осталась в прошлом, и которая рассматривает случившееся как необходимый результат предшествовавших событий. Для наших речей остается возможным только это последнее воззрение на современность, и поэтому мы ни разу не прибегнем к другому способу ее рассмотрения.

Итак, я предполагаю в Вас этот образ мысли: представление о себе самом как о немце вообще, не скованное даже болью утраты, стремление видеть истину и смело смотреть ей в лицо. На этот образ мысли рассчитывает каждое слово, которое я здесь произнесу, и если кто-нибудь явился в это собрание с другим воззрением, то все неприятные ощущения, которые вызовет у него услышанное здесь, он должен будет приписать единственно лишь себе самому. Скажем это теперь раз навсегда – и на том покончим; а теперь я перейду к другому делу, и представлю вам в общем обзоре основное содержание всех последующих речей.

Где-то, – сказал я в начале речи. – эгоизм, вполне развившись, уничтожил сам себя, утратив тем самым свою самость и способность самостоятельно полагать себе цели. Это, произошедшее ныне, уничтожение эгоизма составляло указанное мною дальнейшее развитие времени, и совершенно новое событие в этом времени, которое, по моему

убеждению, делало для меня возможным, а равно и необходимым продолжить данное мною некогда описание этого времени. Это уничтожение, стало быть, есть наше собственное настоящее, на которое должна непосредственно опираться наша новая жизнь в новом мире, существование которого я также при этом утверждал. Поэтому оно должно составлять подлинный исходный пункт моих речей; и прежде всего мне надлежит теперь показать, как и почему подобное уничтожение эгоизма необходимо последует из его наивысшего развития.

Эгоизм бывает развит до наивысшей своей степени, когда, покорив себе сперва всех правителей, за незначительными исключениями, он от этих правителей овладевает и всей массой управляемых и становится единственным влечением их жизни. Подобное правление, прежде всего, во внешних своих отношениях начинает пренебрегать теми узами, которыми его собственная безопасность привязана к безопасности других государств, отрекается от целого, один из членов которого составляет, единственно лишь затем, чтобы его не потревожили в его неподвижном покое, и предается печальному заблуждению эгоизма, будто государство пребывает в мире, лишь до тех пор, пока никто не нападает на его собственные границы. Затем является в нем та слабость рук, держащих бразды государственного управления, которая величает себя иностранным именем гуманности, либеральности и популярности, но которую по-немецки вернее будет назвать дряблостью воли и недостойной манерой.

Если он овладеет и управляемыми, сказал я сейчас. Народ вполне может быть испорчен, т.е. эгоистичен (ибо эгоизм есть корень всякой иной нравственной порчи), – и при этом, однако, не только существовать, но совершать даже блестящие по наружности деяния, если только правительство в нем не будет так же точно испорчено; это правительство может даже действовать в отношении с другими вероломно, забыв и честь, и долг, если только внутри страны оно найдет в себе смелость натянуть суровой рукой бразды правления и заставить подданных еще больше бояться себя. Но где соединится все вышеназванное, там общежитие погибнет при первом же серьезном покушении на него, и как само оно вероломно отделилось от того тела, членом которого было, так теперь члены его, не сдерживаемые никаким страхом перед этим правительством и побуждаемые более сильным страхом перед чужими, отделятся от него с таким же вероломством, и разойдутся каждый в свою сторону. Тогда их, стоящих отныне порознь, охватит еще более сильный страх, и они щедрою рукой и с принужденно-веселой миной на лице отдадут врагу то, что скупой и крайне неохотно давали они защитнику отечества; пока впоследствии и правители, всеми преданные и оставленные, не окажутся вынуждены купить свое существование ценою подчинения и послушания чужим планам и целям; а впоследствии и те, кто бросил оружие в борьбе за отечество, под чужим знаменем научатся храбро действовать этим оружием против своего отечества. Так и получается, что эгоизм уничтожается наивысшим своим развитием, и тем, кто по доброй воле не хотел поставить пред собою никакой иной цели, кроме себя самих, эту иную цель навязывает чуждая сила.

Никакая нация, опустившаяся до такого состояния зависимости, не может подняться из этого состояния с помощью обычных или прежде применявшихся средств. Если сопротивление ее было бесплодно, когда она была еще в полной своей силе, то что же может дать сопротивление теперь, когда она лишилась большей части своих сил? То, что

могло бы помочь ей прежде, – а именно, если бы ее правительство властно и строго натянуло бразды правления, – то бесполезно теперь, когда бразды эти только лишь по видимости остаются в его руке, и саму эту руку правительства ведет и направляет чужая рука. На саму себя подобная нация уже не может более рассчитывать, и так же точно не может она рассчитывать на победителя. Этот победитель наверное будет так же безрассуден и так же уныло труслив, какова была сама нация, если он не удержит завоеванных им преимуществ и не станет всеми способами утверждать их за собою. А если бы он с течением времени и стал все же столь безрассуден и труслив, то хотя и погиб бы в этом случае так же точно, как и мы, но гибель его была бы не на пользу нам: Он стал бы добычей нового победителя, а мы стали бы неким самоочевидным и малозначительным придатком к этой добыче. Если для опустившейся таким образом нации все же возможно спасение, то это спасение должно совершиться с помощью совершенно нового, никогда еще доселе не употреблявшегося средства, – посредством созидания совершенно нового порядка вещей. Давайте же посмотрим, что в прежнем порядке вещей было причиной, в силу которой этому порядку необходимо должен был однажды прийти конец, и тогда, в противоположность этой причине, мы найдем то новое звено, которое нужно внести в наше время, чтобы благодаря ему опустившаяся нация воспрянула к новой жизни. Отыскивая эту причину, мы найдем, что во всех до сих пор бывших формах государственного устройства участие индивида в жизни целого было связано с участием индивида к себе самому такими узами, которые как-то совершенно разорвались, так что индивид уже вовсе не проявлял участия к жизни целого, – узами страха и надежды на дела индивида в связи с судьбою целого, в будущей и в настоящей жизни. Просвещение рассудка, занятого лишь чувственными расчетами – вот сила, которая уничтожила связь настоящей жизни с будущей в религии в то же время признала обманчивыми миражами и другие дополняющие и замещающие средства нравственного образа мысли, как то, например, честолюбие и национальную честь. Слабость правительств – вот что уничтожило боязнь за успех дел индивида в связи с его поведением в отношении целого (даже в отношении настоящей жизни), оттого что забвение своего долга нередко оставалось безнаказанным, и так же точно сделало бессильной надежду, оттого что удовлетворяли эту надежду слишком часто по совершенно иным правилам и мотивам, вовсе не принимая во внимание заслуги индивида перед целым. Именно такого рода связи почему-то совершенно разорвались, а от разрыва их разрушилось и все общежитие.

Тем не менее победитель может отныне делать со всем усердием то, что он только и может делать, а именно, вновь прилаживать и усиливать последнюю частицу связующей людей среды – страх и надежду за свою настоящую жизнь. Но это поможет только ему, а отнюдь не нам: Ибо, если только он понимает, в чем состоит его выгода, он соединит в эту обновленную связь прежде всего только дела, важные для него, а нашу пользу лишь постольку, поскольку для него самого будет важно сохранить нас, как средство для достижения его целей. Для настолько падшей нации страх и надежда уже не существуют, потому что бразды руководства нацией выпали у нее из рук, и хотя ей самой есть чего бояться и на что надеяться, но ее никто уже более не боится и никто на нее не надеется; и ей не остается более ничего, как только найти совершенно иное и новое связующее средство, стоящее выше страха и выше надежды, чтобы важные цели своей целокупности поставить в связь с участием каждого индивида в ней к своей собственной судьбе.

По ту сторону чувственного мотива страха и надежды находится – и к нему на первых порах примыкает – духовный мотив нравственного одобрения или неодобрения и высший аффект благорасположения или отвращения к нашему состоянию или состоянию других людей. Так же, как одно-единственное пятно, которое ведь не причиняет непосредственной боли нашему телу, или вид предметов, лежащих беспорядочно и как попало, все же мучит и тревожит, будто бы непосредственной болью, наш внешний глаз, привыкший к чистоте и порядку, между тем как человек, привыкший к грязи и беспорядку, чувствует себя при этом зрелище совсем неплохо; так же точно и внутренний духовный глаз человека можно образовать и приучить так, что один лишь вид путаного и беспорядочного, недостойного и бесчестного существования его самого или родственного ему племени, независимо от того, чем это грозит или что обещает его чувственному благополучию, причиняет ему внутреннее страдание, и что эта боль не оставит в покое обладателя подобного глаза – опять-таки совершенно независимо от чувственного страха или надежды, – пока он не уничтожит, насколько это в его силах, неприятное для него состояние и утвердит вместо него такое, которое одно только может ему понравиться. В душе обладателя такого глаза важные цели окружающего его целого побуждающим чувством одобрения или неодобрения неразрывно связаны с важными целями его собственной расширенной самости, которая ощущает себя лишь частью целого и для которой ее бытие может быть сносно только в любезном ей целом. А потому образование в себе такого глаза и будет надежным и единственным средством, которое остается у нации, утратившей свою самостоятельность, а с нею и всякое влияние на страх и надежду в общегитии народов, для того чтобы вновь подняться в бытие из пережитого уничтожения и уверенно вручить руководству возникшего в ней нового и высшего чувства свои национальные интересы, которые со времени ее гибели неинтересны ни для людей, ни для богов. И таким образом оказывается, что средство спасения, которое я обещал указать, заключается в образовании в некоторую совершенно новую самость, до сих пор встречавшуюся, может быть, как исключение у индивидов, но никогда еще не появлявшуюся в виде самости всеобщей и национальной, и в воспитании нации, прежняя жизнь которой угасла и обратилась в придаток чужой жизни, для совершенно новой жизни, которая или останется ее исключительным достоянием, или же, если перейдет от нее к другим, останется целой и не умалится, сколь бы бесконечно ни делилась. Одним словом, я предлагаю, как единственное средство сохранить жизнь немецкой нации – совершенное изменение существовавшей до сих пор системы воспитания.

Что детям нужно давать хорошее воспитание – это достаточно часто говорят и до отвращения часто повторяют также и в нашу эпоху, и если бы мы со своей стороны тоже захотели сказать только это – это было бы ничтожно мало. Если же мы полагаем, что можем утверждать нечто иное, то нам надлежит точно и определенно исследовать, чего же собственно недоставало прежнему воспитанию, и указать, какое совершенно новое звено измененное воспитание нации должно присоединить к прежнему способу образования человека.

После же такого исследования прежнего способа воспитания приходится признать, что это воспитание прилагало все силы к тому, чтобы представить взору питомцев какой-нибудь образ религиозного, нравственного, законопослушного умонастроения и всяческого порядка и благонравия, и что порой оно усердно призывало своих питомцев отпечатлеть эти образы в своей собственной жизни; но что за редчайшими исключениями, – которые, стало быть, не

были обусловлены этим воспитанием, ибо тогда эти исключения необходимо должны бы были обнаружиться во всех прошедших через это образование и как некоторое правило, но были вызваны другими причинами, – за этими крайне редкими исключениями, говорю я, питомцы этого воспитания все как один следовали не этим нравственным представлениям и призывам, но побуждениям своего эгоизма, возникшего в них естественным путем и без всякого содействия воспитательного искусства; чем неопровержимо доказали, что это воспитательное искусство хотя и в силах было наполнить память несколькими словами и оборотами речи, а холодную и безучастную фантазию – несколькими смутными и бледными образами, но что оно никогда не могло однако же придать своей картине нравственного миропорядка такую живость, чтобы его питомца охватила пылкая любовь и тоска по этому миропорядку и жгучий аффект, который побуждает его воплотить этот образ в жизни и перед которым эгоизм опадает как увядшая листва; и что, стало быть, этому воспитанию далеко не удалось проникнуть к корню всякого действительного жизненного движения и побуждения и образовать его, так что этот последний, несмотря на слепое и бессильное воспитание, рос у всех его питомцев дичком, как умел, и принес добрые плоды у немногих вдохновенных Богом людей и дурные – у огромного большинства людей. Теперь нам вполне достаточно будет обозначить характер этого воспитания по его результату, и для наших целей мы можем избавить себя от кропотливого труда анализа внутренних соков и сосудов дерева, плод которого ныне вполне созрел и упал, и лежит на виду всего света, и в высшей степени ясно и понятно выражает собою внутреннюю природу своего родителя. Строго говоря, согласно этому воззрению, прежнее воспитание никоим образом не было искусством образования человека, – оно ведь и не хвалилось, что может само дать такое образование, а весьма часто добровольно признавалось в своем бессилии тем, что требовало предпослать ему некий естественный талант или гений, как условие его успеха. Такое искусство еще предстоит изобрести, и его изобретение будет подлинной задачей нового воспитания. Новое воспитание должно будет прибавить к прежнему именно это (отсутствующее в прежном) проникновение к корням жизненных движений и побуждений, и как прежнее воспитание образовывало, самое большее, что-то одно в человеке, так это новое воспитание должно образовать самого человека, и сделать его образование отнюдь не только владением, как то делало прежнее воспитание, но элементом самой личности своего питомца.

Далее, это ограниченное в указанном смысле образование сообщалось до сих пор весьма немногочисленному меньшинству сословий, которые именно поэтому назывались образованными, а огромное большинство, на котором, собственно, и покоится общежитие, народ, – был почти совершенно забыт воспитательным искусством и предоставлен произволу слепой случайности. Мы, нашим новым воспитанием, желаем образовать немцев в такую целокупность (*Gesammtheit*), которая во всех своих членах побуждается и животворится одной и той же единой целью; если бы при этом мы опять захотели отделить образованное сословие, которое бы в таком случае жило этим, вновь утвержденным нами, мотивом нравственного одобрения, от сословия необразованного, то это последнее – коль скоро надежда и страх, которыми тогда только и можно было бы влиять на это сословие, служили бы теперь уж не за нас, но против нас, – отпало бы от нас и оказалось бы для нас совершенно потеряно. А потому нам не остается иного выбора, как нести новое образование абсолютно всему без исключения, что носит имя немца, так чтобы оно стало не образованием одного особого сословия, но образованием нации вообще как таковой, и без всякого исключения для отдельных членов ее, и чтобы в нем (а именно в образовании

сердечного благорасположения к правде) совершенно уничтожалось бы и исчезало всякое различие между сословиями, которое вполне может существовать по-прежнему в других отраслях развития; и чтобы таким образом среди нас возникло бы не воспитание народа, но самобытное немецкое национальное воспитание.

Я докажу Вам, что такое воспитательное искусство, какого мы желаем, действительно уже изобретено и применяется, так что нам нужно только принять то, что у нас уже под руками, а для этого (как я и обещал выше, говоря о предлагаемом мною средстве спасения), без сомнения, не нужно больших сил, чем те, которые справедливо будет предположить у человека в нашу эпоху. К этому обещанию я присовокупил тогда еще одно, а именно, что, что касается опасности, то опасности от нашего предложения вовсе никакой нет, потому что собственная выгода повелевающей нами власти требует скорее содействовать осуществлению нашего предложения, чем препятствовать ему. Я считаю целесообразным недвусмысленно высказаться об этом пункте уже в первой речи.

Хотя, как в древнее, так и в новое время, приемы соблазнения и нравственного унижения весьма нередко с успехом использовались как средства поддержания власти, – изобретая лживые вымыслы и искусно смешивая понятия и язык, старались очернить князей в мнении народов и народы в мнении князей, чтобы тем надежнее властвовать над ссорящимися сословиями; коварно возбуждали все мотивы суетности и корысти, чтобы сделать подданных достойными презрения и тогда топтать их ногами, так сказать, со спокойной совестью. Но правитель, конечно, допустил бы роковую ошибку, если бы захотел действовать подобным образом с нами, немцами. Общественная связь в той части заграницы, с которой мы столкнулись теперь, зиждется (не считая уз страха и надежды) на мотивах чести и национальной славы; но немецкая ясность уже давным-давно с неколебимой убежденностью поняла, что и то, и другое лишь пустые миражи, и что славой целой нации не исцелить ни одной раны или увечья отдельного человека. И если кто-нибудь не сообщит нам более высокого воззрения на жизнь, то мы, конечно, можем оказаться опасными проповедниками этого весьма понятного и до известной степени заманчивого учения. Даже не принимая в себя еще и этой новой порчи, мы уже по самому естественному нашему свойству бываем для других роковой добычей; только после осуществления сделанного мною выше предложения мы можем стать добычей спасительной; а потому, если только заграница понимает свою выгоду, сама эта выгода ее побудит их к тому, чтобы мы стали для нее скорее последним, нежели первым.

Моя речь обращается с этим предложением, в особенности, к образованным сословиям Германии, ибо еще надеется стать понятной в первую очередь для них, и прежде всего предлагает им стать творцами в этом новом творении, и тем отчасти примирить свет с прежней их деятельностью, отчасти же заслужить себе право на жизнь в будущем. В продолжение этих речей мы увидим, что до сих пор всякий прогресс человечности в немецкой нации исходил от народа, и что великие национальные задачи всегда сообщались вначале именно народу, и он трудился над их решением и содействовал их успеху; что, следовательно, теперь впервые образованным сословиям предлагается стать во главе изначального формирования (Fortbildung) нации, и что если они действительно примут это предложение, это тоже произойдет впервые. Мы увидим, что эти сословия не могут предвидеть, на сколь долгое время в их власти будет встать во главе этого дела, ибо дело

это уже почти готово и созрело для изложения его народу, и на некоторых членах народа уже действительно исполняется, так что народ в скором времени сам сможет справиться без всякой нашей помощи; от чего для нас произойдет лишь то одно, что нынешние образованные и их потомки станут народом, а из прежнего народа выдвинется другое, более образованное сословие.

Наконец, общая цель этих речей состоит в том, чтобы внушить смелость и надежду побежденным, возвещать радость в дни глубокой печали, легко и спокойно направить людей в час величайшего угнетения. Наше время кажется подобным тени, что стоит над мертвым телом своим, из которого только что изгнало ее полчище болезней, и тоскует, и не может оторвать взгляда от прежде столь любимой своей оболочки, и в отчаянии пробует все возможные средства, чтобы вновь возвратиться в жилище заразы. Животворный воздух иного мира, куда вступила покойная, уже принял ее, и окружил ее теплым дыханием любви, и ее уже радостно приветствуют знакомые голоса сестер, и сердце ее уже ожило и распространяется во все стороны, чтобы составить в себе тот чудеснейший образ, в который ей предстоит возрасти. Но в ней нет еще чувства, чтобы ощутить эти веяния, и нет ушей, чтобы слышать эти голоса, да если бы даже и были – все равно она всем существом своим переживает теперь боль своей утраты, вместе с которой она утратила, как ей кажется, и себя самое. Что же делать с нею? Вот занялась уже и заря нового мира, и золотит вершины гор, и прообразует собою грядущий день. Я хочу, как сумею, поймать в фокус лучи этой зари и сгустить их в зеркало, где неутешное время увидело бы само себя, а увидев, поверило, что оно еще живо, и что в этом зеркале предстает перед ним его подлинное ядро и проходят перед ним в пророческих картинах многоликие явления и обличья этого его существа. В этом созерцании утонет для него, без сомнения, и исчезнет и образ его прежней жизни, а тогда оно сможет без лишних причитаний проводить этого мертвеца к месту его последнего упокоения.

Вторая речь. О сущности НОВОГО ВОСПИТАНИЯ В общих чертах

Предложенное мною средство сохранения немецкой нации вообще, к ясному пониманию которого эти речи хотели бы привести сначала Вас, а вместе с Вами и всю нацию, возникает, как средство этого рода, из свойств нашего времени, а также из национальных особенностей немецкого народа, подобно тому как это средство должно в свою очередь воздействовать на время и на образование национальных особенностей. А потому средство это нельзя будет представить Вам совершенно ясно и понятно, пока мы не сопоставим его с этими двумя моментами, а эти моменты – с ним и не представим то и другое в совершенном взаимопроникновении. А это потребует некоторого времени, и таким образом, совершенной ясности можно ожидать лишь в конце наших речей. Поскольку, однако, нам нужно начать с какой-нибудь отдельной части, уместнее всего будет рассмотреть сперва само это средство, отдельно от окружающих его в пространстве и времени обстоятельств, само по себе в его внутренней сущности; и потому именно этому предмету будет посвящена наша сегодняшняя и следующая речь.

Указанное мною средство – это совершенно новое и прежде еще никогда, ни у какой нации в таком виде не встречавшееся национальное воспитание немцев. Это новое воспитание уже в прошлой речи было, в отличие от обычного до сих пор воспитания, обозначено мною так: прежнее воспитание, самое большее, только призывало к доброму порядку и нравственности, но эти призывы остались бесплодными для действительной жизни, которая образовывалась совсем по иным, абсолютно недоступным для этого воспитания основаниям. В противоположность ему, новое воспитание должно быть способно уверенно и безошибочно образовывать и определять согласно правилам действительные жизненные побуждения и движения своих питомцев.

Пусть кто-нибудь, услышав это, скажет мне (как и действительно говорят почти все без исключения те, кто руководит воспитанием по прежнему способу): «Как же можно требовать от какого бы то ни было воспитания большего, чем только показать питомцу правду и усердно напоминать ему о необходимости следовать ей? А захочет ли он последовать этому призыву – это его собственное дело и, если он не захочет, – его собственная вина. У него есть свободная воля, которой его не лишит никакое воспитание.» Тогда, дабы еще определеннее описать характер представляющегося мне нового воспитания, я ответил бы, что именно в этом признании и в этом расчете на свободную волю

воспитанника заключается первая ошибка прежнего воспитания и отчетливое признание им своего бессилия и своей ничтожности. Ибо, признавая, что после всей его старательнейшей работы воля все-таки остается свободной, то есть колеблющейся в нерешительности между добром и злом, это воспитание признает, что образовать волю, – а поскольку воля есть подлинное корневище самого человека, образовать самого человека оно решительно и неспособно, и не намерено, и не желает, и что оно вообще считает это образование воли невозможным. Напротив, новое воспитание должно заключаться именно в том, чтобы на той почве, оценку которой оно взяло бы на свою ответственность, совершенно уничтожить свободу воли и породить в воле, напротив, строгую необходимость принимаемых решений и невозможность противоположного, и тогда на эту волю можно уверенно рассчитывать и полагаться на нее.

Всякое образование стремится произвести некоторое прочное, определенное и устойчивое бытие, которое уже не становится, но есть, и не может быть иным, чем только таким, каково оно есть. Если бы оно не стремилось создать подобное бытие, то было бы не образованием, а какой-нибудь бесцельной игрой; если бы оно не создало подобного бытия, то оно именно было бы еще не закончено. Кто еще должен побуждать себя и слушать призывы других к тому, чтобы желать добра, у того нет еще определенной и всегда готовой к действию воли, он только хочет создать себе такую волю в каждом случае, когда нужно ее применение; в ком есть эта твердая воля, тот хочет того, чего он хочет, ныне и во веки, и ни в каком возможном случае он не мог бы хотеть иначе, чем именно так, как он всегда хочет; для него свобода воли уничтожилась и растворилась в необходимости. Препрежнее время именно тем и показывало, что не имеет ни верного понятия об образовании человека, ни силы, чтобы воплотить это понятие в действительности, что оно желало исправить человека проповедями-напоминаниями, и огорчалось и принималось ругаться, когда эти проповеди оставались без всяких последствий. Да и как могли бы они принести плод? Воля человека имеет ясное устремление еще до всякого напоминания, и независимо от него. Если это устремление согласуется с твоим напоминанием, то напоминание опоздало, – человек и без него все равно сделал бы то, о чем ты ему напоминаешь. Если это устремление противоречит ему, то в самом лучшем случае ты только на несколько минут заглушишь его: при первом же случае он забудет сам себя и твое напоминание и последует своему естественному влечению. Если ты хочешь чего-то от него добиться, ты должен сделать нечто большее, нежели только уговаривать его, ты должен сделать его, сделать таким, чтобы он вовсе не мог хотеть иначе, чем так, как ты хочешь, чтобы он хотел. Напрасно говорить «лети» тому, у кого нет крыльев, все твои призывы не заставят его подняться и на два шага над землей. Но развивай, если можешь, маховые перья его духа, и позволь ему испытать их и укрепить опытом, и без всяких напоминаний с твоей стороны он уже не сможет и не захочет решительно ничего иного, он будет только летать.

Эту твердую, уже не колеблющуюся волю и должно создать новое воспитание, по надежному и без исключений действующему правилу; оно само должно с необходимостью создать ту необходимость, которую намеревается получить. Все, кто стал до сих пор добрыми людьми, стали такими благодаря своим естественным задаткам, пересилившим воздействие дурного окружения; а отнюдь не благодаря воспитанию, ибо в противном случае все прошедшие это воспитание должны были бы стать добрыми; а кто опустился нравственно, в том эта нравственная порча явилась так же точно не от воспитания, ибо в

противном случае порча должна была бы постигнуть всех прошедших его, – но по его собственной вине и от его естественных задатков. Воспитание было в этом отношении всего лишь ничтожно, а отнюдь не губительно; собственно образующим средством была здесь духовная природа. И вот впредь надлежит передать образование человека, из рук этой темной и непредсказуемой силы, во власть обдуманного искусства, которое уверенно достигает своей цели во всем без исключения, что ни доверяют ему, или, там, где оно не достигнет цели, знает по крайней мере, что оно ее не достигло, и что воспитание, следовательно, еще не закончено. Итак, предлагаемое мною воспитание должно быть надежным и обдуманным искусством образовать в человеке твердую и безошибочную добрую волю; и таков будет его первый признак.

Далее – человек может хотеть только того, что он любит; его любовь есть единственный, и в то же самое время непогрешимый мотив его воли и всех его жизненных движений и побуждений. Прежнее искусство государственного управления, будучи само воспитанием общественного человека, предполагало, как надежное и без изъятия значимое правило, что каждый любит и желает своего собственного чувственного благополучия, и на этой прирожденной человеку любви с помощью страха и надежды искусственно основывало добрую волю, которую хотело воспитать, – интерес к целям общежития. Не говоря уж о том, что при этом методе воспитания тот, кто внешне стал безвредным или даже полезным гражданином, в душе остается все же дурным человеком – ибо дурная природа именно в том и состоит, что человек любит только свое чувственное благополучие, и что его можно побудить к совершению поступков только страхом или надеждой на это благополучие, будь то в настоящей, или же в будущей жизни – не говоря уже об этом, мы видели уже выше, что этот метод к нам теперь неприменим, потому что страх и надежда будут уже действовать не за нас, а против нас, а чувственное себялюбие мы никоим способом не сможем заставить действовать нам на пользу. Поэтому даже как бы сама нужда заставляет нас стремиться образовать внутренне и существенно добрых людей, ибо лишь в таких людях еще может выжить отдельная немецкая нация, из-за дурных же людей она необходимо сольется с границей. А потому на место того себялюбия, на котором отныне ничего хорошего для нас основать невозможно, нам следует утверждать и основать в душах всех, которых мы желаем считать принадлежащими к нашей нации, иную любовь, непосредственно обращенную к добру, просто как таковому и ради него самого.

Любовь к добру просто как таковому, а не ради, скажем, его полезности для нас самих, имеет, как мы уже поняли, вид благорасположения к нему: столь сердечно глубокого благорасположения, что оно побуждает нас воплотить добро в нашей жизни. Это-то сердечно благорасположение, как прочное и неизменное бытие питомца, и должно породить в нем новое воспитание; а тогда это благорасположение уже само собою послужит основанием неизменно доброй воли этого питомца, как необходимой для него. Благорасположение, побуждающее создать в действительности известное положение вещей, которого в ней не имеется, предполагает образ этого состояния, который предносится духу прежде действительного бытия этого положения, и привлекает к себе это побуждающее нас к воплощению благорасположение. Следовательно, это благорасположение предполагает в том лице, которое должно быть им охвачено, способность самостоятельного начертания подобного рода образов, независимых от действительности и являющихся отнюдь не отображениями ее, но скорее прообразами. Мне

предстоит теперь, прежде всего, говорить об этой способности, и я прошу Вас не забывать в продолжение этого рассуждения, что порождаемый этой способностью образ может нравиться именно только как образ и как нечто такое, в чем мы ощущаем нашу образующую творческую силу, хотя бы при этом мы не рассматривали его как прообраз некоторой действительности, и хотя бы он нравился нам не в такой степени, чтобы побуждать нас к воплощению; что это последнее есть нечто совершенно иное, и наша подлинная цель, о которой мы не преминем поговорить впоследствии, а это первое заключает в себе единственно лишь предварительное условие достижения подлинной конечной цели воспитания.

Эта способность самодеятельного начертания образов, которые отнюдь не суть простые отображения действительности, но которые способны становиться прообразами ее, – это первое, из чего должно исходить образование поколения в новом воспитании. Самодеятельного начертания, – сказал я, и именно такого, чтобы питомец порождал их себе собственными силами, а отнюдь не так, чтобы он приобретал только способность пассивно воспринимать предлагаемый ему воспитанием образ, в достаточной мере понимать его, и повторять его таким, как он был ему дан, как будто бы все дело заключается только в наличности в нем подобного образа. Это требование свободной самодеятельности при создании образа (Bildern) основано вот на чем: лишь при этом условии начертанный образ может привлечь к себе деятельное благорасположение питомца. Дело в том, что одно дело – просто принимать нечто к сведению (*sich etwas nur gefallen zu lassen*), и ничего не получать при этом, каковое пассивное принятие только и может, в лучшем случае, возникнуть из пассивной отдачи; но совершенно иное дело – быть настолько охваченным благорасположением к чему-то, что это наше благорасположение становится творческим и побуждает все наши силы к созданию образов. О первом, которое, во всяком случае, также случалось порой в прежнем воспитании, мы здесь не говорим; мы ведем речь о последнем. Но это последнее благорасположение можно воспламенить в душе, только возбудив в то же самое время самодеятельность питомца и обнаружив ее перед ним на данном предмете. А тогда этот предмет нравится не просто сам по себе, но в то же время и как предмет приложения духовных сил, это же последнее нравится непосредственно, необходимо и без исключений. Эта деятельность по созданию духовных образов, которую мы должны развить в питомце, есть, без сомнения, деятельность согласно правилам, а эти правила открываются действующему, пока он не постигнет в непосредственном опыте на себе самом, что правила эти суть единственно возможные. Итак, эта деятельность порождает познание, а именно, познание всеобщих и без изъятия действующих законов. Кроме того, в этом, начинающемся с этой точки из себя самого, свободном творчестве образов невозможно предпринять что бы то ни было против закона, и поступок не будет совершен, пока закон не будет нами исполнен. Поэтому, даже если это свободное творчество образов также начнет с попыток, предпринимаемых вслепую, оно все же должно будет завершиться более полным познанием закона. Поэтому это образование есть, в конечном своем итоге, образование познавательной способности питомца, причем образование отнюдь не историческое – на основе постоянных свойств вещей, – но высшее и философское – на основе законов, по которым подобные постоянные свойства вещей становятся необходимыми. Питомец учится.

Прибавлю к этому: питомец учится охотно и с удовольствием, и пока сохраняется в нем напряжение силы, он ничего не станет делать так охотно, как учиться: ибо, учась, он

самодеятелен, а охота самодеятельности в нем сильнее всего. Тем самым мы нашли внешний, отчасти непосредственно бросающийся в глаза, отчасти же абсолютно верный признак подлинного воспитания. А именно то, чтобы, совершенно безотносительно к различию естественных задатков питомцев и без всякого исключения, любой питомец, которому передается это воспитание, учился только ради самого учения, а не по какой-либо иной причине, с удовольствием и с любовью. Мы нашли средство, как воспламенить в питомце эту чистую любовь к учению; это средство состоит в том, чтобы возбудить непосредственную самодеятельность питомца и сделать ее основанием всякого познания, так, чтобы именно в ней он учился всему тому, чему он обучается.

Просто возбудить эту собственную деятельность питомца в каком-нибудь известном нам пункте – это первый основной элемент искусства. Если это удалось, то нам нужно теперь лишь постоянно поддерживать бодрость и живость этой возбужденной в нем деятельности, а это возможно только с помощью правильного продвижения вперед, когда всякая оплошность в воспитании немедленно обнаруживается тем, что задуманное нами не исполняется. Следовательно, мы нашли ту связующую нить, которая неотделимо скрепляет предполагаемый результат воспитания с указанным образом действий воспитателя, – а именно, вечный и не знающий исключений основной закон духовной природы человека, согласно которому человек непосредственно стремится к духовной деятельности.

Если кто-нибудь, введенный в заблуждение повседневным опытом наших дней, сомневается даже в самом существовании такого основного закона, то для такого человека мы, ко всему прочему, заметим, что от природы человек, в самом деле, есть лишь чувственное и себялюбивое существо, пока его побуждает непосредственная нужда и насущная чувственная потребность, и что в этом случае никакая духовная потребность и никакие доводы осторожности не удержат его от удовлетворения этой чувственной потребности; но что, как только эта жажда устранена, он мало расположен бывает поддерживать и отделять в своей фантазии мучительный образ этой потребности, но гораздо охотнее обращает вырвавшуюся из плена мысль на свободное рассмотрение того, что привлекает к себе внимание его чувств, что он даже не откажется от поэтической прогулки по идеальным мирам, ибо ему от природы присуще легкомыслие к временному, чтобы его чувство вечного могло получить некоторый простор для развития. Последнее обстоятельство доказывает нам история всех древних народов и некоторые наблюдения и открытия, которые дошли до нас от этих народов. Это доказывает и в наши дни наблюдение за жизнью еще сохранившихся на Земле диких народов, в том именно случае, если климат их местности не слишком суров с ними, и наблюдение за нашими собственными детьми. Это доказывает нам даже добровольное признание наших ревностных борцов с идеалами, жалующихся, что учить имена и даты – занятие куда менее приятное, чем воспарять в пустое (как им представляется) пространство мира идей, так что, стало быть, сами они, если бы только могли себе это позволить, охотнее предавались бы, как может показаться, именно этому последнему, а вовсе не первому занятию. А то, что вместо этого соответствующего нашей природе легкомыслия явилась тоска и меланхолия, из-за которой даже уму сытого предносится, и непрестанно подгоняет и побуждает его будущий голод и долгая вереница всевозможных видов будущего голода, как единственное содержание, наполняющее собою его душу, – этого в нашу эпоху добилось искусство воспитателей, – мальчика строго наказывая за проявления его естественного легкомыслия, а у зрелого мужа порождая

стремление считаться в мнении общества умным человеком, между тем как эта слава достается ведь лишь тому, кто ни на минуту не упускает из виду именно эти самые соображения. Поэтому нам следовало бы рассчитывать отнюдь не на природу, а на ту порчу, которая была с большими трудами навязана сопротивляющейся природе и которая отпадет, как только мы перестанем напрасно тратить на это свои труды.

Это воспитание, непосредственно возбуждающее духовную самодеятельность своего питомца, рождает познание, сказали мы выше; и это дает нам повод для того, чтобы дать еще более глубокую характеристику нового воспитания в его противоположности прежнему воспитанию. Дело в том, что новое воспитание собственно и непосредственно направлено только на возбуждение правильно развивающейся духовной деятельности. Познание, как мы видели выше, возникает лишь между прочим и как неперемненное последствие такой деятельности. А потому, хотя это познание, конечно же, именно таково, что единственно только в нем одном может быть постигнут тот образ для действительной жизни, которому предстоит возбуждать в будущем к серьезной деятельности нашего возмужавшего питомца, – и, стало быть, это познание составляет существенный элемент того образования, которое он должен получить; однако мы не можем сказать, чтобы это познание входило в непосредственные намерения нового воспитания; познание просто достается ему. Прежнее же воспитание ставило своей целью именно сообщить познание и известный объем познавательного материала. Далее, существует большое различие между тем родом познания, которое, между прочим, возникает в ходе нового воспитания, и тем родом познания, к которому стремилось прежнее воспитание. В первом возникает познание законов духовной деятельности, служащих условиями возможности этой деятельности. Если, например, питомец пытается в своей фантазии ограничить некоторое пространство прямыми линиями, то это – впервые возбужденная духовная деятельность нашего питомца. Если в этих попытках он найдет, что может ограничить некоторое пространство не менее чем только тремя прямыми, то это будет возникающее в нем между прочим познание второй, совершенно отличной, деятельности способности познания, ограничивающей ту свободную способность, которая была возбуждена в нем прежде. Следовательно, при этом способе воспитания, уже в самом его начале, возникает поистине превосходящее всякий опыт, сверхчувственное, строго необходимое и всеобщее познание, которое уже заведомо включает в себя весь возможный впоследствии опыт. Прежний же способ преподавания был обращен, как правило, только на усвоение постоянных свойств вещей, такими, как они существуют действительно, хотя мы и не можем указать тому причину, и какими мы должны признавать и примечать их, – а значит, на простое усвоение способностью памяти, которая стоит тогда всего лишь на службе неизменных вещей. А таким путем вовсе не могло возникнуть даже и смутного понятия о духе, как самостоятельном и изначальном первопринципе самих вещей. Пусть только новейшая педагогика не думает, что сумеет защититься от этого упрека, сославшись на свое часто выражаемое отвращение к механической зубрежке и на свои известные шедевры в сократической манере. Ибо на этот счет ей уже давно и основательно пояснили в другом месте, что эти сократические рассуждения также подлежат в ней лишь механическому заучиванию, и что эта зубрежка будет намного опаснее, потому что после нее питомцу, который не мыслит, все же начинает казаться, будто он может мыслить; что при том материале, который она намеревалась использовать для развития самостоятельного мышления, это и не могло быть иначе, и что с этой целью следует начинать с совершенно другого материала. Из этого свойства прежнего

способа преподавания становится ясно, отчасти почему питомцы до сих пор учились, как правило, неохотно, а потому медленно и без особого толка, и почему, за отсутствием стимулов, заключенных в самом учении, приходилось помогать делу чужеродными мотивами, – отчасти же отсюда явствует причина того, почему и до сих пор бывали исключения из правила. Память, если мы обременяем только ее одну и если она не должна служить никакой иной духовной цели, представляет собою скорее страдательное состояние (Leiden) духа, чем его деятельность, и вполне понятно, что питомец крайне неохотно станет подвергать себя этому страданию. К тому же знакомство с совершенно посторонними и не представляющими для него ни малейшего интереса вещами и их свойствами едва ли могло возместить питомцу это причиняемое ему страдание; поэтому приходилось преодолевать его антипатию, внушая ему надежду на полезность этих знаний в будущем, и убеждая, что лишь благодаря им он сможет добыть себе и честь, и насущный хлеб, и даже прибегая непосредственно к наградам и наказаниям. Так что познание, следовательно, уже с самого начала преподносилось питомцу как простой слуга чувственного благополучия, и это воспитание, которое, как мы показали выше, в отношении своего содержания оказывалось совершенно бессильным развить нравственный образ мысли в своем питомце, должно было, чтобы только пробиться к сознанию питомца, даже сеять и развивать в нем нравственную порчу характера и связать свой собственный интерес с интересом этой коренной нравственной порчи. Мы находим, далее, что ребенок от природы талантливый, который, как исключение из правила, учился в школе этого прежнего воспитания с охотой, и потому учился хорошо, и который силою этой владеющей им высшей любви преодолевал моральную испорченность своего окружения и хранил свой ум в чистоте, питал к этим предметам, благодаря присущей ему от природы склонности, практический интерес, и что он, ведомый своим благотворным инстинктом, стремился более к тому, чтобы самому породить такого рода познания, чем к тому, чтобы просто усваивать их. Оказывается также, что те учебные предметы, в преподавании которых (как исключение из правила) это прежнее воспитание чаще всего и больше всего преуспевало – а это все такие предметы, в которых оно поощряло деятельность при изучении их, например, тот ученый язык, в обучении которому все было направлено на умение писать и говорить на нем, – питомцы почти всегда усваивали весьма хорошо, тогда как другие, учителя которых пренебрегали упражнениями в чтении и письме, они усваивали, как правило, очень плохо и поверхностно, а в зрелые годы забывали совсем: А потому из свойств прежнего воспитания следует, что только развитие духовной деятельности при преподавании наук порождает в питомцах удовольствие от познания, просто как такового, а тем самым сохраняет и сердце их открытым нравственному образованию. Напротив, чисто пассивное получение знаний расслабляет и умерщвляет способность познания, и так же точно испытывает необходимую потребность до основания испортить в питомцах нравственное чувство.

Возвращаясь к разговору о питомце нового воспитания: ясно, что этот питомец, влекомый своей любовью, усваивает много, а поскольку он усваивает все во внутренней взаимосвязи и непосредственно действием упражняется в том, что усвоено, – он выучивает это многое правильно и не сможет его когда-либо забыть. Но это все же – не самое важное. Более важно то, что эта любовь возвышает его самость, вводит ее обдуманно и правильно в некий новый порядок вещей, в который до сих пор случайно попадали лишь немногие любимые Богом гении. Его влечет любовь, устремляющаяся отнюдь не к какому-нибудь чувственному наслаждению, – это последнее как мотив жизни совершенно умолкло в нем, – но к духовной

деятельности, ради самой деятельности и к ее закону, ради самого закона. И хотя нравственность имеет целью не эту духовную деятельность вообще, но для нее нужно еще и особенное направление этой деятельности, однако эта любовь составляет общее свойство и форму нравственной воли; а потому этот способ образования духа служит непосредственным приготовлением к образованию нравственному. Безнравственность же оно совершенно и в корне истребляет, отнюдь не позволяя чувственному наслаждению стать когда-либо мотивом воли. До сих пор именно этот мотив старались возбуждать и формировать прежде всех прочих, ибо полагали, что иначе совершенно невозможно будет обработать натуру ученика и иметь на него хоть какое-то влияние. И потому, если впоследствии нужно было развить в нем нравственный мотив, то этот мотив являлся слишком поздно и находил сердце питомца уже занятым и исполненным иной любовью. Напротив, новое воспитание должно поставить на первое место образование чистой воли, чтобы, если позднее в душе все-таки проснется или будет возбужден извне эгоизм, он явится слишком поздно и не найдет себе места в душе, которая уже всецело занята чем-то другим.

Уже для этой первой цели, как и для второй, которую мы сейчас укажем, существенно то, чтобы питомец с самого же начала и непрерывно находился под воздействием этого воспитания и чтобы его совершенно отстранили от всего пошлого и не допускали его ни в чем соприкоснуться с пошлостью. Он вовсе не должен слышать ни разу, будто в жизни нужно действовать и шевелиться ради своего выживания и благополучия, как не должен он слышать, будто для того именно люди и учатся, или будто учение может хоть несколько помочь в этом отношении. Отсюда следует, что нам следует сообщить ему единственно лишь духовное развитие в вышеуказанном смысле, и что этим своим развитием он должен быть занят непрерывно, но что этот способ преподавания отнюдь не должно чередовать с другим, требующим противоположного чувственного мотива.

Но, хотя это духовное развитие не позволяет зародиться эгоизму и дает форму нравственной воли, однако оно еще не есть оттого сама эта нравственная воля; и если бы предлагаемое нами новое воспитание не пошло здесь далее, то оно воспитало бы в лучшем случае превосходных тружеников науки, какие бывали и прежде, которых нужно совсем немного и которые смогли бы сделать для нашей подлинной человеческой и национальной цели несколько не больше того, что удалось сделать и до сих пор всем им подобным: наставлять и увещевать, и вновь наставлять и увещевать, и тем вызывать к себе немое удивление, а при случае и брань из публики. Между тем ясно, и мы уже это сказали выше, что эту свободную деятельность духа нужно развивать с той целью, чтобы питомец мог свободно начертать эту деятельность образом нравственного порядка действительно существующей жизни, усвоил этот образ своей любовью, которую мы также уже сумели развить в нем, и чтобы эта любовь побуждала его действительно воплотить этот образ своей жизнью и в своей жизни. Спрашивается: как новое воспитание сможет доказать себе, что оно достигло в своем питомце этой своей подлинной и конечной цели?

Ясно, прежде всего, что духовную деятельность в питомце, которую он уже упражнял ранее на других предметах, следует побудить к тому, чтобы начертать образ общественного порядка человеческой жизни, каким он безусловно должен быть согласно закону разума. Правилен ли этот начертанный питомцем образ – это воспитание без труда сумеет

определить, если только само располагает этим правильным образом. И то, был ли образ этот начертан собственной самодеятельностью питомца, или же усвоен им лишь пассивно и бездумно повторен слово в слово за учителем, а кроме того, достиг ли он в нем надлежащей ясности и живости представления, – воспитание сумеет оценить так же точно, как оно выносило верное суждение в этом отношении по прежним предметам обучения. Все это есть еще дело одного познания и остается во вполне доступной для нашего воспитания области этого познания. Но совсем иной и высший вопрос заключается в том, охвачен ли наш питомец столь пылкой любовью к этому порядку вещей, что для него, когда он выйдет из руководства воспитания и будет предоставлен своей самостоятельности, будет абсолютно невозможно не желать этого порядка и не трудиться всеми своими силами для содействия его воплощению? А на этот вопрос, без сомнения, нам смогут ответить не слова и не словесные экзамены, но только вид поступков нашего питомца.

Эту последнюю задачу, поставленную перед нами этим последним рассуждением, я решаю так: Питомцы этого нового воспитания, хотя они и изолированы от уже возросшей пошлости, будут все же, без сомнения, жить сами в обществе друг с другом, и потому составят некоторое обособленное и самобытно существующее общежитие, в котором будет свое точно определенное, обусловленное природой вещей и, безусловно, требуемое самим разумом, общественное устройство. Самым первым образом порядка общения, начертать который мы побуждаем дух нашего питомца, станет образ той общины, в которой живет он сам, так что он будет внутренне принужден образовать в себе образ этого порядка во всех чертах точно таким, каким он предначертан ему в действительности, и будет понимать основания этого порядка как совершенно необходимого во всех частях. И это, опять-таки, есть дело одного лишь познания. В действительной жизни каждому индивиду в этом общественном порядке постоянно приходится отказываться, ради целого, от весьма многих поступков, которые он без колебания совершил бы, будучи в одиночестве; и потому будет целесообразно, чтобы в законодательстве и в школьном преподавании, которое должно быть на нем основано, каждому индивиду представляли всех прочих индивидов питающими такую доведенную до идеала любовь к порядку, какая в подобной силе не свойственна, быть может, в действительности ни одному из них, но должна быть присуща им всем; и чтобы это законодательство достигло таким образом значительной строгости и предписывало воздерживаться от весьма многих поступков. К этому не-деянию, как тому, что безусловно должно быть и на чем основано существование общества, следует принуждать, если потребуется, даже и страхом перед совершающимся наказанием; и этот уголовный закон следует исполнять безусловно без всяких послаблений и исключений. Этим применением страха как влечения мы не причиним никакого вреда нравственности питомца, ведь таким способом мы хотим побудить его не к добру, но лишь к воздержанию от того, что в этом устройстве является злом. Кроме того, уроки, посвященные общественному устройству должны с полной ясностью пояснить питомцу, что тот, кто испытывает нужду в представлении о наказании или в постоянном обновлении этого представления самим действительным наказанием, тот еще находится на очень низкой ступени образования. При всем том, однако, ясно, что, коль скоро мы никогда не можем знать, повинуется ли человек из любви к порядку или из страха перед наказанием, в этой сфере ни питомец не может изъяснить внешним действием свою добрую волю, ни воспитатель – оценить ее.

Сфера же, где подобная оценка возможна, вот какова. Устройство общежития должно быть, далее, таким, чтобы индивид не только был вынужден воздерживаться от поступков ради целого, но чтобы он мог также и действовать и деятельно работать ради этого целого. Помимо духовного развития в учебе, в этом общежитии питомцев есть еще и физические упражнения и механический, однако облагороженный до идеала, труд – земледелие и некоторые ремесла. Основным правилом устройства этого общежития будет то, чтобы каждому, кто окажет особые успехи в какой-нибудь из этих областей, вменялось в обязанность помогать учить этому других и взять на себя известный контроль и известную ответственность; чтобы каждому, кто найдет какое-нибудь улучшение или первым и яснее всех поймет улучшение, предложенное учителем, вменялось собственным трудом реализовать его, хотя это и не освобождает его от других само собою подразумевающихся его личных обязанностей в учебе и в труде; чтобы каждый по доброй воле, а не по принуждению, исполнял эту свою обязанность, коль скоро тот, кто не желает, также волен отказаться исполнить ее; чтобы за ее исполнение питомец не мог ожидать себе какого-либо вознаграждения, – ведь в этом устройстве все совершенно равны в отношении труда и наслаждений, – ни даже похвалы, – ведь в этой общине господствует такой образ мысли, что, делая так, каждый только исполнит свой долг, – но чтобы он чувствовал только радость от своей деятельности на благо целого и от успеха этой деятельности, если такой успех достанется ему на долю. Следовательно, в этом устройстве усвоивший себе особенные умения и затративший на это труды приобретет себе тем только новые труды и работы, и именно самому прилежному придется подчас бодрствовать, когда другие спят, и предаваться размышлениям, когда другие играют.

Питомцев, которые, несмотря на то что все это им совершенно ясно и понятно, тем не менее по-прежнему с радостью принимают на себя и этот первый труд, и следующие за ним новые труды, так что на них можно уверенно положиться, и которые, чувствуя свою силу и деятельность, неизменно сильны и становятся все сильнее, – таких питомцев воспитание может отпустить в мир со спокойным сердцем. В них оно достигло своей цели; в них оно заронило искру любви, и эта любовь горит в них до самых корней их жизненных побуждений, и отныне она охватит в них и все без исключения, что затронет в них это живое побуждение. И в большом общежитии, в которое они отныне вступают, они никогда не сумеют быть чем-то иным, нежели чем они неизменно и неколебимо были в том малом общежитии, которое покидают ныне.

Таким образом питомец будет совершенно подготовлен для тех будущих и всех без исключения касающихся требований, которые предъявит к нему мир, и то, чего требует от него воспитание именем этого мира, вполне совершилось. Но он еще не закончен в себе и для себя самого, и еще не совершилось в нем то, чего он сам может требовать от воспитания. Когда будет исполнено и это требование, он тем самым обретет в то же время и способность удовлетворить притязаниям, которые, в особенных случаях, может предъявить к нему высший мир именем мира настоящего.

Третья речь. Продолжение описания нового воспитания

Подлинная сущность предложенного мною нового воспитания, как оно было описано мною в прошлой речи, заключалась в том, что это воспитание есть обдуманное и верное искусство образования воспитанника к чистой нравственности. К чистой нравственности, сказал я; нравственность, к которой оно должно воспитывать, предстоит нам как нечто первое, независимое и самостоятельное, живет своей собственной жизнью из себя самой, а вовсе не будет привязана и привита к иному, не нравственному влечению, удовлетворению коего она и служит, как та законосообразность, утвердить которую в питомцах часто стремились прежде. Это воспитание есть обдуманное и верное искусство этого нравственного воспитания, сказал я. Оно идет вперед не без плана и не наудачу, но согласно твердому и хорошо ему известному правилу, и уверено в своем успехе. Его питомец в нужное время выходит из его школы подобно прочному и неизменному шедевру этого искусства, который и не может идти иначе, нежели как он был наставлен этим воспитанием, и который не нуждается более ни в каких подспорьях, но идет вперед сам собою, по собственному своему закону.

Хотя это воспитание образует и дух своего питомца; и это образование духа даже составляет в нем то первое, с чего оно начинает дело. И все же это духовное развитие не есть его первостепенная и самостоятельная цель, но лишь обуславливающее средство для сообщения питомцу нравственного воспитания. Между тем и это, приобретаемое лишь между делом, образование духа остается в жизни питомца его неистребимым достоянием и вечно горящим маяком для его нравственной любви. Сколь бы велика, или сколь ничтожна ни была сумма познаний, которую передаст ему воспитание: но во всяком случае оно сообщит ему дух, который во всю его жизнь способен будет постичь любую истину, познать которую ему понадобится, и который так же точно останется неизменно готов учиться у других, как и неизменно способен мыслить самостоятельно.

До этих пор дошли мы с Вами в прошлой речи в описании этого нового воспитания. В конце этой речи мы заметили, что при всех этих свойствах своих оно все же еще не закончено, но должно решить еще и другую задачу, отличную от описанной нами до сих пор; и теперь мы переходим к тому, чтобы более точно обозначить эту задачу.

Ведь питомец этого воспитания есть не только член человеческого общества здесь на земле, и на недолгий срок жизни, которую ему дано прожить на этой земле; он есть также, – и воспитание, без сомнения, также признает его в этом достоинстве, – звено в вечной цепи духовной жизни вообще, и подлежит высшему общественному порядку. Образование, взявшееся охватить все его существо, без сомнения, должно направить его также к познанию этого высшего порядка, и как оно руководило им в том, чтобы предначертать себе собственную своей самодеятельностью образ того нравственного миропорядка, который никогда не есть, но вечно должен быть, так же точно оно должно руководить им и в том, чтобы предначертать в своей мысли собственную своей самодеятельностью образ того сверхчувственного миропорядка, в котором ничто не становится и который сам также никогда не становится, но вечно лишь есть – начертать с той же самодеятельностью и так именно, чтобы он с совершенной ясностью понял и постиг, что иначе это и быть не может. Если им руководить правильно, он доведет до конца свои попытки начертать себе подобный образ, и в этом конце найдет, что поистине не существует ничего, кроме жизни, а именно – духовной жизни, живущей в мысли; и что все прочее не существует поистине, но лишь кажется существующим, и возникающее из мысли основание этой кажимости он при этом также постигнет, пусть даже только в общих чертах. Он поймет, далее, что эта единственно подлинно существующая духовная жизнь, – в ее многообразных обличьях, данных ей не силою случая, но по некоторому закону, основание которого заключено в самом Боге, – есть в свою очередь лишь Одна, именно – сама божественная жизнь, каковая божественная жизнь только и существует и извещается в живой мысли. Так он научится познавать и чтить свою жизнь как вечное звено в цепи откровения божественной жизни, и всякую другую духовную жизнь как такое же точно звено, и будет находить жизнь и свет и блаженство лишь в непосредственном касании Божества, и ничем не опосредованном истечении его жизни из Бога, а во всяком удалении из этой непосредственности видеть смерть, мрак и несчастье. Одним словом, это развитие образует в нем религию; и эта религия сопребывания нашей жизни в Боге⁹ должна, разумеется, господствовать в новое время, а потому ее надлежит старательно образовывать в эту эпоху. Религия же старого времени, отделявшая духовную жизнь от жизни божественной и умевшая придать первой некоторое абсолютное существование только посредством отпадения ее от божественной жизни, – отпадения, которое она примыслила этой духовной жизни, – и нуждавшаяся в Боге как в путеводной нити, чтобы после смерти бренного тела ввести эгоизм еще и в иные миры, и страхом и надеждой усилить в этих иных мирах эгоизм, оказавшийся слишком слабым для этого мира, – эта религия, бывшая, как всем ясно, служанкой эгоизма, должна быть, разумеется, погребена вместе с самим старым временем. Ибо в новое время вечность начинается не за гробом, но вступает в само настоящее, а эгоизм ныне уволен в отставку и из полка, и из войска, а потому уведет с собою и свою прислугу.

Воспитание подлинной религии есть, стало быть, последняя задача нового воспитания. Был ли питомец вполне самодеятелен, когда начертывал необходимый для такой религии образ сверхчувственного миропорядка, во всем ли правилен, и вполне ли ясен и понятен начертанный в его душе образ – это воспитание легко сможет оценить таким же образом, как и в отношении всех прочих предметов познания; ибо это также остается в области познания.

Но и здесь также более важен вопрос о том, как воспитание сможет оценить и удостовериться, что эти религиозные сведения не останутся мертвыми и холодными, но что действительная жизнь питомца будет их выражением? А этому вопросу нужно предпослать ответ на другой вопрос: как и каким образом религия вообще проявляется в жизни?

Непосредственно, в повседневной жизни и в благоустроенном обществе, для образования жизни религии вовсе не требуется, но для этих целей совершенно достаточно подлинной нравственности. В этом отношении, следовательно, религия не является практической, и она не может и не обязана становиться практической, но остается только познанием: Она всего лишь делает человека совершенно ясным и понятным для себя самого, отвечает на высший вопрос, какой он только может задавать, разрешает для него последнее противоречие и тем вносит в его разум совершенное единство с самим собою и всеобъемлющую ясность. Она есть его полное избавление и освобождение от всех посторонних уз; а в этом качестве воспитание и должно дать ему религию, как нечто такое, что ему безусловно и без всякой дальнейшей цели должно принадлежать. Религия получает такую область, в которой она должна действовать как мотив воли, только или в крайне безнравственном и испорченном обществе, или же там, где сфера действия человека находится не в пределах общественного порядка, но за его пределами и должна, скорее, непрестанно вновь создавать и поддерживать этот порядок, как то бывает у правителя, который во многих случаях совершенно не может добросовестно исполнять своей службы без религии. Когда мы говорим о всеобщем и рассчитанном на целую нацию воспитании, то о последнем случае речь идти не может. Там, где в первом отношении, вполне ясно постигая разумом неисправимость эпохи, тем не менее все же продолжают неустанно трудиться над ее исправлением; там, где мужественно выносят труд и пот посева без какой-либо надежды на урожай; где благодворят даже неблагодарным, и благословляют дарами и поступками проклинающих нас, и предвидя со всею ясностью, что они вновь станут проклинать; там побуждает к этому не одна лишь нравственность, ибо нравственность желает некоторой цели, но только религия – самоотверженная преданность высшему закону, нам неизвестному, смиренная немота пред Богом, сердечная любовь к Его зародившейся в нас жизни, которую только и нужно спасать и спасать ради нее самой, там, где наш глаз не видит ничего иного достойного спасения.

Таким образом, религиозное ведение, полученное питомцами нового воспитания, не может, да и не должно, становиться практическим в том их малом общежитии, в котором они первое время росли. Это общежитие благоустроено, и в нем умело начатое всегда увенчается успехом; а к тому же в этом, еще нежном возрасте, в человеке нужно сберечь его непосредственность и спокойную веру в человеческий род. Познание его козней и коварства пусть придет на собственном опыте, в зрелом и устоявшемся возрасте жизни.

А потому лишь в этом более зрелом возрасте, и в жизни в серьезном смысле слова, когда воспитание давно уже предоставит его себе самому, могут пригодиться питомцу этого воспитания полученные им религиозные сведения как мотив воли, в случае, если его положение в обществе возвысится от первоначальной простоты до более высоких ступеней. Как же теперь воспитание, которое не может испытать питомца в этом предмете, пока тот остается в его руках, может быть тем не менее уверено, что, стоит только явиться подобной потребности, этот мотив тоже непременно подействует? Я отвечаю: потому, что его

питомец вообще образован таким, что никакое имеющееся у него познание не остается в нем мертвым и холодным, если оказывается возможность придать ему жизни, но каждое необходимо тут же вторгается в жизнь, как только оно потребуется для жизни. Сейчас я намерен еще глубже обосновать это утверждение и тем самым возвысить все то понятие, о котором мы говорили с Вами в этой и прошлой речи, и включить его в более обширную целокупность познания. Это понятие прольет новый свет и придаст больше ясности самой этой обширной целокупности познания, после того как я укажу Вам сперва со всей определенностью подлинную сущность нового воспитания, общее описание которого мною было только что завершено.

Это воспитание уже не представляется нам, как в начале нашей сегодняшней речи, просто как искусство образования в питомце чистой нравственности, но нам становится совершенно ясно, что оно есть искусство образования всего человека, вполне и совершенно как человека. Для этого необходимы два основных элемента: во-первых, относительно формы – чтобы в образовании возникал действительный живой человек, вплоть до самых корней его жизни, а вовсе не одна лишь тень и схема человека; а затем, относительно содержания – чтобы образование сообщалось всем необходимым элементам человека равномерно и без исключения. Эти элементы – разум и воля; и воспитание должно иметь в виду, как свою цель, ясность первого и чистоту второй. Но, чтобы достичь ясности разума, нужно поставить два вопроса: Во-первых, чего именно желает в сущности чистая воля, и какими средствами этого желаемого можно достичь? Этот основной элемент включает все прочие познания, которые мы должны сообщить питомцу. И во-вторых, что такое сама эта чистая воля в ее существе и основании? Этот вопрос включает познание религии. И вот этих, названных теперь элементов, которые были бы развиты вплоть до вмешательства их в жизнь, воспитание требует безусловно и не намерено увольнять кого бы то ни было даже и от малейшей части их – ибо каждый должен именно быть человеком. Чем кто-то станет еще кроме этого, и какой особенный облик примет или получит в нем всеобщая человечность, – об этом общее воспитание нисколько не беспокоится, и это находится за пределами сферы воспитания. Теперь я перейду к обещанному мною выше более глубокому обоснованию того положения, что в питомце нового воспитания ни одно познание не может остаться мертвым, и к выяснению той взаимосвязи, в которую я намерен возвысить все мною сказанное, и этот переход я совершу через посредство следующих положений.

1). Вследствие вышесказанного, существует два совершенно различных и друг другу полностью противоположных класса людей в отношении их образования. Прежде всего, все существа, что носят имя человека (а значит и эти два класса людей), равны друг с другом в том, что в основе многообразных проявлений их жизни лежит влечение, пребывающее неизменным во всех переменах и остающееся всегда тождественным себе самому. – Заметим здесь между прочим: когда это влечение понимает само себя и переводит это понимание себя в понятия, рождается мир, и нет иного мира, кроме этого, рождающегося именно таким образом в мысли (однако отнюдь не свободной, но необходимой мысли). Это влечение, неизменно подлежащее переводу в некоторое сознание (и в этом оба класса людей опять-таки равны друг с другом), может быть переведено в такое сознание двояким образом, соответственно двум различным основным видам сознания, и этим способом перевода и понимания самого себя эти два класса и различаются.

Первый основной вид сознания, во времени развивающийся раньше всех – это сознание смутного чувства. Это чувство, всего обыкновеннее и как правило, постигает основное влечение как любовь индивида к себе самому, причем смутное чувство дает нам эту самость поначалу лишь как такую, которая хочет жить и благоденствовать. Отсюда возникает чувственный эгоизм, как действительный основной мотив и сила развития подобной жизни, приверженной такому переводу своего изначального основного влечения. Пока человек продолжает понимать себя таким именно образом, до тех пор он вынужден действовать эгоистически, и иначе поступать не может; а этот эгоизм есть тогда единственное пребывающее, тождественное себе и наверное ожидаемое содержание в непрерывных переменах его жизни. В виде чрезвычайно редкого исключения из правила, это смутное чувство может и выскочить за границы личной самости и постичь в таком случае основное влечение как тоску по смутно чувствуемому иному порядку вещей. Отсюда возникает жизнь, которую мы достаточно полно описали в другом месте, которой, возвысившейся над эгоизмом, движут идеи, – хотя смутные, но все же идеи, – и которой правит разум как инстинкт. Это постижение основного влечения вообще только смутным чувством составляет основную черту первого класса людей, который образуется не воспитанием, но сам собою, и каковой класс в свою очередь включает два подвида, разделяемых непостижимым, человеческому искусству решительно недоступным основанием¹⁰.

Второй основной вид сознания, который, как правило, не развивается сам собою, но должен быть тщательно выпестован в обществе, это ясное познание. Если бы основное влечение человечности постигалось в этой стихии, то это давало бы нам второй класс людей, совершенно отличный от первого. Подобное познание, обращающееся и на саму основную любовь человека, не оставляет его, как то очень даже может быть при познаниях иного рода, холодным и безучастным, но предмет такого познания мы любим больше всего на свете, ибо ведь предмет этот есть лишь истолкование и перевод самой нашей изначальной любви. Другое познание обращается на чуждое нам, и оно остается чужим и оставляет нас холодными; это познание обращено на самого познающего и его любовь, и он любит его. Несмотря на то, что обоими классами людей движет одна и та же изначальная любовь, только являющаяся в разных обличьях, – мы все же можем сказать, отвлекаясь от этого обстоятельства, что там человеком движут смутные чувства, здесь же – ясное познание.

Станет ли подобное ясное познание непосредственной мотивирующей силой в жизни, и можем ли мы уверенно рассчитывать на то, что так и будет, – это, как мы сказали, зависит от того, чтобы это познание истолковало человеку именно его действительную и подлинную любовь и чтобы ему стало также непосредственно ясно, что это именно так, и одновременно с истолкованием в нем пробудилось и дало себя знать чувство этой любви, чтобы поэтому в нем никогда не развивали познание, не развивая в нем в то же самое время любви, – ибо в противном случае он останется холоден к такому познанию, – и никогда не пробуждалась в нем любовь, которой бы не сопутствовало развитие познания, – ибо в противном случае его мотив обратился бы в смутное чувство; чтобы поэтому каждый шаг его образования образовывал в нем цельного единого человека. Человек, которого воспитание видит именно таким, как некое неделимое целое, останется таким и впоследствии, и всякое познание необходимо станет для него живым мотивом.

2). И если, вместо смутного чувства, мы сделаем самым первым в человеке, подлинной основой и исходным пунктом его жизни ясное познание, то тем самым мы совершенно минуем эгоизм и перехитрим его, не дав ему даже развиться. Ибо только смутное чувство дает человеку его самость как такую, которая нуждается в удовольствии и боится боли; но ясное понятие дает ему совсем иную самость, оно показывает ему его самость как звено нравственного миропорядка, и есть любовь к этому порядку, которая воспламеняется в нем и развивается одновременно с развитием этого понятия. С эгоизмом это воспитание не имеет решительно ничего общего, потому что оно подавляет ясностью познания самый корень эгоизма – смутное чувство; оно не оспаривает его и не развивает его – оно ничего о нем не ведает. Если бы возможно было этой страсти все-таки пробудиться в сердце впоследствии, она нашла бы сердце преисполненным высшей любви, так что ей не осталось бы места.

3). Это основное влечение человека, когда оно переводится в ясное познание, обращается не на данный и наличный уже мир, который ведь мы можем принимать только пассивно, таким, как он есть, и в котором любовь, побуждающая нас к изначально-творческой деятельности, не нашла бы себе области приложения; но это влечение, усиленное до познания, обращается на мир, который должен быть, априорный мир, такой, который есть будущий мир и вовеки остается будущим. Поэтому божественная жизнь, лежащая в основе всех явлений, никогда не вступает в мир как пребывающее и данное бытие, но лишь как нечто такое, что должно быть, и после того как станет в мире подобное нечто, которое должно было быть, она опять вступает в мир как то, что должно быть, и так продолжается вечно. Поэтому эта божественная жизнь никогда не вступает в смерть пребывающего бытия, но всегда остается в форме вечно текущей жизни. Непосредственное явление и откровение Бога есть любовь; только истолкование этой любви в познании предполагает бытие, причем такое, которое вовек лишь должно быть, и предполагает это бытие как единственно истинный мир, насколько вообще в мире может быть истина. Второй же, данный и находимый нами в этом качестве данного мир есть лишь тень и схема, из которого познание созидает прочный облик и зримую плоть своему истолкованию любви; этот второй мир есть средство и условие наглядной данности высшего мира, который сам по себе невидим. Бог не вступает непосредственно даже и в этот последний, высший, мир, но и здесь это его явление всегда опосредуется единой, чистой, неизменной и не имеющей вида любовью, в каковой любви он только и является непосредственно. К этой любви прибавляется созерцающее познание, дающее из самого себя тот образ, в который оно облакает, сам по себе невидимый, предмет любви; однако любовь всякий раз оспаривает его, и потому увлекает его все к новым обличьям, но и их опять-таки любовь так же точно принять не может. И только поэтому любовь, которая сама по себе Одна и вовсе не знает текучести, вечности и бесконечности, также становится в этом своем слиянии с созерцанием вечной и бесконечной, подобно ему. Упомянутый мною только что образ, заимствованный из познания, – если рассматривать его сам по себе, еще не применяя его к отчетливо постигнутой любви, – есть пребывающий и данный мир, или природа. Иллюзия, будто в эту природу каким-либо образом непосредственно, и не через посредство указанных промежуточных звеньев, вступает сущность Божества, возникает от помрачения духа и не святости воли.

4). И вот, чтобы смутное чувство, как вызывающее любовь средство, совершенно и как правило миновали, чтобы на его место встало ясное познание, и чтобы именно оно уже вызывало отныне обыкновенно любовь человека, – этого, как мы уже упоминали, можно добиться лишь с помощью обдуманного искусства воспитания человека, а этого до сих пор не происходило. Поскольку же, как увидим, этим последним способом создается род людей, совершенно отличный от обычных людей прежнего времени, и именно его полагают теперь правилом воспитания, такое воспитание, разумеется, послужит началом совершенно новому порядку вещей и новому творению. Человечество само создаст себя самое в этом новом обличи, именно тем, что само, старанием нынешнего поколения, станет воспитывать себя, как будущее поколение, таким именно образом, как оно только и может это сделать: через посредство познания, – того единственного, что обще всем и всем свободно сообщается, и что есть подлинно воздух и свет духовного мира, связующий этот духовный мир в единство. До сих пор человечество становилось тем, чем оно становилось и стать могло. Этому случайному становлению пришел конец. Ибо там, где развитие человечества пошло всего дальше, там человечество обратилось в совершенное ничтожество. Если оно не должно остаться в этом ничтожестве, то ему надлежит отныне самому сделать себя всем, чем оно еще должно стать. Подлинное назначение человеческого рода на земле, – как я сказал в чтениях, которым эти речи служат продолжением, – заключается в том, чтобы свободно сделать себя тем, чем оно, в сущности, является изначально¹¹. И вот это самосозидание, совершающееся в общем обдуманно и согласно некоторому правилу, должно однажды начаться где-нибудь и когда-нибудь в пространстве и времени, и тогда вместо первого раздела несвободного развития человеческого рода наступит второй раздел – свободного и обдуманного его развития. Мы полагаем, что в отношении времени это время настало именно теперь, и что ныне человечество стоит поистине в середине своей жизни на земле – между двумя основными эпохами своей истории. В отношении же пространства мы полагаем, что немцам, прежде всех прочих, следует вменить в обязанность начать собою новое время, предвосхищая и прообразуя его собою для всех прочих народов.

5). Однако даже и это совершенно новое творение совершится не каким-нибудь скачком из прежнего творения, но будет подлинно естественным продолжением и следствием прежнего времени, в особенности среди немцев. Ведь все стремления и побуждения нашего времени были явно и, я думаю, вполне общепризнанно направлены к тому, чтобы изгнать из жизни смутные чувства и утвердить господство только ясности и познания. И это стремление вполне достигло желаемого, поскольку оно вполне обнаружило перед всеми прежнее ничтожество. Это влечение к ясности теперь отнюдь не следует искоренять, и тупое пребывание в смутных чувствах не должно опять добиться господства; это влечение следует только развить еще более и ввести его в высшие сферы, так чтобы после разоблачения ничтожества для всех стало столь же очевидно и нечто, – утверждающая и действительно нечто полагающая истина. Возникающий из смутного чувства мир данного и собственной силой себя создающего бытия погиб, и должен погибнуть; возникающий же из изначальной ясности мир вечно рождающегося в духе бытия должен воссиять и явиться во всем своем блеске.

Пусть пророчество о новой жизни в подобной форме покажется в наше время странным, и наше время едва ли найдет в себе смелость усвоить это предсказание, если только заметит громадную дистанцию, которая отделяет господствующие в нем мнения о только что

названных мною предметах от того, что мы выразили здесь как принципы нового времени. Не буду говорить, как об очевидно худшем, о том образовании, которое однако получали до сих пор, как правило, только высшие сословия, словно некую оберегаемую от простонародья привилегию, и которое совершенно умалчивало о сверхчувственном мире и стремилось развить в учениках только некоторую ловкость в делах мира чувственного. Рассмотрю лишь то воспитание, которое было образованием народа, и которое в известном, весьма ограниченном, смысле можно было бы назвать и национальным воспитанием, которое не вовсе хранило молчание о сверхчувственном мире. Каковы были учения, сообщаемые этим воспитанием? Если мы утверждаем здесь, что первейшая предпосылка нового воспитания заключается в том, чтобы в самом корне человека было утверждено чистое благорасположение к добру, и чтобы это благорасположение можно было развить в нем настолько, что для человека будет невозможно не делать того, что он признал добрым, и вместо того делать то, что он признал злом; то прежнее воспитание не просто предполагало, но и самой ранней юности поучало своих питомцев, отчасти, что человеку присуще естественное отвращение к исполнению заповедей Божиих, а отчасти, что исполнить их ему абсолютно невозможно. И если теперь каждый смирится со своей природой, раз уж с ней ничего нельзя поделать, не пытается сделать то, что, как ему объяснили, для него невозможно, и не желает быть лучше, чем он все прочие быть способны; и если он даже доволен собой в этой приписываемой ему низости, признает сам себя в своей радикальной греховности по природе дурным, коль скоро эту подлость пред Богом ему представляют как единственное средство примирения с Богом, – и если там, где достигнет его слуха утверждение, подобное нашему, он не может подумать ничего иного, кроме того, что говорящий хочет просто неудачно пошутить, потому что и он тоже во всякое время чувствует в душе и с наглядностью ощущает, что это неправда и что единственно истинно противоположное утверждение, – то чего же еще можно ожидать от подобных поучений, если только ученики принимают их всерьез и вполне им верят? Если мы допускаем, что существует познание, совершенно независимое от всякого данного бытия и само дающее закон этому бытию, и если мы хотим погрузить в это познание каждое человеческое дитя с самого же начала, и постоянно удерживать его отныне в области этого познания, свойства же вещей, подлежащие сугубо историческому заучиванию, рассматриваем как нечто маловажное и второстепенное, что приходит само собою, – перед нами выступают самые спелые плоды прежнего воспитания и напоминают нам, что ведь, как всем известно, никакого априорного познания вовсе нет, и что они бы очень хотели узнать, как же это можно познавать иначе чем на опыте. А чтобы этот сверхчувственный и априорный мир не обнаружился даже и в том месте, где проявления его, казалось, никак невозможно избежать, – в возможности познания о Боге, и чтобы духовная самодеятельность не возвышалась даже и к Богу, но везде и повсюду была все та же пассивная преданность – прежнее образование людей изобрело против этой угрозы рискованное средство: оно превратило бытие Божие в исторический факт, истина которого устанавливается путем допроса свидетелей.

И правда, все это действительно так; однако пусть наша эпоха из-за этого не впадает в отчаяние о своем будущем. Ибо сами эти явления, как и все прочие подобные им, не суть нечто самостоятельное, но суть лишь цветы и плоды дикорастущего корня прежнего времени. Пусть только эпоха спокойно даст привить себе новый корень, более благородный и могучий, чем прежний, – и старый корень умрет, а цветы его и плоды, которым от него

уже не будет поступать питательных соков, сами собою увянут и опадут. Теперь эпоха еще вовсе не способна поверить нашим словам, и они, совершенно необходимо, представляются ей пустыми сказками. Да мы и не хотим, чтобы она нам поверила; мы хотим себе только простора для творчества и действия. Впоследствии она увидит – и тогда поверит собственным своим глазам.

Так, например, кто-нибудь, кто знаком с изделиями последнего времени, давно уже, вероятно, заметил, что здесь мы вновь высказываем положения и воззрения, которые проповедовала, и все проповедовала, новейшая немецкая философия с самого своего возникновения, ибо она именно ничего больше не умела, как проповедовать. Теперь уже достаточно ясно, что эти проповеди отзвучали и затихли в пустоте, не принеся плода, как ясно и то, почему они должны были умолкнуть столь бесплодно. Живое может воздействовать лишь на живое; но действительная жизнь нашего времени ни в чем не сродна этой философии, – ведь эта философия подвизается в такой сфере, которой нашему времени еще вовсе не открылся, и требует органов чувств, которые у этого времени еще просто не выросли. В этой эпохе она совсем не дома, она – предвосхищение времени и уже заранее готовая стихия жизни поколения, которое должно увидеть свет дня лишь в этой стихии. От нынешнего поколения она должна отречься, но чтобы до этих пор она не оставалась без дела, пусть она возьмет на себя задачу образования того поколения, к которому она принадлежит. Лишь когда она уяснит себе это свое ближайшее занятие, она сможет мирно и дружественно сосуществовать с поколением, которое ей, вообще-то, не нравится. Воспитание, которое мы до сих пор описывали, есть в то же время и воспитание к этой философии; а в известном смысле, только она может быть воспитательницей в этом воспитании; и таким образом, ей приходится опережать свою собственную понятность и приемлемость. Но придет время, когда ее поймут и с радостью примут; и потому пусть наша эпоха не впадает в отчаяние о своем будущем.

Пусть эта эпоха услышит слово о видении древнего пророка, видении, подразумевающим, конечно, не менее прискорбное положение человечества. Так говорит провидец у потока Ховар, утешитель пленных не в своей, а в чужой стране: «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом, и поставил меня среди поля, и оно было полно костей, – и обвел меня кругом около них, и вот, весьма много их на поверхности поля, и вот, они весьма сухи. И сказал мне: сын человеческий! Оживут ли кости сии? Я сказал: Господи Боже! Ты знаешь это. И сказал мне: изреки пророчество на кости сии и скажи им: «кости сухие! Слушайте слово Господне». Так говорит Господь Бог костям сим: вот, Я введу дух в вас, и оживете. И обложу вас жилами и выращу на вас плоть, и покрою вас кожей и введу в вас дух, – и оживете, и узнаете, что Я – Господь. Я изрек пророчество, как повелено было мне: и когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своею. И видел я: и вот, жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. Тогда сказал Он мне: изреки пророчество духу, изреки пророчество, сын человеческий, и скажи духу: так говорит Господь Бог: от четырех ветров приди дух, и дохни на этих убитых, и они оживут. И я изрек пророчество, как Он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои – весьма, весьма великое полчище»¹². Пусть элементы нашей высшей духовной жизни лежат вокруг, такие же иссохшие, и потому именно узы нашего национального единства, разорванные, в диком беспорядке и как попало разбросаны вокруг нас, подобно мертвым костям у пророка: пусть за многие

столетия они побелели и совсем иссохли под бурями, ливнями и жгучими лучами солнца; но все еще веет на них живительное дуновение духовного мира. Проникнет оно и мертвые останки нашего национального тела, и сдвинет их воедино, и величаво восстанут они к новой и просветленной жизни.

Четвертая речь. Основное различие между немцами и другими народами германского происхождения

Предлагаемое в этих речах средство для образования нового поколения людей должны применить прежде всего немцы к немцам, и это средство прежде всего и поистине подобает усвоить именно нашей нации, – сказали мы в прошлый раз. Это положение также требует доказательства, и здесь, так же точно как и прежде, мы начнем это доказательство с самого высшего и всеобщего: покажем, что такое немец в себе и для себя в основной своей черте, независимо от постигшей его ныне судьбы, и чем он был издавна, с тех самых пор, как он существует, – и докажем, что уже в этой основной его черте заключена способность и восприимчивость к подобного рода образованию, свойственная исключительно только ему среди всех других европейских наций.

Немцы, прежде всего – это одно из племен германцев вообще, о которых здесь достаточно будет указать то определение, что они были предназначены соединить общественный порядок, созданный в древней Европе, с сохраненной в Азии истинной религией, и таким образом развить в себе и из себя самих новое время, противоположное погибшей древности. Здесь достаточно будет также обозначить свойство немцев лишь в противоположность другим возникшим рядом с ними германским племенам и народностям. Ибо другие нации новой Европы (к примеру, народы славянского происхождения) еще не получили, кажется, столь ясного развития сравнительно с остальной Европой, чтобы возможно было определенно обрисовать их основные черты, а другие народы, также происходящие от германцев, но к которым не относится утверждаемое нами отличительное свойство (каковы скандинавы), мы здесь без всяких сомнений признаем за немцев, и на них также распространяются общие выводы, следующие из нашего рассуждения.

Но прежде всего предстоящему нам сейчас в особенности рассуждению мы должны предпослать следующее замечание. Как основание различия, появившегося в изначально

едином основном племени, я укажу одно обстоятельство, которое – просто как обстоятельство – ясно и неоспоримо находится на виду у всех; затем я назову некоторые отдельные проявления этого возникшего различия, которые, просто как обстоятельства, могут, вероятно, стать столь же очевидными. Но вот что касается связи этих последних, как следствий, с первым, как их основанием, и вывода следствия из основания, то здесь я вообще-то не могу рассчитывать на то, что он будет столь же ясен и убедителен для всех. Правда, и в этом отношении я не собираюсь высказывать каких-то совершенно новых и прежде неслыханных суждений, и среди нас есть много людей, которые либо хорошо подготовлены к принятию такого воззрения на дело, или уже и знакомы с этим воззрением. Но в большинстве публики имеют хождение понятия о подлежащем здесь обсуждению предмете, которые весьма отличаются от наших о нем понятий, так что их исправление и опровержение всех возражений, которые могут высказать нам по частным случаям люди, лишенные испытанной опытом способности видеть целое, далеко вышло бы за границы и нашего времени, и нашего плана. Относительно этих последних людей мне придется удовлетвориться тем, чтобы предложить им то, что я имею сказать по этому поводу, и что в целокупности моего мышления не остается столь отрывочным и обособленным, каким является здесь, и не лишено обоснования в глубинах знания, только как предмет для дальнейшего размышления. Совершенно обойти этот предмет я не мог, – не только ради непременно для понимания целого основательности, но уже и ввиду важных выводов, которые последуют из него в дальнейшем ходе наших речей и которые существенно входят в наши собственные ближайшие намерения.

Прежде всего и непосредственно нашему взгляду представляется то различие между судьбами немцев и всех прочих племен, родившихся от того же корня, что первые остались в местах проживания народа-предка (Stammvolk), а последние переселились на жительство в другие места, – что первые сохранили и развили у себя первоначальный язык народа-предка, а последние приняли чужой язык и постепенно преобразовали его на свой лад. Из этого, самого первого по времени, различия, следует объяснять те различия, которые явились позднее, – например, то, что в первоначальном отечестве, сообразно с коренным обычаем германцев, сохранился союз государств под началом одного ограниченного главы, а в чужих землях государственное устройство перешло в монархии, весьма подобно тому, как это было прежде в Риме, и т. п., – а вовсе не наоборот.

Первое из указанных сейчас изменений – перемена родины – совершенно несущественно. Человек легко приживается в любом краю, и своеобразие народа не только не меняется сколько-нибудь значительно от перемены места жительства, но скорее само овладевает этим новым местом жительства и изменяет его по себе. К тому же различие влияния природы в разных краях, населяемых германскими народами, не очень велико. Столь же мало можно придавать значения и тому обстоятельству, что потомки германцев смешались в завоеванных ими странах с их прежними обитателями; ибо победителями и властелинами, и образователями нового народа, возникающего из этого смешения племен, были все же только германцы. Кроме того, такое же смешение, какое случилось у германцев за рубежами отечества с галлами, кантабрийцами и т. д., произошло у них ничуть не в меньшей степени и на родине со славянами; так что любому из народов, возникших от германцев, в наше время непросто будет доказать, будто его родословная чище, чем у всех прочих народов того же корня.

Но более значительным, и, как я убежден, основанием совершенной противоположности между немцами и другими народами, происходящими от германцев, является второе изменение – изменение языка. А здесь, – это я хочу совершенно определенно высказать с самого же начала, важно не особенное свойство того языка, который это племя сохранило, и не особенное свойство других языков, которые другое племя приняло, но единственно лишь то, что здесь сохранили свое собственное, а там приняли чужое; и неважно также, каково было прежнее происхождение тех, кто продолжает говорить на первоначальном языке, а важно лишь то, что они именно без перерыва продолжают говорить на этом языке: ведь язык образует людей намного более, чем сами люди образуют язык¹³.

Чтобы пояснить Вам следствия, какие имеет подобное различие зарождения народов, и определенный характер противоположности их национальных черт, необходимо возникающий из этого различия, я вынужден предложить Вам подумать вместе со мною о сущности языка вообще.

Язык вообще, и в частности обозначение предметов на этом языке через звучание органов речи, нисколько не зависит от произвольных решений и соглашений, но существует, прежде всего, основной закон, согласно которому любое понятие становится в человеческих органах речи именно этим, а не каким-нибудь иным звуком. Так же, как в органах чувств человека предметы отображаются этой определенной фигурой, цветом и т. п., так в органе общественного человека, в языке, они отображаются этим определенным звуком. Говорит, собственно, не человек, но в нем говорит человеческая природа, и извещает себя другим ему подобным существам. А потому нужно было бы сказать: существует один-единственный и абсолютно необходимый язык.

Правда, язык в этом своем единстве, – и таков будет второй момент, – быть может, нигде и никогда не возник у человека вообще, просто как такового, но повсюду его изменяло и образовывало воздействие, которое оказывало различие местностей и большая или меньшая частота употребления на органы речи, а последовательность наблюдаемых и обозначаемых предметов на последовательность этого обозначения. Однако и здесь действует не произвол, не слепая случайность, но строгий закон; и в обусловленном таким образом упомянутыми условиями органе речи совершенно необходимо возник не один и чистый человеческий язык, но отклонение от него, и притом именно это определенное отклонение.

Если людей, живущих сообща, подлежащих одним и тем же внешним воздействиям на их орган речи и в непрерывном взаимном общении развивающих свой язык, мы назовем народом, то должны будем сказать: язык этого народа необходимо таков, каков он есть, и не народ собственно выражает в нем свое познание, но само познание этого народа выражает себя в его языке.

Во всех изменениях, происходящих в развитии языка в силу тех же самых упомянутых выше обстоятельств, неизменно действует та же самая закономерность; причем та же самая единая закономерность действует для всех, остающихся друг с другом в непрерывном общении, и всюду, где любым человеком высказанная новость достигает слуха всех прочих. Через века, и после всех изменений, каким подвергнется за эти века внешнее явление языка этого народа, он всегда останется той же единой живой словесной силой

природы, которая изначально должна была произойти на свет именно такой, которая неизменно текла сквозь частные условия и при каждом из условий должна была стать такой, какой стала, и в конце ряда этих условий должна была явиться такой, какова она теперь, и по прошествии некоторого времени будет именно такова, какой необходимо должна будет стать. Вначале чисто человеческий язык, вместе с органом речи народа, когда раздался из него первый звук; затем то, что возникнет отсюда, вместе со всем тем особенным развитием, которое должен был получить этот первый звук речи при данных обстоятельствах, – все это в конечном итоге дает нам нынешний язык данного народа. Поэтому язык и остается всегда одним и тем же языком. Пусть даже, по прошествии нескольких веков, потомство не понимает уже языка, на котором говорили некогда его предки, потому что для него утрачены переходные звенья, – однако с самого же начала в языке существует непрерывный переход без скачков, который всегда неприметен в настоящем и становится заметен только от присовокупления новых переходов, являясь в таком случае как некий скачок. Никогда еще не бывало такого времени, когда бы современники перестали понимать друг друга, ибо вечным посредником и переводчиком для них всегда была и оставалась говорящая во всех и общая всем сила природы. Так обстоит дело с языком, как обозначением предметов непосредственно-чувственного восприятия, а таков вначале всякий человеческий язык. Если народ возвысится от этого восприятия к постижению сверхчувственного, то сверхчувственное – для произвольного повторения и во избежание смешения его с чувственным, в уме первого узнавшего его человека, и для сообщения его другим людям и целесообразного руководства их познанием, – он не сумеет поначалу удержать в понятии иначе, чем обозначив некоторую самость как орган сверхчувственного мира и строго отличив ее от той же самости как органа мира чувственного – противопоставив душу, дух и т. п. физическому телу. Далее, различные предметы этого сверхчувственного мира, поскольку все они вместе являются лишь в этом сверхчувственном органе и существуют лишь для него, обозначаются в языке лишь таким образом, что говорят: особенное отношение этих предметов к своему органу таково же, каково отношение таких-то и таких-то определенных чувственных предметов к чувственному органу, и в этом отношении особенный сверхчувственный предмет отождествляется с особенным чувственным предметом, и через это отождествление язык дает нам указание на место этого первого предмета в сверхчувственном органе. Более язык ничего не способен выразить в этой сфере; он дает нам чувственный образ сверхчувственного, но только замечает при этом, что это именно такой образ; кто хочет проникнуть к самой вещи, тот должен привести в действие свой собственный духовный орган согласно правилу, которое указывает ему этот образ. – В общем же ясно, что это символическое обозначение сверхчувственного должно всякий раз сообразоваться с той степенью, какой достигло у данного народа развитие чувственной способности познания; что поэтому начало и дальнейший ход развития этого символического обозначения окажется весьма различным в различных языках, соответственно различным отношениям, в которых находились и в которых неизменно находятся у народа, говорящего на известном языке, чувственное и духовное его образование.

Приведем один пример, чтобы оживить это, само по себе ясное, замечание. Нечто, возникающее вследствие постижения основного влечения не одним только смутным чувством, но одновременно и ясным познанием (что мы объяснили в прошлой речи), – а таков всегда и бывает сверхчувственный предмет, – называется греческим словом «идея»,

часто употребляющимся и в немецком языке, и это слово заключает в себе точно такой же символ, как тот, который встречается в следующих выражениях Лютера перевода Библии: «увидите видения», «будут вам сновидения»¹⁴. «Идея» или «вид» в чувственном значении этого слова – это нечто такое, что может быть схвачено лишь плотскими глазами, а отнюдь не органом иного чувства – осязания, слуха и т. п., – как например, радуга, или те фигуры, которые проходят перед нашим взором во сне. «Идея» же в сверхчувственном значении слова означала бы прежде всего, ввиду особой сферы, к которой должно относиться теперь это слово, нечто такое, что постигается вовсе не плотским, но только духовным органом; а далее, то, что может быть постигнуто не смутным чувством духа, как некоторые другие предметы, но только глазом духа, ясным познанием. Если мы и допустим, далее, что греки, давая такое символическое обозначение предмету, опирались все же при этом прежде всего на образ радуги и явлений такого рода, то нам придется признать, что их чувственное познание уже прежде того должно было подняться до постижения того различия между вещами, что некоторые вещи доступны всем или большинству органов чувств, а некоторые – только глазу, и что кроме того, они должны были бы обозначить развитое понятие, если бы только уяснили его, не так, но как-то иначе. Тогда нам открылось бы также и преимущество духовной ясности греков перед другим народом, который не умел бы обозначить различие между чувственным и сверхчувственным с помощью символа, заимствованного из состояния разумного бодрствования, но прибегнул бы, желая найти образ для иного мира, к представлениям сновидений. В то же время нам стало бы ясно, что это различие обусловлено не большей или меньшей силой органа познания сверхчувственного у этих двух народов, но исключительно лишь различием чувственной ясности, свойственной им в ту пору, когда они пожелали обозначить словом сверхчувственное.

Итак, обозначение сверхчувственного в слове всегда соотносится с обширностью и ясностью чувственного познания в обозначающем человеке. Символ ясен для него и совершенно понятно выражает для него отношение постигнутого им к духовному органу, ибо он поясняет ему это отношение через другое, с непосредственной живостью ему известное, отношение к его чувственному органу. Это, возникшее таким образом, новое обозначение, со всей новой ясностью, какую сообщает это расширенное употребление знака и самому чувственному познанию, фиксируется теперь в языке; и любое возможное в будущем сверхчувственное познание обозначается отныне по тому отношению, в каком стоит оно ко всей совокупности зафиксированного в языке сверхчувственного и чувственного познания; и так продолжается непрерывно; и потому непосредственная ясность и понятность символов языка никогда не может нарушиться, но остается одним непрерывным потоком. – Далее, коль скоро язык не опосредуется произволом, но рождается в разумном живом существе как непосредственная сила природы, язык, развивающийся непрерывно по этому общему закону, способен также непосредственно вмешаться в жизнь и служить для нее побуждением. Как непосредственно данные вещи побуждают человека к действию, так и слова такого языка должны побуждать того, кто понимает их, ибо и они тоже суть вещи, а вовсе не произвольные человеческие поделки. Так обстоит поначалу в области чувственного. Однако не иначе обстоит и в области сверхчувственного. Ибо, хотя в отношении этой последней непрерывный ход развития и нарушается свободным размышлением и рефлексией, и здесь вступает как бы Бог, не имеющий зримого образа (*der unbildliche Gott*), однако обозначение в языке опять ставит не имеющее образа на подобающее ему место в непрерывной взаимосвязи образного, а таким образом и в этом

отношении постепенный ход развития языка, зародившегося вначале как сила природы, не знает перерывов, и в поток обозначения не вмешивается ничей произвол. Поэтому и сверхчувственная часть постепенно развивающегося таким образом языка не может утратить живой побуждающей силы для того, кто только способен привести в действие свой духовный орган. Слова такого языка во всех его частях суть жизнь и творят жизнь. – Если мы предположим также и для развития в языке обозначений для сверхчувственного, что народ, говорящий на этом языке, остался в непрерывном взаимном сообщении, и что все, что помыслил и высказал один человек, достигло в скором времени до слуха всех, – то сказанное до сих пор в общем виде окажется справедливо для всех говорящих на этом языке. Для всех, кто только пожелает мыслить, будет ясен зафиксированный в языке символ; для всех действительно мыслящих он будет живым и побуждающим их жизнь образом.

Так обстоит дело, говорю я, с языком, который (с самого первого звука, прозвучавшего на этом языке) непрерывно развивался в действительной совместной жизни народа, и в который ни разу не попало ни одного элемента, не выражающего какого-нибудь действительно пережитого этим народом воззрения, – созерцания, состоящего во всеобъемлюще полной связи со всеми прочими воззрениями, свойственными этому же народу. Пусть в состав народа-предка этого языка вольется сколько угодно людей другого племени и другого языка, но, если только им не будет позволено сделать сферу их собственных воззрений исходным пунктом, на котором должен будет отныне развиваться язык этого народа, они останутся немymi членами этой общины, и не окажут никакого влияния на язык, пока сами они не вступят в сферу воззрений народа-предка, и таким образом не они образуют язык, но язык образует их.

Совершенно противоположное всему вышесказанному произойдет, если некий народ, отказавшись от собственного своего языка, примет чужой язык, уже весьма образованный для обозначения сверхчувственного; причем не так, чтобы он с полной свободой предался влиянию этого чужого языка и ограничится тем, что останется безъязыким до тех пор, пока не вступит в сферу воззрений этого чужого языка, – но так, что станет навязывать этому языку свою собственную сферу воззрений, так что этот язык вынужден будет пребывать отныне в этой его сфере воззрений, пребывающих на той точке зрения, на которой эти прирожденные воззрения застали новый язык народа. Правда, для чувственной части языка это обстоятельство не будет иметь никаких последствий. Ведь у каждого народа дети и так должны учить эту часть языка так, словно его знаки созданы произволом, и повторять таким образом все предшествующее развитие языка своей нации, но в этой чувственной сфере всякий знак можно вполне пояснить им, непосредственно показывая им обозначаемое или давая прикоснуться к нему. Из этого могло бы в этом отношении произойти, самое большее, лишь то, что первое поколение такого изменившего свой язык народа оказалось бы вынуждено в зрелости и возмужалости вновь вернуться в пору детства; но у следующего, и у всех будущих поколений все вернулось бы к прежнему порядку. Для сверхчувственной же части языка это изменение имеет чрезвычайно важные последствия. Хотя у первых обладателей языка эта часть его составила описанным выше способом, однако для тех, кто завладел этим языком впоследствии, символ заключает в себе сравнение с чувственным воззрением, которое они или давно уже превзошли, не пройдя однако сопровождавшего это воззрение духовного образования, или которого у них пока еще не было, да и не может

когда-либо появиться. Самое большее, что они смогут сделать с этим символом – это потребовать от других объяснения этого символа и его духовного значения, в итоге чего они получают мертвую и плоскую историю чужого образования, а вовсе не свое собственное образование, и образы, которые для них не будут ни непосредственно ясны сами по себе, ни побуждением в действительной жизни, но которые должны казаться им совершенно столь же произвольными, как и чувственная часть языка. Вследствие этого явления простой истории, как истолковательницы, язык, во всей полноте его символического содержания, останется мертв, запечатлен, и непрерывное течение его жизни прервано; и хотя за пределами этой сферы они могут по-своему (насколько это вообще возможно с подобной точки зрения) дать этому языку новое живое развитие; и все же этот сверхчувственный его элемент останется преградой, об которую разобьются все без исключения потуги заставить язык изначально родиться вновь из их жизни как живую силу природы, и вернуть действительный язык в жизнь народа. Хотя на поверхности подобный язык движут ветры самой жизни, и потому он кажется даже живым, однако в глубине в нем скрыт мертвый элемент, и вследствие явления новой сферы воззрений и прекращения прежней он отрезан от своих живых корней.

Оживим только что сказанное одним частным примером; а к этому примеру заметим еще мимоходом, что такой, в основе своей, мертвый и непонятный язык очень легко также будет извратить и злоупотреблять им, всячески приукрашивая с его помощью нравственную порчу человеческого сердца, между тем как на языке, никогда не умирившем, сделать подобное будет не так-то просто. Для примера же возьму три печально известных слова: гуманность, популярность, либеральность. Эти слова, если их сказать немцу, который не учился никакому другому языку, будут для него совершенно пустым звуком, не напомнят ему сродством своих звуков ни о чем уже ему известном и таким образом совершенно вырвут его из сферы его воззрений и всяких вообще возможных воззрений. Если незнакомое слово все же привлечет к себе его внимание своим чуждым, благородным и складным звучанием, и он решит, что возвышенно звучащее должно и означать нечто высокое, – то это значение ему уже с самого же начала, и как нечто для него совсем новое, потребует объяснения, и этому объяснению он может именно что слепо поверить. А таким образом он незаметно для себя самого будет привыкать к тому, чтобы признавать существующим и даже достойным нечто такое, что он, будь предоставлен самому себе, никогда, быть может, не счел бы даже стоящим упоминания. Не думайте, что у новолатинских народов, которые произносят эти слова якобы как слова своего родного языка, дело обстоит намного иначе. Корни этих слов они понимают несколько не лучше немца, если только не занимались ученым исследованием древности и ее действительного языка. Если бы теперь мы сказали немцу, вместо слова «гуманность», слово «человечность» (как первое слово и следует переводить буквально), – он понял бы нас без дальнейших исторических объяснений; только он сказал бы: не очень-то это много, если ты человек, а не дикий зверь. Но немец сказал бы это (чего, конечно, римлянин никогда не сказал бы), потому что в его языке человечность вообще осталась чувственным понятием, но так и не стала, как у римлян, символом сверхчувственного: оттого что наши предки, может быть, давно уже заметили отдельные человеческие добродетели и дали им символическое обозначение в языке, прежде чем им пришла в голову мысль сочетать все эти добродетели в едином понятии, причем как противоположность животной природе, чего нельзя поставить и в упрек нашим предкам, сравнительно с римлянами. Кто, однако, захотел бы искусственно подбросить в язык немцев

этот чужой и римский символ, тот без сомнения снизил бы их нравственный образ мысли, предложив им как превосходное и похвальное нечто такое, что, может быть, на иностранном языке и вправду таково, но что немец, в силу неискоренимой природы своего национального воображения, понимает просто как известное и как то, без чего и обойтись невозможно. При более обстоятельном исследовании можно было бы, вероятно, доказать, что подобного рода снижения прежнего нравственного образа мыслей вследствие появления в языке неподходящих и чуждых символов уже в самом начале происходили с германскими племенами, усвоившими себе язык римлян; однако отнюдь не этому обстоятельству мы придаем здесь наибольшее значение.

Если бы, далее, немцу, вместо слов «популярность» и «либеральность» я сказал «искание благосклонности толпы» и «удаление от раболепия» (как эти слова и следует переводить буквально), то в уме его, прежде всего, не возникло бы даже ясного и живого чувственного образа, какой бесспорно являлся при этих словах в уме римлянина древнейшей эпохи. Этот римлянин каждый день видел перед собою податливую учтивость честолюбивого кандидата ко всем людям без разбора, как и вспышки раболепия, и эти слова живо проображали в его уме известные ему явления. С изменением формы правления и с введением христианства уже римлянин позднейших времен лишился подобных зрелищ, – ведь и вообще у этого римлянина, особенно из-за чужеродного ему христианства, которое он не в силах был ни отвергнуть, ни вполне усвоить себе, его собственный язык в немалой части начал умирать прямо на устах. И как же возможно было бы теперь с живой наглядностью передать этот, уже и на собственной своей родине полумертвый, язык чуждому народу? Как можно было бы передать его нам, немцам? Что же касается, далее, данного в обоих этих выражениях символа духовной действительности, то в популярности уже изначально заключается некоторая низость, которая от нравственной порчи нации и ее государственного устройства обманым путем обращается в ее собственных устах в добродетель. Немец никогда не согласится на этот обман, если только он будет предложен ему на собственном его языке. А если «либеральность» ему переведут, сказав, что она означает человека, у которого не рабская душа, или, применительно к нравам нового времени, у которого не лакейский образ мысли, то он ответит вам опять-таки, что и это, значит, не очень-то много.

Но, далее, в эти символические выражения, уже и в чистом виде своем возникшие у римлян на весьма низкой ступени их нравственного образования, или прямо означавшие у них низость характера, в ходе дальнейшего развития новолатинских языков привнесли еще значение несерьезности в отношении к общественным делам, самоунижения, бездушного легкомыслия, и внедрили эти оттенки смысла также в немецкий язык, чтобы, представляя нам картины древности и заграницы, втихомолку и так, чтобы никто не мог ясно заметить, о чем идет речь, доставить всему только что названному почет и вес и в нашем обществе. Такова была всегда цель, и таков результат, всякого вмешательства: погрузить сперва слушателя из непосредственной понятности и определенности, какая свойственна всякому изначальному языку, в темноту и непонятности; затем обратиться к возникшей в нем от этого слепой вере с объяснением смысла новых слов, в котором он теперь нуждается; а в этом объяснении так смешать, наконец, добродетель с пороком, чтобы слушателю нелегко было вновь отделить их друг от друга. Если бы то, чего собственно должны хотеть эти три иностранных слова (если они вообще чего-нибудь хотят), немцу, на его языке и в привычной для него сфере символов, выразили так: «человеколюбие», «общительность»,

«благородство», то он бы нас понял, а названные выше низменные значения никогда бы не удалось подтасовкою вложить в эти словесные обозначения. На всем пространстве, где звучит немецкая речь, подобное облачение слов покровом непонятности и темноты происходит либо от неумелости оратора, либо же от его злого умысла. Этой темноты нужно избегать, а для того у нас всегда наготове подспорье – перевод этих слов на настоящий и подлинный немецкий язык. В новолатинских же языках эта непонятность естественна и изначальна, и там ее не избежать решительно никакими средствами, потому что эти народы не располагают вообще никаким живым языком, которым они могли бы поверить мертвый язык, и у них, строго говоря, вовсе нет родного языка.

Изложенное на этом отдельном примере (что мы легко могли бы проверить на всем объеме слов языка и что всюду оказалось бы в точности таково же) прояснит для Вас сказанное мною до сих пор настолько, насколько это здесь вообще возможно. Речь идет здесь о сверхчувственной части языка; о чувственной, поначалу и непосредственно, вовсе не говорим. В языке, всегда бывшем живым языком народа, эта сверхчувственная его часть является символической, подытоживая в себе на каждом шагу развития всю целокупность чувственной и духовной, зафиксированной в языке жизни нации в совершенном единстве, чтобы дать обозначение понятию, которое также не произвольно, но с необходимостью возникло из всей прежней жизни нации, из которого – и из его обозначения – зоркий глаз непременно сумеет воссоздать вновь, шаг за шагом, всю историю образования этой нации. А в мертвом языке, в котором, когда он был еще жив, эта часть была в точности такова же, после его насильственной смерти эта часть языка становится бессвязным собранием произвольных и не допускающих никакого дальнейшего объяснения знаков для столь же произвольных понятий, так что и те, и другие годятся именно только на то, чтобы просто заучить их на память.

Таким образом, ближайшая наша задача – найти основную черту, отличающую немцев от других народов германского происхождения – теперь решена. Это различие возникло сразу при первом же разделении общего племени, и заключается в том, что немец говорит на языке, который оставался живым с тех самых пор, как впервые проистек из силы природы, все же прочие германские племена – на таком языке, который лишь на поверхности подвижен, в корне же своем мертв. Только в этом обстоятельстве – живости или смерти языка – мы полагаем, состоит все различие; но мы нисколько не имеем в виду какой-либо иной внутренней ценности немецкого языка. Между жизнью и смертью не может быть никаких мировых соглашений, и ценность первой, сравнительно с последней, бесконечна; поэтому все непосредственные сопоставления немецкого языка и новолатинских языков совершенно ничтожны, и вынуждены вести речь о таких вещах, которые не стоят обсуждения. Если бы зашла речь о внутренней ценности немецкого языка, то, по крайней мере, нужно бы было противопоставить ему язык, равный ему достоинством, язык столько же изначальный; но подобное сопоставление намного превосходит нашу нынешнюю задачу.

Сколь огромное влияние на всю совокупность человеческого развития известного народа оказывает свойство его языка, – языка, который сопутствует человеку, в мысли и воле, повсюду, вплоть до потаеннейших глубин его души, и окрыляет его или ставит ему преграды, который соединяет все множество говорящих на нем людей в населяемой ими области в один единый разум, который составляет подлинную точку взаимного излияния

мира чувственного и духовного, и в котором концы обоих миров сплавлены друг с другом настолько, что нам решительно невозможно сказать, к которому из этих миров относится он сам; сколь различны будут последствия этого влияния, там, где языки относятся друг к другу так, как жизнь и смерть, – это в общем угадать нетрудно. Прежде всего оказывается, что у немца есть средство для того, чтобы еще глубже понять свой живой язык, через сопоставление его с законченным в себе языком римлян, весьма отличным от его собственного по степени развития в нем символизма, а равно и понять таким способом с большей ясностью этот последний язык, что не так уже просто для человека новолатинского языка, который, в сущности, остается пленником в области одного и того же единого языка; что немец, изучая корневой латинский язык, получает одновременно, в известном смысле в придачу к нему, и все от него производные, и если он выучит латинский основательнее иностранца (что, по вышеуказанной причине, ему вполне по силам), он в то же самое время научится понимать и собственные языки этого иностранца гораздо основательнее, и владеть ими гораздо свободнее, чем сам говорящий на них иностранец; что поэтому немец, если только он воспользуется всеми своими преимуществами, сможет во всякое время проникательнее видеть и вполне понимать его, лучше даже, чем он сам себя понимает, и переводить его на свой язык во всем объеме его смыслов; иностранец же, если он не приложил прежде великих стараний, чтобы выучиться немецкому языку, никогда не сможет понять настоящего немца, и подлинно немецкие выражения останутся у него, без всякого сомнения, непереуведенными. То, чему в этих языках можно научиться только от самого иностранца – это, чаще всего, лишь явившаяся от скуки и частной прихоти новомодная манера речи, и тот поистине весьма непритязателен, кто станет прислушиваться к наставлениям на этот счет. В большинстве случаев мы могли бы показать им вместо этого, как, соответственно корневому языку и закону его преобразования, следовало бы им говорить, и показать, что эта новая мода ничего не стоит и оскорбляет старинные добрые обычаи. – Все это множество следствий вообще, как и упомянутое только что следствие в частности, являются здесь, как мы уже сказали, сами собою.

Наше же намерение состоит теперь в том, чтобы постичь все эти следствия в целом, из глубины и в их общей связи, чтобы дать тем самым основательное описание немцев, в противоположность прочим германским племенам. Эти следствия я укажу Вам предварительно вот как: 1) У народа с живым языком образование духа влияет на самую жизнь; в противоположном же случае жизнь и духовное образование идут порознь, каждый своим путем. 2) По этой же причине народ первого рода воспринимает любое образование духа с полной серьезностью, и он хочет, чтобы это образование вмешалось в его жизнь; между тем как для народа второго рода это образование есть скорее некая игра гениев, и занимаясь им он решительно ничего более не желает. Последние остроумны; первые же, помимо остроумия, еще и душевно богаты. 3) Из этого второго момента следует: первые честно прилежны во всех делах и готовы к тяжелому труду, вторые же идут на поводу у своей счастливой природы. 4) Из всего вместе следует: в нации первого рода великий народ восприимчив к образованию, и образователи этого народа испытывают свои открытия на своем народе и желают иметь на него влияние; в нации же второго рода образованные сословия отделяются от народа, и этот народ считают разве только слепым орудием для осуществления своих планов. Дальнейшее обсуждение этих, указанных сейчас, отличительных признаков я оставлю до следующего раза.

Пятая речь. Следствия указанного различия

В прошлый раз, чтобы описать своеобразие немцев, мы указали Вам основное различие между ними и другими народами германского происхождения: а именно то, что первые остались верными непрерывному течению своего изначального языка, развивающегося, как и прежде, на основе действительной жизни, последние же приняли чуждый им язык, который и умертвили своим влиянием. В конце прошлой речи мы указали другие явления в этих народностях, обнаруживающих подобное различие, которые с необходимостью должны были последовать из этого основного различия между ними, а сегодня намерены развить описание этих явлений более подробно и еще прочнее обосновать их в общей их основе.

Исследование, заботящееся о том, чтобы быть основательным, может избавить себя от нужды вступать в иные споры и опровергать иных завистников. И как мы поступали прежде в том исследовании, продолжением которого служит наше теперешнее рассуждение, так поступим мы и теперь. Мы станем шаг за шагом логически выводить все, что следует из указанного нами основного различия, и при этом следить лишь за тем, чтобы этот вывод был неизменно правилен. Возникают ли в действительном опыте все те многообразные явления, которые должны наступить согласно этой нашей дедукции, или же нет – это я предоставляю решать лишь Вам и любому наблюдателю. Хотя, что касается в особенности немца, я покажу в свое время, что он действительно оказался таким, каким он и должен был быть согласно нашей дедукции. Но что касается германца-иностранца, то я не стану возражать, если один из этих иностранцев действительно поймет, о чем здесь собственно идет речь, и если впоследствии ему удастся доказать нам, что его соотечественники как раз были именно тем же самым, чем были немцы, и он сумеет совершенно снять с них любые подозрения в том, что свойства их противоположны. Вообще наше описание даже и этих противоположных свойств отнюдь не станет рисовать их в резком и невыгодном свете, ибо это сделает нам победу легкой, однако бесславной, но укажет лишь на необходимые последствия, и выразит их в выражениях настолько благопристойных, насколько позволяет нам уважение к истине.

Первое указанное мною следствие представленного основного различия было следующее: у народа с живым языком образование духа вторгается в саму жизнь; у народа же противоположного духовное образование и жизнь идут порознь, каждое своей дорогой. Полезно будет обстоятельнее объяснить вначале смысл высказанного нами положения. Прежде всего, коль скоро здесь идет речь о жизни и о вмешательстве духовного образования в эту жизнь, то под этим следует понимать изначальную жизнь и непрерывное ее протекание из истока всякой духовной жизни, из Бога, дальнейшее образование

человеческих отношений в соответствии с их прообразом, и тем самым – сотворение жизни новой и никогда прежде небывалой. Но отнюдь не идет речи о простом поддержании этих отношений на той ступени, на которой они уже находятся, не о предохранении их от возможного упадка, и тем более не о помощи только отдельным членам общества, отставшим в своем развитии от всеобщего образования. Далее, коль скоро здесь идет речь о духовном образовании, то под этим образованием следует понимать, прежде всего, философию (мы вынуждены назвать его иностранным именем, ибо немцы не позволили нам ввести в оборот давно уже предложенное немецкое название¹⁵): Философию, говорю я, нужно прежде всего понимать под таким образованием; ибо именно философия постигает в научной форме вечный прообраз всякой духовной жизни. И вот в ней, и во всякой основанной на ней науке, мы и хвалим теперь то в особенности, что у народа с живым языком она вмешивается в самую жизнь его. Между тем, и в кажущемся противоречии с этим утверждением, нередко говорили – и говорили, в том числе, наши же земляки, – что философия, наука, художество и тому подобное суть самоцели и не служат жизни, и что оценивать их по их полезности на службе этой жизни значит унижать их достоинство. Здесь уместно будет подробнее определить смысл этих выражений и защитить их от всякого неверного толкования. Эти суждения истинны, в следующем двояком, однако ограниченном смысле: верно, во-первых, что наука или искусство, как думали некоторые, не должны стремиться служить жизни на известной низшей ее ступени, например, земной и чувственной жизни, или пошлой назидательности; верно, во-вторых, что человек может, уединившись лично сам от всего духовного мира, совершенно предаться этим частным отраслям всеобщей божественной жизни, не нуждаясь в каком-либо мотиве вне их самих, и находить в них совершенное удовлетворение. Но эти суждения совершенно неверны в строгом смысле, ибо не может быть нескольких самоцелей, точно так же как не может быть нескольких абсолютов. Единственная самоцель, кроме которой не может быть никакой другой, это духовная жизнь. И вот эта духовная жизнь обнаруживается и является отчасти как вечное проистечение из себя самой, как исток, т. е. как вечная деятельность. Эта деятельность вовеки получает себе прообраз от науки, умение оформлять себя согласно этому образу – от искусства, и постольку может показаться, будто наука и искусство существуют как средства для деятельной жизни как цели. Но жизнь в этой форме деятельности сама никогда не бывает завершена и закончена как единство, но продолжается бесконечно. Если жизнь должна все-таки существовать в подобном законченном единстве, то она должна существовать как такое единство в некоторой иной форме. Эта форма есть форма чистой мысли, которую дает описанное в третьей речи религиозное постижение; форма, которая, как законченное единство, пребывает в абсолютном распаде с бесконечностью поступков и в этом последнем – в деянии – никогда не может быть выражена вполне. Поэтому обе – как мысль, так и деятельность, – суть лишь распадающиеся в явлении формы, а по ту сторону явления они, – и одна, и другая, – суть та же единая абсолютная жизнь; и вовсе нельзя сказать, что мысль существует, и именно такова, ради поступков, или же поступки существуют и именно таковы ради мысли, но можно лишь сказать, что и то, и другое безусловно должно быть, ибо жизнь и в явлении так же должна быть законченным целым, как она есть законченное целое и по ту сторону всякого явления. А значит, в пределах этой сферы и вследствие этого рассуждения, сказать, что наука влияет на жизнь – значит сказать еще совсем немного: скорее сама наука есть жизнь, и жизнь в себе самосушая. – Или можно еще соотнести то же самое с одним известным выражением. Что толку во всем вашем знании, – слышим мы порою, – если

человек не действует соответственно ему? В этом высказывании знание рассматривается как средство для действия, а это последнее – как подлинная цель. Можно было бы, напротив, сказать: как же можно хорошо поступать, не зная, в чем состоит добро? А в этом высказывании знание рассматривалось бы как условие действия. Однако оба эти высказывания односторонни; а истина состоит в том, что и то, и другое – как знание, так и действие, – суть одинаково неотъемлемые элементы разумной жизни.

Но самосущей в себе жизнью, как мы только что выразились, наука бывает лишь тогда, когда мысль составляет действительный смысл и помышление (Sinn – Gesinnung) мыслящего, так что он без особенного труда и даже не осознавая этого сам вполне ясно, рассматривает и оценивает все остальное, что он мыслит, – рассматривает и оценивает вследствие этой своей основной мысли, и если мысль эта имеет влияние на поступки, столь же необходимо действует соответственно этой мысли. Но мысль отнюдь не будет жизнью и помышлением, если ее мыслят лишь как мысль чужой жизни, – как бы ясно и полно ни постигали ее при этом, как подобную лишь возможную мысль, и сколь бы кристально ясно мы ни представляли себе при этом в мысли, как кто-нибудь может мыслить подобным образом. В этом последнем случае наше помышленное мышление отделяет от действительного мышления обширное поле случайности и свободы, между тем как осуществить эту последнюю нам, возможно, и не удастся; а потому это помышленное мышление остается на дистанции от нас, остается лишь возможным мышлением, которое мы свободно совершили и теперь всякий раз должны лишь свободно повторять. В первом случае мысль непосредственно сама собою овладела нашей самостью и сделала ее самой собой, и в силу этой возникшей таким образом действительности мысли для нас мы доходим в нашем познании до постижения необходимости этой мысли. А к тому, чтобы это произошло именно так, нас, как сказано выше, не может принудить никакая свобода, но это именно должно само сделаться так, и сама мысль должна овладеть нами и образовать нас по себе.

Этой-то живой действенности мысли немало содействует, и даже (если только мышление совершается с должной глубиной и силой) рождает ее с необходимостью, мышление и обозначение на живом языке. Знаки такого языка сами непосредственно живы и чувственны и, в свою очередь, представляют в себе всю полноту своей жизни, и тем самым овладевают жизнью и вмешиваются в нее; с обладателем такого языка говорит непосредственно дух и открывается ему, как человек – человеку. Знак же мертвого языка непосредственно ничего в нас не вызывает; чтобы войти в живое течение этого языка, нам нужно сперва повторить исторически заученные нами сведения из жизни погибшего мира, и умом своим перенестись в чужой образ мысли. Сколь же безмерна должна быть сила влечения к самостоятельной мысли, чтобы не утомиться в этой пространной и обширной области истории и не довольствоваться в конце концов скромным досугом в пределах этой последней! Если мышление обладателя живого языка не станет само живым, то мы без колебаний можем упрекнуть его в том, что он вовсе не мыслит, а только грезит. Обладателю мертвого языка мы в этом случае не можем сразу же высказать тот же упрек; он, может, и мыслит на свой манер – тщательно развивая понятия, зафиксированные в его языке; он только не сделал того, что, если бы только это удалось, можно было бы принять за настоящее чудо.

Нам становится теперь ясно, между прочим, что у народа с мертвым языком в самом начале, когда язык еще не стал всесторонне ясным, влечение к мышлению будет всего сильнее и произведет самые заметные результаты; но что, по мере того как язык будет становиться все яснее и определеннее, это влечение станет все заметнее умирать в оковах своего языка, и что наконец философия такого народа вполне сознательно удовольствуется тем, чтобы быть лишь пояснением к словарю, или (как это более напыщенно выразил негерманский дух среди нас) метакритикой языка¹⁶; и что, наконец, подобный народ признает посредственное дидактическое стихотворение о лицемерии, облеченное в форму комедии, величайшим из своих философских произведений¹⁷.

Таким образом, говорю я, духовное образование, а здесь, в частности, – мышление на изначальном языке, – не вливается в жизнь, но оно само есть жизнь мыслящего так человека. И все же из этой, так мыслящей, жизни оно необходимо стремится оказать влияние на другую жизнь вне его, а значит – на наличную вне его всеобщую жизнь, и оформить ее по своему подобию. Ибо, именно потому, что это мышление есть жизнь, обладатель его чувствует с глубоким благорасположением его животворящую, просветляющую и освобождающую силу. Но всякий, кому открылся в сердце путь спасения, необходимо желает, чтобы этому спасению были причастны и все другие люди, и это побуждает его и заставляет работать для того, чтобы источник, в котором открылось ему собственное его благоденствие, мог распространиться и на других. Иное дело тот, кто просто постиг чужое мышление как возможное. Как для него самого содержание этого мышления не несет с собою ни радостей, ни горя, но служит лишь приятным занятием и развлечением его досуга, – так же точно он не думает он и не может думать, что оно может доставить радость или горе другому человеку, и для него в конечном счете безразлично, на чем этот другой станет упражнять свое остроумие и чем он наполнит часы своего досуга.

Среди тех средств, с помощью которых мышление, начавшееся в жизни одного человека, можно ввести в жизнь всеобщую, самое замечательное средство – это поэзия; а потому поэзия составляет вторую основную отрасль духовного образования народа. Мыслитель, когда он дает своим мыслям обозначение в языке (а это, согласно вышесказанному, он может делать не иначе как чувственно, и притом через новое созидание за пределами прежней сферы символического), есть уже непосредственно поэт; а если он не будет поэтом, то уже на первой его мысли у него в устах иссякнет язык, а попытайся он помыслить вторую, иссякнет и самое мышление. Провести это начатое мыслителем расширение и дополнение символической сферы языка через всю эту область символов, так чтобы каждый символ получил в своем месте подобающую ему часть нового облагорожения духа, и благодаря этому вся жизнь, до глубочайшего чувственного дна ее, предстала нам освещенной лучом нового света, нравилась нам и в бессознательной иллюзии становилась бы как бы сама собою лучше и благороднее – вот задача настоящей поэзии. Такая поэзия может быть только в живом языке, ибо только в нем творящее мышление может расширить символическую сферу его, и только в нем все уже созданное остается живым и открытым вливающимся потокам жизни, его сестры. Такой язык скрывает в себе способность бесконечной поэзии, которой суждено вечно молодеть и обновляться, ибо всякое движение живой мысли на этом языке открывает новую жилу поэтического вдохновения, и потому эта поэзия становится в нем превосходнейшим средством для того, чтобы достигнутое образование духа переливалось во всеобщую жизнь. На мертвом языке вовсе не может быть

поэзии, в этом высшем смысле слова, ибо в нем отсутствуют все указанные сейчас условия поэзии. В таком языке может какое-то время быть некий заместитель поэзии, а именно вот как: Внимание народа привлекают к себе плоды поэтического искусства, имеющиеся на коренном языке. Правда, вновь возникший народ не может продолжать творить в проторенной колее прежнего языка, ибо этот язык чужд его жизни; но он может ввести свою жизнь и ее новые отношения в символическую и поэтическую сферу, в которой прежний мир выражал свою собственную жизнь, и, например, облачить рыцаря в тогу героя, или наоборот, и заставить богов древности поменяться платьем с новыми богами. Именно благодаря такому непривычному облачению обыденного это обыденное обретет привлекательность, похожую на идеализацию, и возникающие в результате образы будут весьма приятны. Но то и другое – как символическая и поэтическая сфера коренного языка, так и новые жизненные отношения, – суть величины конечные и ограниченные, их взаимное проникновение будет когда-нибудь вполне завершено; но там, где оно завершилось, народ отпразднует свой золотой век, и там иссякнет источник его поэзии. Когда-нибудь, приравнивая законченные слова к законченным понятиям, а законченные символы – к законченным жизненным отношениям, в этом необходимо дойдут до высшего совершенства. А достигнув этой высшей точки, народ сможет, самое большее, или повторять на разные лады свои наиболее удавшиеся шедевры, так чтобы они имели вид чего-то нового, тогда как они – лишь хорошо известное старое, – или же, если поэты пожелают быть совершенно новыми, они прибегнут к неуместному и неприличному, и так же точно смешают в поэзии прекрасное с безобразным, и с усердием возьмутся за сочинение юморесок и карикатур, как они окажутся вынужденными спутать все понятия и смешать добродетель с пороком, если желают говорить в прозе на новый лад.

И когда в народе духовное образование и жизнь развиваются таким образом порознь, каждое своей дорогой, – то само собой получается, что сословия, не имеющие доступа к духовному образованию, и которым даже не считают нужным сообщать последствия этого образования, как то делается в живом народе, оказываются здесь по сравнению с образованными сословиями в пренебрежении, и считаются как бы людьми иной породы, которые изначально и с рождения не равны первым по способностям своего духа; что поэтому образованные сословия ничуть не испытывают любящего участия к ним и не чувствуют влечения сколько-нибудь существенно помочь им, будучи именно убеждены, что этим сословиям, вследствие их изначального неравенства, ничем помочь нельзя, и что образованные скорее чувствуют побуждение лишь к тому, чтобы пользоваться ими, как они есть, и позволять другим использовать их в этом их виде. В начале жизни нового народа и это последствие умертвления им своего языка могут смягчить в нем человеческая религия и недостаток ловкости в самих высших сословиях, но впоследствии это презрение к народу будет все более откровенным и жестоким. С этой общей причиной заносчивости и важничанья в образованном сословии соединилась еще одна частная причина, которую мы не можем обойти здесь нашим вниманием, потому что она оказала весьма широкое влияние даже и на немцев. А именно, римляне, которые поначалу, сравнивая себя с греками и весьма простодушно повторяя за ними, называли самих себя варварами, и собственный свой язык – варварским, перенесли впоследствии это усвоенное себе название на других, и нашли у германцев то же доверчивое прямодушие, которое сами вначале выказывали грекам. Германцы думали, что смогут избавиться от варварства не иначе, как если сами станут римлянами. И вот эти народы, сами пришельцы на прежней римской земле, сделались

римлянами, насколько это было в их силах. Но в их воображении слово «варварский» получило смысловой оттенок «пошлого», «вульгарного», «неуклюжего», а потому «римское», в противоположность ему, сделалось синонимом благородства. Это проникло до самых общих и самых частных свойств их языков, ибо там, где были приняты меры к обдуманному и сознательному образованию языка, там эти меры имели целью – выбросить прочь германские корни и составить слова из корней римских, создав таким образом романтический язык придворного и образованного круга; и, в частности, если два слова в нем имеют одинаковое значение, то, почти без единого исключения, слово германского корня означает нечто неблагородное и дурное, слово же римского корня – нечто более благородное и возвышенное.

Словно какая-то коренная зараза всего германского племени, это же может случиться и с немцем в его отечестве, если возвышенная серьезность духа не послужит ему защитой. И нашим ушам звуки латинской речи нередко кажутся возвышенными, и нашим глазам римские нравы представляются благородными, а немецкие – вульгарными; а раз мы не были настолько счастливы, чтобы получить все это из первых рук, то запросто соглашаемся принять это и из вторых рук, через коммивояжеров из числа новых римлян. Пока мы немцы, мы кажемся сами себе такими же людьми, как другие; когда же мы говорим наполовину или больше чем наполовину на чужом, не немецком, наречии, и носим непохожие нравы и платья, привезенные по-видимому из дальних стран, мы сразу мним себя благородными; но величайшее торжество для нас, это – если нас вовсе уже не считают за немцев, а видят в нас, например, испанцев или англичан, – смотря по тому, кто из них теперь более в моде. И мы правы. Естественность, со стороны немцев, произвольность и деланность, со стороны иностранцев, – таково основное различие; если мы сохраним в себе первую, то именно что будем таковы же, как весь наш народ; народ поймет нас и признает в нас подобных себе; только если мы прибегнем к подражанию последним, мы станем непонятны для него, и он сочтет нас существами иного мира. В жизнь иностранца эта неестественность входит сама собою, потому что он изначально и в главном уклонился от природы; а мы вынуждены сперва отыскивать ее, и еще приучать себя верить, будто прекрасно, уместно и удобно то, что нам естественным порядком таким не кажется. Основная причина всего этого – твердая вера немца в большее благородство романизированной заграницы, а равно и склонность вести себя столь же благородным образом и искусственно создать также и в Германии ту пропасть между высшими сословиями и народом, которая естественно возникла за границей. Здесь достаточно будет указать основной источник этой тяги к подражанию иностранщине среди немцев. Сколь обширно ее распространение, а также и то, что зло, от которого гибнет ныне наш народ, – иностранного происхождения, но что оно должно было повлечь за собою нравственную порчу, только соединившись с немецкой серьезностью и стремлением воздействовать на жизнь своей мыслью, – это мы покажем в другой раз. Кроме двух этих явлений, возникающих вследствие основного различия, – а именно, вмешивается ли духовное образование в развитие жизни или нет, и существует ли преграда между образованными сословиями и народом или нет, – я укажу еще вот какое явление: народ с живым языком обнаруживает прилежание и серьезность и прилагает старания во всех делах, народ же с мертвым языком считает духовное занятие скорее некоторой игрой гениальности, и пассивно предается произволу своей счастливой природы. Это обстоятельство само собою следует из вышесказанного. У народа с живым языком исследование возникает из потребности жизни, которую это исследование должно

удовлетворить, и получает отсюда все понуждающие импульсы, заключающиеся в самой жизни. У народа с мертвым языком это исследование стремится единственно лишь к тому, чтобы приятно и не без пользы для чувства прекрасного провести время, и если оно так и сделает, оно вполне достигнет своей цели. У иностранцев последнее почти необходимо так; у немца же, там где мы встречаем это явление, все настойчивые ссылки на гениальность или счастливую природу суть недостойная немца иностранщина, которая, как всякая иностранщина, появляется от желания выглядеть поважнее. Хотя ни в каком народе на свете без изначального стимула в душе человека, – который, как сверхчувственный, по праву носит иностранное имя гения, – не может возникнуть ничего замечательного. Но этот стимул сам по себе только возбуждает воображение и рисует в нем витающие над землей и никогда не достигающие полной определенности фигуры. Чтобы эти фигуры получили законченность, вплоть до самого основания действительной жизни, и достаточную определенность, чтобы могли быть в этой жизни долговечны, – для этого нужно усердное, тщательное и совершающееся по твердому правилу мышление. Гениальность дает прилежанию материал для обработки, и прилежание без гениальности могло бы обрабатывать или только то, что уже было им прежде обработано, или же ему не над чем было бы трудиться. Но прилежание вводит этот материал, который без него остался бы игрою без содержания, в самую жизнь; и потому лишь сообща они на что-то способны, поодиночке же они ничтожны. А кроме того, у народа с мертвым языком подлинная гениальность решительно не могла бы проявиться, потому что им недостает изначальной способности обозначения, и они могут только развивать уже начатое и вплетать его в совокупность уже имеющихся и законченных обозначений.

Что касается, в частности, большего труда, то вполне естественно, что он достается народу с живым языком. Живой язык может стоять сравнительно с другим языком на более высокой ступени образования, но он никогда не сможет сам по себе получить такую законченность и образованность, которую без труда получает мертвый язык. В последнем словесный объем языка закончен, а многообразие возможных уместных сочетаний этих слов тоже постепенно бывает исчерпано, – так что тому, кто желает говорить на этом языке, приходится именно только говорить на нем, как он есть; а когда он однажды научится этому, язык будет сам говорить в его устах, мыслить и слагать стихи за него. А в живом языке, если только люди действительно живут в нем, слова и их значения непрестанно умножаются и изменяются, и именно благодаря этому оказываются возможны новые сочетания их, и язык, который никогда не есть, но всегда только становится, говорит здесь не сам по себе, но тот, кто хочет пользоваться этим языком, вынужден именно что сам, на свой манер и творчески говорить на нем для своих нужд. Последнее же, без сомнения, требует гораздо большего прилежания и упражнений, чем первое. Так же точно, как мы уже говорили, у народа с живым языком его исследования восходят до самых корней истечения понятий из духовной природы; в мертвом же языке они пытаются лишь проникнуть в смысл чужого понятия, сделать его понятным для себя, и таким образом они в самом деле бывают лишь историческими и истолковательными, а у первого народа они суть подлинно философские исследования. Понятно само собою, что исследование этого последнего рода быстрее и легче может достичь завершения, чем исследование первого рода.

И наконец, гений иностранца усыплет цветами исхоженные военные дороги древности, и соткет изысканно-красивый наряд той житейской мудрости, которая легко сойдет у него за

философию; немецкий же дух станет прокладывать новые шахты, и вносить свет дня в их бездонные пропасти, и ворочать массивные глыбы мысли, из которых будущие века выстроят себе жилища. Гений иностранца будет подобен хорошенькому эльфу, что легко порхает над цветами, которые сами собою пробиваются из почвы, садится на цветы, не обременяя нисколько собою их стеблей, и пьет с них по капле освежающую росу; или пчеле, что деловито и ловко собирает мед с этих цветов и складывает его в правильно построенные ею в красивом порядке соты; а немецкий дух подобен орлу, что мощно поднимает ввысь свое тяжелое тело и сильным взмахом испытанных крыльев рассекает воздух, чтобы подняться еще ближе к солнцу, на которое он так любит смотреть.

Соединим все вышесказанное в одном основном соображении. Применительно к истории образования человеческого рода вообще, который исторически распадается на древность и новый мир, отношение двух описанных нами основных племен к первоначальному формированию этого нового мира будет, в общем и целом, таково. Часть новорожденной нации, оказавшаяся за границами отечества, приняв язык древности, получила благодаря этому гораздо большее сродство с этой древностью. Для этой части нации поначалу станет гораздо легче постичь язык этого древнего народа также и в его первой и неизменной форме, проникнуть в смысл памятников его образованности и внести в эти памятники приблизительно столько живой свежести, чтобы они могли приобщиться к возникшей только что новой жизни. Короче, именно от этих народов начнется в новейшей Европе изучение классической древности. Вдохновляясь все еще нерешенными задачами этой науки, эти народы станут трудиться над их дальнейшим решением, но, разумеется, лишь так, как решают задачу, которую ставит перед нами не потребность жизни, а просто любознательность – относясь к ней легко, постигая ее не всей душой своей, а одним только воображением, и единственно в этом воображении даруя ей легкие черты воздушного тела. При богатстве материала, оставленного нам древностью, при той легкости, с которой можно работать подобным образом над этим материалом, они представят кругозору нового мира великое множество таких образов древности. Эти уже облеченные в новую форму образы древнего мира, явившись среди той части первоначального племени, которая, сохранив природный язык, осталась в непрерывном потоке первоначального образования, привлекут к себе и ее внимание и побудят ее к самостоятельности, – они, которые, останься они в прежней форме, прошли бы, может, мимо нее незамеченными и неслышанными. Но эта часть первоначального племени, если только она действительно постигнет их, а не передаст их только другим из рук в руки, постигнет их соответственно своей природе – не в отвлеченном знании чужого, но как составную часть своей собственной жизни; а потому она не только выведет их из жизни нового мира, но и вновь введет их в эту жизнь, воплощая их, прежде только воздушно-легкие, очертания в плотные тела, которые будут долговечны и устойчивы в стихии действительной жизни.

В этом превращении, которого сама заграница никогда не смогла бы произвести над образом древности, она вновь получит его от этого народа, и лишь благодаря этому процессу станет возможно дальнейшее формирование человеческого рода на путях древности, соединение двух основных его половин и правильное течение человеческого развития в дальнейшем. В этом новом порядке вещей наша родина ничего не будет собственно изобретать; но – и в малейшем, и в величайшем, – она всегда должна будет признаться себе, что ее побудил к тому некий намек иностранцев, иностранцев же к этому в

свою очередь побудили древние; но наше отечество примет всерьез и введет в недра жизни то, что там только бегло, вскользь и шутя набросают. Здесь, как мы уже и говорили, не место доказывать это обстоятельство верными и далеко идущими примерами, и такое доказательство мы оставляем за собою до следующей речи.

Обе части единой нации остаются таким образом едины, и лишь в этом одновременном разделении и единстве они будут привоем на стволе образования в античном духе, которое в противном случае совершенно прервалось бы в новое время, и человечеству пришлось бы снова начинать весь свой путь сначала. И обе части нации должны познать себя – каждая и саму себя, и другую – в этих своих определениях, различных в исходном пункте, но вновь сходящихся у цели, и соответственно им должны пользоваться друг другом; а в особенности они должны смириться с тем, чтобы поддерживать одна другую и хранить в первоначальной чистоте это свое и другой половины своеобразие, если целое должно преуспеть во всестороннем и полноценном образовании. Что же до этого познания, то оно, вероятно, должно исходить из нашего отечества, которому прежде всего даровано чувство духовной глубины. Но если, будучи слепа к подобным отношениям и увлекаясь поверхностной кажимостью, заграница когда-нибудь задастся целью лишить свое отечество самостоятельности и тем самым уничтожить его и воспринять в себя, – то, если бы эта затея удалась, заграница тем самым отрезала бы последнюю жилу, которая еще связывала ее до сих пор с природой и жизнью, и ее постигла бы совершенная духовная смерть, которая и так уже все с большей очевидностью являла себя с течением времени как ее подлинная сущность; а тогда и в самом деле остановился бы, продолжавшийся до сих пор непрерывно, поток образования человеческого рода, и необходимо началось бы опять варварство, и от этого варварства не будет спасения, пока все мы не поселимся вновь в пещерах, подобно диким зверям, и не начнем подобно им пожирать друг друга. Что это действительно так, и что необходимо должно случиться так, – это, конечно, может понять только немец, да только он и должен это понять: иностранцу, которому, коль скоро он не знает чужой образованности, открыто безгранично широкое поле для того, чтобы любоваться собою в своей собственной, это покажется – и необходимо должно казаться – безвкусной бранью непросвещенного невежды.

Заграница – это земля, от которой отделяются и возносятся к облакам плодотворные пары, и через которую прежние боги, сосланные в Тартар¹⁸, еще сохраняют связь с областью живых. Наша родина – окружающее эту землю вечное небо, на котором легкие эти пары сгущаются в облака, и облака эти, отягощенные молнией громовержца, что является к нам из иного мира, ниспадают на землю плодоносным дождем, соединяющим землю и небо, и позволяющим тем дарам, коих родина – небо, прорасти из недр земных. Не собираются ли новые титаны опять штурмовать небо? Оно не будет для них небом, ибо они – земнородные; вид и воздействие неба просто отдалится от них, и у них останется лишь их земля, – холодное, мрачное и бесплодное жительство. Но что может сделать, – как говорит один римский поэт, – что может сделать Тифей, или могучий Мим, или Порфирион в угрожающей позе, или Рет, или бесстрашно несущий вырванные с корнем деревья Энкелад, если столкнутся они с звонким Паллады щитом¹⁹? – Этот самый щит укроет, без сомнения, и нас, если мы сумеем вовремя стать под его защиту.

Примечание к странице [20].

О большем или меньшем благозвучии языка также, по нашему мнению, следовало бы заключать не по непосредственному впечатлению, зависящему от столь многих случайностей, но и подобное суждение должно быть возможно основать на твердых принципах. Заслугу некоторого языка в этом отношении нужно видеть, несомненно, в том, чтобы он, прежде всего, исчерпывал и всесторонне представлял в себе возможности человеческого органа речи, далее, чтобы он соединял между собою отдельные звуки этого органа в естественную и приличную слитность. Уже из этого следует, что те нации, у которых органы речи формируются лишь отчасти или односторонне, и которые под предлогом трудности или неблагозвучия избегают произносить известные звуки или их сочетания, и которым запросто может показаться благозвучным только то, что они привыкли слышать и могут произнести сами, не имеют права голоса в подобном изыскании.

Каково же окажется теперь, при предпосылке этих высших принципов оценки, наше суждение о немецком языке в этом отношении, – этот вопрос мы оставляем здесь без ответа. В самом коренном римском языке каждая новоевропейская нация произносит слова сообразно своему собственному говору и диалекту, и восстановить подлинное произношение древних римлян будет, по-видимому, непросто. А потому остается только один вопрос: действительно ли, в сравнении с новолатинскими языками, немецкий язык звучит столь дурно, резко и грубо, как склонны думать некоторые?

Пока на этот вопрос не найдено основательного ответа, объясним, по крайней мере, предварительно, как это получается, что иностранцам и даже немцам, даже если они судят непредвзято, и лишены всякого пристрастия или ненависти, дело представляется именно так. – Народ еще необразованный, обладающий очень живым воображением, детски-непосредственный в своих чувствованиях и лишенный национального тщеславия (а все эти свойства были, похоже, присущи германцам), чувствует тягу к тому, что вдали, и охотно переносит в неясную даль (в далекие земли и заморские острова) предмет своих желаний и все то прекрасное, что он предчувствует в будущем. В нем развивается романтическое чувство (слово понятно само по себе и едва ли могло быть составлено точнее). Звуки и гласы из этих дальних краев достигают этого чувства и возбуждают весь заключенный в нем мир предчувствуемых чудес, и потому они нравятся.

Поэтому, вероятно, и случается, что наши отправившиеся в дальние края земляки так легко сменили собственный язык на чужой, и что даже до сих пор нам, их весьма далеким родственникам, так чарующе приятны звуки чужой речи.

Шестая речь. Изложение основных черт немцев в истории

Каковы были бы основные различия между народом, неизменно развивающимся в своем первоначальном языке, и народом, усвоившим чужой язык, – это мы разобрали в прошлой речи. При этом случае мы сказали: что касается заграницы, то мы хотим предоставить собственному суждению всякого наблюдателя решение вопроса, действительно ли случились в ней все те явления, которые, по нашему утверждению, должны были там случиться: но что касается немцев, то мы беремся показать, что они действительно проявили себя именно так, как, согласно нашим утверждениям, должен был проявить себя народ изначального языка. Сегодня мы перейдем к исполнению нашего обещания, причем то, что нужно доказать, мы покажем Вам вначале на примере последнего великого и, в известном смысле, законченного всемирного деяния немецкого народа – реформации церкви.

Христианство, происходящее из Азии и ставшее вследствие проникшей в него порчи тем более азиатским²¹, проповедовавшее только бессловесную преданность и слепую веру, уже для римлян было чем-то чужеродным и иностранным. Оно никогда не было по-настоящему постигнуто и усвоено ими, и делило их существо на две несовместимые половины – причем однако прибавление чуждой части облегчалось для них их исконным меланхолическим суеверием. Пришлые германцы были для этой религии такими питомцами, в которых никакое предшествующее образование рассудка не было ей помехой, но и никакое исконное суеверие народа ей не благоприятствовало, и так им передавали эту религию, просто как неперемнную принадлежность римлянина, которым они теперь хотели быть. Она не оказывала на их жизнь особенно сильного влияния. Само собою разумеется, эти христианские воспитатели сообщали этим новообращенным христианам не больше древнеримской образованности и понимания языка, чем то было совместимо с их намерениями; и в этом также заключается одна из причин упадка и умерщвления, который претерпел в их устах римский язык. Когда впоследствии в руки этих народов попали подлинные и неподделанные памятники древней образованности, и тем самым в них зародилось влечение к самостоятельному мышлению и пониманию; то, коль скоро отчасти это влечение было для них свежей новостью, отчасти же ему не был противовесом наследственный страх перед богами, противоречие между слепой верой и странными вещами, ставшими, с течением времени, предметами этой веры, должно было поразить их сильнее, чем даже римлян, в ту пору, когда к ним впервые пришло христианство.

Обнаружение полного противоречия в том, во что до сих пор мы чистосердечно верили, вызывает смех; те, кто отгадал загадку, смеялись и потешались, и сами священники, так же точно ее отгадавшие, смеялись с ними вместе. Защитой им было то, что лишь очень немногим была доступна классическая образованность – средство для снятия чар. Здесь я имею в виду преимущественно Италию, бывшую в ту пору главным жилищем новоримской образованности. Прочие новоримские племена еще весьма отставали от нее во всех отношениях.

Они смеялись над обманом, ибо в них не было ни одного серьезного стремления, которое оскорблялось бы этим обманом; это исключительное обладание необыкновенными знаниями тем вернее делало их благородным и образованным сословием, и они спокойно мирились с тем, что толпа, к которой они были черство безразличны, пребывала и далее жертвой обмана, а потому оставалась послушным орудием и для служения их собственным целям. И вот так это могло продолжаться и впредь: народ обманывали, а благородные сословия пользовались этим обманом и смеялись над ним, – и если бы в истории нового времени не было ничего, кроме новоримлян, так продолжалось бы, вероятно, до скончания века.

Здесь Вы видите ясное подтверждение сказанному прежде о продолжении древней образованности в новой и о том участии, какое способны принимать в этом новоримляне. Новая ясность исходила от древних, она попала сперва в фокус новоримской образованности, она сложилась там лишь в рассудочное познание, не захватывая жизни, не придавая жизни нового вида.

Но прежнее положение вещей не могло уже сохраняться далее, как только этот свет проник в душу, подлинно и всерьез религиозную во всей полноте своей жизни, и если душа эта жила среди народа, которому легко могла сообщить свое более серьезное воззрение на вещи, а народ этот нашел вождей, которые могли что-то дать его решительной потребности. Как бы низко ни пало христианство, в нем всегда остается все же основной элемент, в котором заключена истина, и который наверняка возбудит жизнь, если только это действительная и самостоятельная жизнь; это вопрос: что мы должны делать, чтобы обрести блаженство? Если этот вопрос попадал на мертвую почву, где или вообще склонны были сомневаться в том, можно ли всерьез говорить о возможности какого-то блаженства, или, если бы даже эту возможность допускали, все-таки не имели твердой и решительной воли стать и самому блаженным; то на этой почве религия уже с самого начала не вмешивалась бы в жизнь и волю, но болталась бы только в памяти и воображении бледной и колеблющейся тенью, а потому, естественно, и все дальнейшие попытки прояснить состояние имеющих в народе религиозных понятий должны были так же точно пройти без всякого влияния на жизнь. Но если этот вопрос попадал на почву изначально живую, где всерьез верили, что блаженство есть, и сами имели твердую волю стать блаженными, а для того с искренней верой и честной серьезностью применяли те средства для достижения блаженства, какие указывала прежняя религия: то, если бы на эту почву, которая именно по причине серьезности своей веры долгое время оставалась невосприимчива к свету познания о характере этих средств, упал все же наконец свет этого познания, родился бы страшный ужас при виде того, как людей обманывают в деле спасения их души, и беспокойное стремление сохранить для них вечное блаженство иным способом, и то, что представлялось повергающим в вечную погибель, не могли бы принимать как шутку. Кроме того, человек,

которым впервые завладело бы это воззрение, отнюдь не мог бы довольствоваться тем, чтобы спасти, скажем, только свою собственную душу, оставаясь безразличным ко благу всех прочих бессмертных душ, ибо, согласно его более глубокой религиозности, таким образом он не спас бы даже и собственной души; но с тем же страхом, который он чувствовал за свою душу, он должен был стараться открыть глаза на этот обман, грозящий вечным проклятием, безусловно всем людям на свете.

И вот таким-то образом познание, которое, конечно, с куда большей рассудочной ясностью открывалось задолго до него очень многим иностранцам, упало в душу немца Лютера. Классической и тонкой образованностью, ученостью, другими преимуществами его превосходили не только иностранцы, но даже и многие люди в его собственной нации. Но им завладел всемогущий мотив – страх за вечное спасение душ? – и этот мотив стал жизнью его жизни, и всякий раз именно этот мотив становился последней гирей на весах его решения и сообщал ему силу и дарования, которым удивляются потомки. Пусть другие люди преследовали в реформации мирские цели, – они никогда не победили бы, если бы во главе их не стоял предводитель, которого воодушевляло вечное; и если этот вождь, всегда видевший, что на карту поставлено вечное спасение всех бессмертных душ, спокойно и бесстрашно выступал навстречу всем духам ада, то это совершенно естественно, и в этом нет вовсе никакого чуда. Это только еще одно доказательство немецкой серьезности и присутствия духа.

То, что с этим чисто человеческим делом, о котором каждый должен заботиться только сам, Лютер обратился ко всем людям, и прежде всего к целокупности своей нации, – это, как мы сказали, объяснялось самой сутью дела. Как же его народ воспринял его предложение? Остался ли он в тупом покое, прикованный к земле мирскими делами, и невозмутимо следуя дальше привычным путем, или же необыденное явление столь могучего воодушевления вызвало в нем только смех? Отнюдь нет; но, как бегущий огонь, овладела им та же забота о спасении души, и эта забота вскоре открыла их око совершенной ясности, и они на лету воспринимали то, что он им предлагал. Не было ли это воодушевление лишь минутным парением воображения, которое не могло устоять в жизни, против ее нешуточных битв и опасностей? Отнюдь нет; они отказывали себе во всем и сносили все мучения, и сражались в кровавых войнах, исход которых был неясен, единственно затем, чтобы не подпасть снова власти губительного папства, но чтобы им, и их детям, и детям их детей неизменно светил единоспасающий свет Евангелия; и в них в последние времена повторились вновь все те чудеса, какие христианство явило в своих исповедниках в начале своей истории. Все суждения того времени исполнены этой всепроникающей озабоченности блаженством души. В этом Вы видите подтверждение своеобразия немецкого народа. Воодушевлением его легко можно возвысить к любому воодушевлению и любой ясности, и его воодушевление выдерживает столкновение с жизнью и преобразует ее.

Реформаторы и прежде, и в других странах, воодушевляли толпы народа, собирали их в общины и образовывали их; однако общины эти не были прочны и постоянны, не были утверждены на почве прежнего устройства, потому что вожди народа и князья прежнего устройства не встали на их сторону. Поначалу казалось, что и реформацию Лютера ожидает не лучшая судьба. Мудрый курфюрст, при котором она началась²², был мудрым, казалось бы, скорее в смысле заграничном, нежели в немецком. Казалось бы, он не очень-то понял

тот вопрос, о котором, собственно, идет дело, и не придавал большого значения раздору, как ему представлялось, между двумя монашескими орденами, и озабочен был, самое большее, только хорошей репутацией недавно учрежденного им университета²³. Но у него были наследники, которые, будучи далеко не столь мудры, как он, были охвачены той же серьезной заботой о своем блаженстве, которая жила в их народах, и через это частное тождество слились со своими народами до того, что готовы были жить или умереть, победить или погибнуть с ними вместе.

Здесь Вы видите подтверждение указанному выше основному свойству немцев как целокупности и их утвержденному на самой природе общественному устройству. До сих пор великие национальные и мировые задачи излагали народу добровольно выступающие ораторы, и народ принимал или не принимал их. Если и князья народа поначалу из подражания иностранщине и из жажды такого же, как за границей, блеска и напыщенности, отделялись от своей нации и оставляли или предавали ее, то впоследствии они все-таки легко снова увлекались к согласию с нацией, и проникались милосердием к своим народам. То, что неизменно всегда случалось первое – это мы докажем ниже на других примерах; того же, чтобы непременно происходило последнее, мы можем только горячо и страстно желать.

И вот, хотя мы и должны сознаться, что в охватившем ту эпоху страхе за спасение душ оставалась некая темнота и неясность, ибо дело было не только в том, чтобы заменить внешнего посредника между Богом и человеком, но в том, чтобы не нуждаться ни в каком внешнем посреднике и найти связующую нить в самом себе, – тем не менее религиозному образованию человечества в целом было, вероятно, необходимо пройти через это промежуточное состояние. Самому Лютеру его честное усердие дало еще больше того, что он искал, и вывело его далеко за пределы его системы. Как только он пережил те первые борения и муки совести, которые вызывал в нем его смелый разрыв со всем тем, во что он прежде верил, всякое слово его сочинений исполнено торжества и ликования по поводу достигнутой отныне свободе сынов Божиих, которые уже не ищут блаженства вне себя и за гробом, но сами суть живой всплеск непосредственного чувства этого блаженства. Он стал в этом образцом для всех последующих эпох, и совершил дело за всех нас. – В этом Вы также видите основную черту немецкого духа. Если только он ищет, он находит больше, чем искал; ибо он попадает в поток живой жизни, которая течет сама собою и уносит его с собой.

С папством, – если мы будем рассматривать и оценивать его по его собственному образу мысли, – реформация, тем, как она его трактовала, поступила, без сомнения, несправедливо. Ведь изречения пап были большей частью вслепую вырваны из наличного языка, по-азиатски риторически преувеличены, между тем как они должны означать то, что могли, и рассчитывали при этом, что из их смысла и так уже почерпнут больше, чем подобает по значению слов, – но их никогда не обдумывали, не взвешивали и не подразумевали сколько-нибудь серьезно. Реформация, с немецкой серьезностью, приняла их во всей полноте веса и значения; и она была права в том, что все следует принимать именно так, но неправа, если полагала, что сами папы принимали это таким же образом, и если упрекала эти изречения в чем-то еще, кроме их естественной плоскости и безосновательности. Это вообще неизменно повторяющееся явление во всяком споре

немецкой серьезности с границей, все равно, пребывает ли граница в стране или за ее пределами: Граница понять не может, как можно поднимать так много шума вокруг столь безразличных вещей, как слова и выражения, а иностранцы спешат уверить нас, будто не говорили того, что они все же говорили, и говорят, и всегда говорить будут, как только слышат то же из немецких уст, и жалуются на клевету, которую называют страстью к скоропалительным выводам, если кто-нибудь попытается принять их высказывания в их буквальном смысле и как сказанные всерьез, и рассмотреть эти высказывания как элементы последовательного ряда мысли, в котором можно восстановить его исходные принципы и следующие из него выводы; между тем как при этом он еще, может быть, весьма далек от того, чтобы подозревать у самих иностранцев ясное сознание того, что они говорят, и логическую последовательность мысли. А в просьбе, чтобы всякую вещь принимали так, как ее подразумевал сказавший, а не ставили еще сверх того под сомнение его право иметь мнение и вслух высказывать его другим, всегда обнаруживается иностранщина, как бы глубоко ее ни старались спрятать.

Серьезность, с которой люди принимали старую систему религии, вынудила саму эту систему к большей серьезности мысли, нежели какая была ей свойственна прежде, и к новой проверке, новому толкованию, укреплению основ старого учения, а также к тому, чтобы быть в будущем более осмотрительной в жизни и учении; и это, равно как и нижеследующее, пусть послужит Вам подтверждением того способа, каким Германия всегда оказывала обратное воздействие на остальную Европу. А тем самым старое учение получило, по крайней мере, в общем составе народа ту безвредную действенность, которую оно могло иметь, если уж его не следовало совершенно оставить; в частности же, оно стало для его защитников поводом и призывом к более основательному и последовательному мышлению, чем то, которое встречалось прежде. О том, что улучшенное в Германии учение распространилось и за границей, и произвело там то же самое следствие высокого воодушевления, мы можем умолчать здесь, как о явлении преходящем; хотя все-таки примечательно, что ни в одной из собственно новолатинских стран новое учение не добилось себе признанного государством существования; ибо, кажется, нужна была немецкая основательность правителей и немецкое добродушие народа, чтобы почитать это учение совместимым с верховной властью и сделать его таковым.

Однако в другом отношении Германия оказала своим церковным улучшением всеобщее и устойчивое влияние на иностранные государства, причем не на народ, а на образованные сословия; и этим своим влиянием сама, в свою очередь, подготовила себе в этой загранице предшественника и вдохновителя для нового творчества. К свободному и самостоятельному мышлению, или философии, люди испытывали побуждение и занимались ею уже и в предшествующие столетия, под властью старого учения, но отнюдь не затем, чтобы произвести истину из самих себя, но лишь затем, чтобы показать, что учение церкви истинно, и каким именно образом оно истинно. Вначале философия получила ту же самую задачу в отношении к новому учению и у немецких протестантов, и стала у них служанкою Евангелия, как у схоластов она была служанкою церкви. В загранице, у которой или вовсе не было Евангелия, или же которая не постигла его истины с кристально чистой немецкой молитвенностью и душевной глубиной, свободное мышление, вдохновленное достигнутой блестящей победой, поднялось легче и вознеслось выше, не будучи сковано верой в сверхчувственное; но оно осталось в чувственном плену веры в естественный рассудок,

выросший без всякого содействия нравов и образования; и за граница не только не сумела открыть в разуме источник на самой себе основанной истины, но приговор этого грубого рассудка стал для нее тем, чем была для схоластов церковь, и чем для первых протестантских богословов было Евангелие; в истине этого приговора не возникало никаких сомнений, и вопрос заключался только в том, как можно отстоять эту истину от оспаривающих ее притязаний.

Коль скоро же это мышление совершенно не вступало в область разума, возражения которого были бы более значительны, оно не находило себе иного противника, кроме исторически наличной религии, и оно легко разделялось с нею, прилагая к ней мерку своего гипотетического здравого смысла и со всей ясностью обнаруживая при этом, что подобному здравому смыслу она именно что противоречит. И так получилось, что, как только все это вполне и окончательно выяснилось, за границей имя философа и имя невера и атеиста стали однозначительны, и служили одинаково почетным отличием.

Попытка совершенно возвыситься над всякой верой в чужой авторитет – а это то, что было верного в этих устремлениях за границы, – стала новым источником вдохновения для немцев, от которых, через посредство церковного улучшения, эта попытка впервые и началась. Хотя второстепенные и несамостоятельные умы среди нас попросту повторяли это учение за границы – предпочитая, кажется, это заграничное учение столь же легко доступному учению своих земляков потому, что первое воображалось им более благородным – и эти умы пытались, насколько им было возможно, убедить сами себя в его истине; но где пробуждался самостоятельный немецкий дух, там чувственного ему было уже недостаточно, и там возникала задача: искать сверхчувственное (в которое, впрочем, не следует слепо верить, полагаясь на чужой авторитет) в самом разуме, и только таким образом впервые создать подлинную философию, сделав свободное мышление, как и должно, источником независимой истины. К этому стремился Лейбниц²⁴, в борьбе с упомянутой заграничной философией; этого достиг подлинный основатель новой немецкой философии²⁵, признаваясь, впрочем, что побудило его к тому одно высказывание заграничного ума, которое он между тем понял глубже, чем имел в виду его автор²⁶. С тех пор задача эта у нас вполне решена и философия совершенно закончена, правда, нам приходится удовольствоваться признанием этого, пока не настанет эпоха, которая это постигнет. Предположим, что это случилось: тогда снова, по указаниям древности, прошедшей призму новоримского заграничного ума, совершится на нашей немецкой родине творчество нового, прежде решительно небывалого.

На глазах всех современников за граница легко и с пылкой храбростью взялась за решение другой задачи, которую разум и философия полагают для нового мира, – создание совершенного государства, – и вскоре затем столь решительно оставила эту задачу, что нынешнее состояние за границы вынуждает ее проклинать как преступление даже мысль о подобной задаче, и что она должна была приложить все силы к тому, чтобы, если возможно, вычеркнуть эти попытки из анналов своей истории. Причина того, почему так случилось, очевидна всем: разумное государство невозможно построить искусственными мерами из любого налично данного материала, нацию нужно сначала образовать и воспитать до такого государства. Только та нация, которая решит сначала, действительным делом, задачу воспитания совершенного человека, решит затем и задачу создания совершенного

государства.

Задачу этого последнего воспитания, со времени нашего церковного улучшения, заграница тоже много раз пыталась решать весьма остроумно, однако в смысле своей философии, и эти усилия поначалу находили себе у нас продолжателей и преувеличителей. Как далеко развила это дело одна опять-таки чисто немецкая душа – об этом мы сообщим Вам в свое время подробнее.

В сказанном мы представили Вам ясное обозрение всей истории образования нового мира, и всегда тождественного себе отношения различных элементов этого нового мира к этой истории. Подлинная религия в форме христианства была зачатком нового мира, и совокупной задачей его было – вплести эту религию в наличную образованность древности, и тем самым одухотворить и освятить эту древность. Первый шаг на этом пути состоял в том, чтобы отделить лишаящий свободы внешний авторитет формы этой религии от самой религии, и ввести также и в религиозную область свободное мышление древности. К этому шагу побудила заграница, а сделал его немец. Второй шаг, который есть, собственно, продолжение и завершение первого, был тот, чтобы найти эту религию, а с нею и всяческую мудрость, в нас самих, – этот шаг также подготовила заграница, а осуществил его немец. Следующий шаг, который стоит сегодня на повестке дня в вечном времени духа – это совершенное человеческое воспитание нации. Без этого полученная нами философия никогда не станет широко доступной и понятной, и тем более не найдет себе общего применения в жизни; как, в свою очередь, и искусство воспитания без философии никогда не достигнет в себе самом полной ясности. Поэтому оба они, философия и искусство воспитания, тесно связаны друг с другом, и одно без другого неполно и бесполезно. Уже только потому одному, что до сих пор немец завершал все шаги образованности и для того собственно и сохранился в составе нового мира, ему подобает сделать то же и в отношении воспитания; но когда удастся привести в порядок воспитание, легко будет упорядочить и все прочие дела человеческие.

В таком отношении, следовательно, находилась до сих пор немецкая нация к образованию человеческого рода в новое время. Нам следует еще яснее высказаться об одном, уже дважды мимоходом сделанном нами замечании относительно естественного порядка, которому следовала при этом наша нация, а именно, что в Германии всякое образование исходило от народа. Что дело церковного улучшения было вначале изложено народу, и удалось единственно потому, что стало делом народа, – это мы уже видели. Однако нужно теперь доказать, что этот частный случай был не исключением, но именно правилом.

Оставшиеся на родине немцы сохранили в себе все те добродетели, которые обитали прежде на их земле: верность, порядочность, честь, простодушие; но образованности для высшей и духовной жизни они получили не больше, чем могли сообщить рассеянно живущим людям тогдашнее христианство и его учителя. Это было немного, и потому они отставали от своих ушедших в дальние страны соплеменников, и хотя были в самом деле храбрыми и порядочными, были все-таки наполовину варварами. Между тем среди них возникли города, построенные отдельными членами народа. В этих городах скоро достигли прекраснейшего расцвета все отрасли образованной жизни. В них возникли, пусть и рассчитанные на малые общества, но все-таки превосходные гражданские устройства и

учреждения, и только из них образ порядка и любовь к порядку распространился по всей остальной стране. Их обширная торговля помогала открытию мира. Их союз был страшен для королей. Памятники их зодчества еще сохраняются у нас, презрев вековые разрушения, их потомство стоит перед ними в изумлении и сознается в собственном бессилии.

Я не стану сравнивать этих граждан немецких имперских городов средневековья с другими современными им сословиями, и не стану задавать вопроса, что делали между тем дворянство и князья. Однако сравнительно с прочими германскими нациями, – не считая некоторых уголков Италии, от которых между тем немцы не отставали даже и в изящных искусствах, а в полезных искусствах превзошли их и стали их наставниками, – не считая этих областей, говорю я, немецкие горожане были образованными, а прочие нации были варварами. История Германии – немецкой силы, немецких предприятий, изобретений, памятников, немецкого духа, – является перед нами в этот период времени исключительно только историей этих городов, и все прочее (как то аренда и обратный выкуп земель и тому подобное) не стоит даже упоминания. Этот момент был также единственным моментом в немецкой истории, когда эта нация жила в блеске и славе и в том достоинстве, которое подобает ей как изначальному народу. Когда корыстолюбие и властолюбие князей разрушило ее процветание и растоптало ее свободу, вся страна постепенно приходит во все больший упадок, и приближается к своему теперешнему состоянию. Но с упадком Германии мы наблюдаем такой же точно упадок в остальной Европе – в том, что касается существенного, а не одной только внешней видимости. Решающее влияние этого подлинно господствующего сословия на развитие имперского устройства Германии, на церковное улучшение и на все, что когда-либо обозначало немецкую нацию и что переходило от нее за границу, со всей очевидностью заметно повсюду, и можно доказать, что в его среде возникло все то, что еще и сегодня есть достойного среди немцев.

В каком же духе созидало это немецкое сословие этот расцвет и пользовалось им? В духе благочестия, пристойности, скромности, общественности. Для самих себя им было нужно немного, но для общественного дела они несли огромные расходы. Редко-редко где-нибудь стоит и выделяется отдельное имя, потому что все думали одинаково и одинаково жертвовали собою для общества. Совершенно при тех же внешних условиях, что и в Германии, возникли свободные города в Италии. Сравните их историю здесь и там; сопоставьте непрерывные мятежи, внутренний раздор, и даже войны, постоянную смену устройств и правителей в последних с мирным покоем и единодушием в первых. Можно ли выразить яснее, что должно существовать некое внутреннее различие в духе двух этих наций? Немецкая нация – единственная из новоевропейских наций, доказавшая делом в своем гражданском сословии, вот уже в течение нескольких веков, что она способна выносить республиканское устройство.

Среди частных и особенных средств для того, чтобы вновь поднять немецкий дух, было бы весьма сильным средством, если бы мы имели воодушевляющую историю немцев этого периода, которая стала бы в таком случае национальной и народной книгой, подобно Библии или книге церковных песнопений, пока мы сами не произвели бы на свет нечто достойное пера историка. Но только подобная история должна была бы не исчислять просто, на манер хроники, деяния и события, но должна была бы, удивительно волнуя нас и незаметно и неосознанно для нас самих, перенести нас в самую гущу жизни этого времени,

так чтобы нам казалось, будто мы сами ходим, стоим, решаем и действуем с этими людьми, и добиться этого она должна не детскими и игривыми вымыслами, как делали столь многие исторические романы, но силою истины. Она должна показывать нам, как из жизни этих людей распускается цвет исторических деяний и событий, как подтверждений этой жизни. Подобное сочинение могло бы быть, правда, лишь плодом обширных познаний и изысканий, которых, может быть, никто еще никогда не производил, но автор должен избавить нас от демонстрации всех этих познаний и изысканий и представить нам лишь их плод на нашем современном языке, так чтобы он был понятен всякому немцу без исключения. Кроме этих исторических сведений, для подобного сочинения потребуется еще и значительный философский дух, который так же точно не выставлял бы себя на всеобщее обозрение; а прежде всего, потребуется верная и любящая душа.

То время было отроческой мечтой нации в ограниченном кругу о будущих деяниях, битвах и победах; и прорицанием о том, чем она будет некогда, исполнившись силы.

Соблазнительное общество и приманки тщеславия увлекли ее, подрастающую, в сферы, ей чуждые. Пожелав блистать и там, она стоит теперь, покрытая позором, и борется за самое свое выживание. Но действительно ли состарилась она и обессилела? Не бил ли для нее с тех пор, и всегда, и до этого дня, как ни для какой другой нации, источник изначальной жизни? Возможно ли, чтобы прорицания ее отроческих дней, подтверждаемые свойствами остальных наций и планом образования всего человечества, – возможно ли, чтобы они остались неисполненными? Отнюдь нет. Только верните сперва эту нацию с избранного ею ложного направления, покажите ей в зеркале ее отроческих мечтаний ее истинную наклонность и истинное предназначение, пока это созерцание не придаст ей силу для того, чтобы в могучем порыве принять это свое предназначение. Пусть и этот призыв хоть несколько послужит тому, чтобы в скором времени немецкий муж, наделенный нужными для того способностями, решил эту предварительную задачу!

Седьмая речь. Еще более глубокое постижение изначальности и немецкости народа

В прошлой речи мы указали – и доказали исторически – основные черты немцев, как изначального народа и такого народа, который имеет право называться просто народом, в противоположность другим, оторвавшимся от него племенам, – а ведь слово «немец» (Deutsch), в своем подлинном значении, как раз и означает только что сказанное. Целесообразно будет еще на час задержаться на этом предмете, и дать ответ на возможное возражение тех, кто скажет нам, что, если в этом заключается немецкое своеобразие, то нужно будет признать, что в настоящее время среди самих немцев осталось довольно мало немецкого. Поскольку же и мы отнюдь не могли бы отрицать этого явления, но намерены, скорее, признать его и обозреть его во всех его отдельных частях, мы начнем сегодня с того, что объясним его.

Отношение изначального народа нового мира к продолжающемуся образованию этого мира было, в целом, таково, что неполные и остающиеся на поверхности вещей усилия за границы побуждали этот народ к более глубоким созданиям, которые он должен был развить из своей собственной среды. Поскольку от побуждения до творения, несомненно, проходит известное время, то ясно, что от такого отношения возникнут периоды времени, в которые изначальный народ почти совершенно сливается с заграницей и должен представляться подобным ей, именно потому, что он пребывает в состоянии простой побужденности, а предполагаемое в побуждении новое творчество еще не проявилось в мире. В таком-то периоде времени находится именно сейчас Германия, в огромном большинстве своих образованных жителей, и от этого происходят явления иностранщины, пронизывающие все внутреннее существо, всю жизнь этого большинства. Философия, как свободное мышление, избавившееся от всяких оков веры в чужой авторитет, – вот чем, как мы видели в прошлой речи, за граница побуждает ныне свою родину. Там же, где от этого побуждения не произошло нового творения, которое, поскольку для огромного большинства это побуждение осталось незамеченным, происходит у крайне немногих людей: там отчасти эта, уже описанная нами прежде, заграничная философия принимает все новые и новые формы, отчасти дух ее овладевает и другими, прежде всего граничащими с философией, науками, и рассматривает эти науки со своей точки зрения; и наконец, поскольку ведь

немец никогда не может оставить своей серьезности и своего стремления непосредственно вмешиваться в жизнь, эта философия оказывает влияние на образ жизни общества и на общественные принципы и правила. Докажем это по порядку.

Во-первых, и прежде всего: человек образует себе то или иное научное воззрение не свободно и не по произволу, – его жизнь образует в нем это воззрение, и оно есть, собственно говоря, сам превратившийся в созерцание внутренних и ему впрочем неизвестный корень его жизни. То, что ты есть поистине в твоём внутреннем существе, всегда явно предстанет твоему внешнему глазу, и ты никогда не сможешь видеть что-либо иное. Если бы ты видел иначе, тебе пришлось бы сначала стать иным. Внутреннее же существо за границы или неизначальности составляет вера в нечто последнее, прочное, неизменно наличное, в границу, по эту сторону которой хотя и играет свободная жизнь, но которую саму перейти, растворить ее собою и слиться с нею эта жизнь никогда не сможет. А потому эта непроницаемая граница когда-нибудь непременно предстает ее глазам, и она может мыслить или верить не иначе, как предполагая подобную границу. Допустить иное значило бы совершенно преобразить все внутреннее ее существо и вырвать сердце из груди ее. Она необходимо верит в смерть, как первоначальное и последнее, как основной исток всех вещей, а с ними – и жизни.

Здесь нам следует прежде всего указать, как выражается в наше время среди немцев эта заграничная вера.

Она выражается, во-первых, в собственно так называемой философии. Нынешняя немецкая философия, насколько таковая заслуживает здесь упоминания, желает основательности и научной формы, несмотря на то что не способна достичь ни того, ни другого, она желает единства, – и в этом ей тоже послужила предшественницей за граница, – она желает познания реальности и сущности – не простого явления, но являющейся в явлении основы этого явления, и во всех этих желаниях она права и далеко превосходит господствующие философские системы нынешней внешней за границы, будучи в подражании заграничному намного основательнее и последовательнее этой за границы. Эта основа, которую нужно усматривать за всеми явлениями, есть для этих философов (даже если они дают ей еще менее удачные дальнейшие определения) всегда некое прочное бытие, которое есть то, что оно именно есть, и ничто более, сковано в себе самом и привязано к своей собственной сущности; и так смерть и удаление от изначальности, которые в них самих, явно предстают их глазам. Поскольку сами они неспособны возвыситься до жизни вообще, жизни из себя самой, но всегда нуждаются для свободного полета в некотором носителе и опоре, поэтому и в своем мышлении, как отображении их жизни, они не могут выйти за предел этого носителя: что не есть нечто, то для них есть с необходимостью ничто, потому что между этим вросшим в себя бытием и ничто их глаз ничего более не видит, потому что в их жизни там ничего более не имеется. Их чувство, на которое только они и могут сослаться, кажется им безошибочным: и если кто-нибудь не признает такого носителя, то они не только не умеют допустить, что он довольствуется одной только жизнью, но полагают, что он просто недостаточно остроумен, чтобы заметить носителя, который, без сомнения, носит и его самого, и что он лишен способности воспарить до их собственных высоких воззрений. Поучать их поэтому напрасно и невозможно; их нужно бы было сделать, и сделать иными, если бы мы только могли. В этой своей части нынешняя немецкая философия – не немецкая,

но подражание за границе.

Истинная же философия, дошедшая в самой себе до конца и поистине проникшая за грань явления к его внутреннему ядру, исходит из единой, чистой, божественной жизни, – как жизни вообще, которой она и остается вовеки, и в том всегда остается единой, – а вовсе не из той или иной жизни. Она видит, что эта жизнь только в явлении снова и снова бесконечно замыкается в себе и опять открывается, и только вследствие этого закона возникает вообще некоторое бытие и некоторое нечто. Для нее возникает то бытие, которое философия первого рода принимает как заранее данное. А потому только эта философия есть в подлинном смысле немецкая, т. е. изначальная философия; и напротив: если бы кто-нибудь стал настоящим немцем, он не мог бы философствовать иначе как именно таким образом.

Эта система мысли, хотя и господствующая у большинства философствующих по-немецки, однако не являющаяся собственно немецкой, вторгается, – все равно, утверждают ли ее сознательно как собственно философскую систему, или она только неосознанно лежит в основании всего прочего нашего мышления, – она вторгается, говорю я, во все прочие научные воззрения нашего времени; и в самом деле, основное стремление нашего, вдохновляемого границей, времени в том именно и состоит, чтобы уже не просто охватывать научный материал в памяти, как делали наши предки, но обрабатывать его самостоятельной и философствующей мыслью. Что касается самого этого стремления, в нем наше время право; но если, как и следует ожидать, приступая к этому философствованию, оно станет исходить из мертвоверной заграничной философии, оно будет неправо. Мы здесь бросим взгляд только на те науки, которые ближе всего находятся к совокупному нашему замыслу, чтобы отыскать распространенные в них иностранные понятия и воззрения.

В убеждении, которое рассматривает учреждение государств и правление государствами как свободное искусство, имеющее твердые правила, – в этом убеждении, без сомнения, граница – сама последовавшая образцам древности, – послужила нам предшественницей. В чем же подобная граница, которой уже в самой стихии ее мысли и воли – в ее языке – дан прочный, законченный и мертвый носитель, и в чем все, кто ей в этом последует, будут усматривать это государственное искусство? Несомненно, в искусстве находить столь же прочный и мертвый порядок вещей, из которой смерти долженствует теперь возникнуть живое движение общества, и возникнуть таким, каким его задумало это искусство; в искусстве сопрягать все живое в обществе в большой и искусственный механизм как бы печатного станка, в котором каждый индивид постоянно воздействием целого понуждается служить этому целому; в искусстве решать арифметическую задачу сложения конечных и определенных величин в реальную сумму, предполагая, что каждый желает своего блага, и с целью, именно благодаря этому, заставить каждого против его воли и стремления содействовать общему благу. Граница во множестве форм выражала это воззрение, и представила нам шедевры этой общественной механики; наша родина восприняла это учение и подвергла дальнейшей обработке применение этого учения к созданию общественных машин, будучи и в этом, как всегда, обстоятельнее, глубже, истиннее, и далеко превосходя свои образцы. Если прежний ход общественных дел застопорится, то эти знатоки государственного искусства не умеют объяснить себе этого иначе как тем, что, вероятно, в механизме износилось одно из колес, и для спасения дела не знают иного средства, кроме того, чтобы вынуть из машины поврежденные колеса и заменить их

новыми. Чем более закоренеет человек в этом механическом воззрении на общество, тем большую он обнаруживает сноровку в упрощении этого механизма, стараясь сделать все части машины возможно более равными друг другу, и трактуя все части как однородный материал, – тем большим знатоком государственного искусства он слывет, и слывет, в наше время, по праву; ибо от колеблющихся в нерешительности, и неспособных усвоить себе никакое твердое воззрение, вреда бывает еще того более.

Это воззрение на государственное искусство, своей стальной последовательностью и присущим ему возвышенным видом, вызывает к себе уважение; и до известной точки, особенно там, где все жаждет монархического и все более чистого монархического устройства, оно может сослужить хорошую услугу. Но как только мы достигнем этой точки, нам станет очевидно бессилие этого воззрения. В самом деле, допустим, что вы вполне придали вашей машине задуманное вами совершенство, и что всякое нижнее звено в ней непременно и неодолимо принуждается к действию высшим, принужденным к принуждению, звеном, и так далее до самой вершины. Что же принуждает последнее звено вашей машины, от которого исходит все имеющееся в этой машине принуждение, к этому самому принуждению? Вам поневоле придется устранить всякое сопротивление, которое могло бы возникнуть из трения веществ об эту последнюю пружину механизма, и придать ей такую силу, против которой всякая иная сила будет ничтожно мала, а только этого вы и можете добиться вашим механизмом, и вам придется, стало быть, создать самое могущественное из монархических устройств; но чем же вы станете приводить в движение саму эту пружину общества и принуждать ее всегда и без исключения видеть и желать только правду? Как же внесете вы в ваш, пусть верно рассчитанный и плотно сложенный, но неподвижный механизм вечно движущееся начало жизни? Не сама ли эта машина в целом, как вы порой в смущении говорите, окажет обратное воздействие и побудит тем к жизни первую пружину? Это может совершиться или такой силой, которая сама происходит из исходящего от пружины побуждения, или же такой силой, которая не происходит из этого побуждения, но имеется в самом целом независимо от пружины; третьего не может быть. Если вы предположите первое, то окажетесь в логическом кругу, уничтожающем всякое мышление и всякий механизм: машина в целом может принудить пружину лишь постольку, поскольку сама пружина принуждает ее принуждать себя, а значит, поскольку пружина эта, хотя и косвенно, принуждает сама себя; если же она не принуждает сама себя, – а именно этот недостаток вы и желали исправить, то не произойдет вообще никакого движения. Если же вы допустите второе, то признаете, что начало всякого движения в вашей машине исходит от силы, совершенно не входившей в ваш расчет и устройство и никоим образом не связанной механизмом, которая, без сомнения, действует, как умеет, без всякого вашего содействия, по своим собственным, неизвестным вам законам. В любом из этих случаев вам придется признать собственное свое искусство лишь дилетантством и бессильным хвастовством.

Это и в самом деле чувствовали, и хотели, в этой системе, которая, полагаясь на свое механическое принуждение, может не опасаться всех прочих граждан, воспитать по крайней мере князя, от которого исходит всякое общественное движение, посредством всевозможных добрых наставлений и поучений. Но как же мы можем удостовериться, что нам попадет характер, вообще способный усвоить уроки княжеского воспитания? Или, если даже мы будем настолько счастливы, что этот воспитанник, заставить которого никто

не вправе, будет склонен и столь любезен, по собственной воле подчиниться дисциплине воспитателя?

Подобное воззрение на государственное искусство, находим ли мы его на иностранной или на немецкой почве, всегда есть иностранщина. Здесь следует однако заметить, к чести немецкой души и немецкой крови, что какими бы хорошими мастерами мы ни были в науке этого расчета принуждений, однако, если дело доходило до приложения к жизни, смутное чувство, что так не должно быть, очень и очень сдерживало наше старание, и по этой части мы отстали от заграницы. Если даже мы окажемся принуждены принять, как приготовленное для нас благодеяние, чуждые формы и законы, то нам, по крайней мере, не следует при этом сверх меры стыдиться, как будто наш острый ум неспособен одолеть и эти высоты законодательства. Поскольку же мы и в этом не отстанем ни от какой иной нации, если только сами станем направлять это дело, то пусть всю жизнь наше чувство говорит нам, что и это еще не есть наша настоящая правда, и потому пусть лучше мы пожелаем оставить в неизменности прежнее, пока не явится к нам совершенное, вместо того чтобы просто-напросто сменить прежнюю моду на новую, столь же преходящую.

Иное дело – подлинно немецкое государственное искусство. Оно тоже желает добиться прочности, надежности и независимости от слепой и непостоянной природы, и в этом совершенно согласно с заграницей. Только оно не желает создать, подобно первой, прочную и заведомо известную вещь, как первое звено, которое только и удостоверяет для нас будто бы дух, как второе звено, но с самого же начала, и как первейшее и единственное звено, оно желает полагать этот прочный и достоверный дух. Этот дух есть для него вечно движущаяся и из себя самой живая пружина, которая ныне и вовек упорядочивает и приводит в движение жизнь общества. Оно понимает, что создать этот дух могут не обвинительные тирады к уже потерянным для него и опустившимся взрослым, но только воспитание еще неиспорченного юношества; причем с этим воспитанием оно желает обратиться не к крутой вершине общества – князю, как то делает заграница, оно обращается с ним к обширной плоскости общества, ко всей нации, ибо ведь совокупность нации включает в себя, без сомнения, также и князя. Так же, как государство есть, в своих взрослых гражданах, продолжение воспитания человеческого рода, так же, полагает это государственное искусство, воспитание должно сделать самих будущих граждан восприимчивыми к этому высшему воспитанию. Тем самым это немецкое и новейшее государственное искусство становится, в свою очередь, наидревнейшим; ибо и государственное искусство греков желало основать гражданское достоинство на воспитании, и образовывало граждан, каких уже не видали следующие эпохи человечества. По форме то же самое, по содержанию же – не в мелочном и исключительном, но в общем и космополитическом духе, будет делать отныне и немец. Тот же самый дух заграницы господствует у огромного большинства наших соотечественников также и в их воззрении на совокупную жизнь человеческого рода и на историю как образ этой жизни. Нация, у которой основа ее языка мертва и закончена, может, как мы показали это в одной из прошлых речей, достичь во всех словесных искусствах только известной ступени совершенства образования, которую допускает для нее эта основа; и достигнув этой ступени, она переживет свой золотой век. Такая нация, если не свойственна ей величайшая скромность и самоотверженность, едва ли могла бы допустить более возвышенную мысль и обо всем человеческом роде, чем какой она знает сама себя; поэтому она необходимо должна

предположить, что и для образования рода человеческого явится впоследствии некая последняя, высшая и непревосходимая цель. Так же, как животное племя бобров или пчел и сегодня строит свои дома так же точно, как строило тысячелетия назад, и за это долгое время нимало не продвинулось вперед в строительном искусстве, так же точно, по ее мнению, будет обстоять дело и с животным племенем по имени «человек», во всех отраслях его образования. Эти отрасли, влечения и способности можно будет исчерпывающим образом охватить мыслью, и даже, может быть, в одном-двух членах даже представить взгляду с полной наглядностью, и можно будет, как предполагают, указать для каждой из отраслей и способностей высшую ступень развития. Быть может, человеческому роду это удастся даже намного хуже, чем племени бобров или пчел, оттого что последнее, хотя и не научается ничему новому, однако искусство его и не убывает, человека же, если даже достигнет однажды вершины, посторонняя сила вновь отбрасывает назад, и тогда он может веками или тысячелетиями пытаться вернуться вновь в ту точку, где лучше было бы оставить его с самого же начала. И подобных точек зенита в своем образовании, подобного золотого века человеческий род, по мнению этих людей, без сомнения, уже достигал; отыскать эти точки в его истории, и оценить по мерке их все усилия человечества и возратить человечество к этим точкам зенита – таково будет их самое усердное желание. История, по их мнению, давно уже готова и закончена, и бывала закончена уже неоднократно; по их мнению, нет ничего нового под солнцем, ибо они истребили, и под солнцем, и над солнцем, источник вечной жизни, и допускают только повторение и многократное полагание вечно возвращающейся смерти.

Известно, что эта философия истории перешла к нам из заграницы, хотя в настоящее время и за границей слава ее совершенно угасла, и она превратилась в почти исключительное достояние немцев. А из этого глубокого сродства ее с заграницей следует также, что эта наша философия истории может столь всецело понимать устремления заграницы (которая, даже если не высказывает уже столь часто, как прежде, это воззрение на историю, делает еще более того, ибо действует согласно ему и вновь готовит наступление золотого века) и даже пророчески предуказывать им дальнейший путь, и взирать на них со столь искренним восхищением, каким не может похвалиться человек, мыслящий по-немецки. Да и как же он мог бы восхищаться ими? Золотой век, в каком бы то ни было отношении, есть для него признак ограниченности и мертвенности. Пусть золото, думает он, самое благородное, что скрывается в недрах умершей земли, но вещество живого духа пребывает выше солнца, выше всех солнц, и именно в нем их источник. История, а с ней и человеческий род, развивается для него не по таинственному и чудесному закону круговорота, он полагает, что настоящий и справедливый человек делает ее сам, не просто повторяя нечто уже бывшее прежде, но творя во времени нечто совершенно новое. Поэтому он никогда не ожидает простого повторения, а если оно все же случится, слово в слово так, как написано в древней книге, он, по крайней мере, не испытывает восхищения.

Подобным же образом мертвящий дух заграницы неосознанно для нас самих распространяется на все прочие наши научные воззрения, о которых здесь будет, вероятно, достаточно напомнить приведенные мною выше примеры; причем это происходит так потому, что мы именно теперь перерабатываем на свой лад побуждения, которые получили прежде от заграницы, и проходим подобное промежуточное состояние. Я привел эти примеры, потому что этого требовало существо дела; между прочим, также и для того,

чтобы никто не думал, будто может оспаривать мои утверждения, делая умозаключения из указанных мною принципов. Эти принципы не только не остались нам неизвестны, и мы не только способны возвыситься умом до высоты этих принципов, но мы довольно неплохо их знаем и, будь у нас только в избытке времени, мы могли бы, может быть, развить во всей последовательности и предпосылки, и следствия из этих принципов; но мы только с самого же начала отбрасываем их прочь, а с ними и все, что из них следует, а этого в нашем традиционном способе мышления гораздо больше, чем могло бы показаться на поверхностный взгляд.

И как на наши научные воззрения, так же точно дух заграницы влияет и на нашу обыденную жизнь и ее правила; но чтобы это стало Вам ясно, а предшествующее – еще яснее, необходимо сперва обратить более пристальный взгляд на сущность изначальной жизни, или свободы.

Свобода, понимаемая в смысле нерешительного колебания между несколькими равными возможностями, не есть жизнь, но лишь преддверие и подступ к действительной жизни. Из этого колебания нужно ведь однажды перейти к решению и действию, и только тогда начинается собственно жизнь.

Между тем непосредственно и на первый взгляд каждое волевое решение кажется нам первым, а отнюдь не вторым и не следствием из этого первого, как основания, кажется существующим абсолютно из самого себя и существующим так, как оно существует; именно это, единственно возможное разумное значение слова свобода мы хотели бы здесь утвердить. Но, что касается содержания подобного волевого решения, возможны два случая: а именно, либо в нем является только явление, отдельно от сущности, и сущность никоим образом не вступает в это его явление, – или же сама сущность вступает, являясь, в это явление волевого решения; причем здесь сразу же следует заметить, что сущность может стать явлением только в волевом решении, и решительно ни в чем ином, хотя, напротив, возможны такие волевые решения, в которых проступает отнюдь не сущность, но одно лишь явление. Мы обратимся вначале к первому случаю. Когда мы отделяем чистое явление, просто как таковое, от сущности, и противопоставляем его сущности, то этим самым, а также тем, что явление само также способно являться и представлять себя, это явление необратимо определено, и потому оно необходимо именно таково, каково оно есть и каким оказывается. Если поэтому, как мы здесь предполагаем, какое-нибудь волевое решение есть в своем содержании только явление, то оно постольку в самом деле не свободно, не есть первое и изначальное решение, но необходимо и есть второе звено, возникающее таким, каково оно есть, из более высокого первого звена – закона явления вообще. Поскольку же, как мы уже неоднократно напоминали Вам также и в этих речах, мышление человека представляет его самому себе таким, каков он и есть действительно, и всегда остается верным отпечатком и зеркалом его души: то подобное волевое решение, хотя на первый взгляд, коль скоро уж это волевое решение, оно представляется нам свободным, не может, однако, представляться таким повторному и более глубокому мышлению, но должно мыслиться в этом последнем как необходимое, каково оно ведь и есть действительно и в самом деле. Для таких людей, воля которых еще не возвысилась в более высокую сферу, нежели та, в которой представляется, что воля в них всего лишь является, вера в свободу воли есть, разумеется, иллюзия и обман непостоянного и задерживающегося на

поверхности вещей созерцания. Истина для них заключается только в мышлении, которое обнаруживает перед ними повсюду лишь оковы строгой необходимости.

Первый основной закон явления, абсолютно как такового (основу этого закона мы здесь указывать не станем, тем более, что достаточно обстоятельно указали ее в другом месте), состоит в том, что явление распадается на многообразное, которое в известном отношении есть бесконечное, а в известном другом отношении – замкнутое целое, и в этом замкнутом целом многообразного каждое отдельное звено определено всеми прочими, и в свою очередь все прочие звенья определены этим одним звеном²⁷. Если поэтому в волевом решении индивида в явление пробивается только одна являемость, представимость и зримость вообще, которая не есть в самом деле зримость некоторого нечего, – то содержание подобного волевого решения определено замкнутым целым всех возможных волевых решений этой воли и всех возможных прочих отдельных волей, и оно не содержит, и не может содержать в себе ничего более, кроме того, что нам остается желать, после того как мы отвлечемся от всех этих возможных волевых решений. А потому оно в самом деле не есть нечего самостоятельное, изначальное и собственное, но есть лишь простое следствие, как второе звено, общей взаимосвязи совокупного явления в отдельных его частях. А именно этим таким его всегда и признавали все, кто, находясь на этой ступени образования, при этом, однако, способны были основательно мыслить, и высказывали это свое знание в тех же самых словах, которыми и мы только что воспользовались. Но все это так потому лишь, что в них самих в явление вступает не сущность, но одно только явление.

Там же, где сама сущность, непосредственно и как бы собственной персоной, а отнюдь не через заместителя, вступает в явление волевого решения, там хотя и имеется так же точно все вышеупомянутое, следующее из смысла явления как замкнутого целого, ибо ведь явление является и здесь; но подобное явление не исчезает в этом элементе и не исчерпывается им, но в нем мы находим еще и нечто большее, другой элемент, необъяснимый из этой взаимосвязи явления, но остающийся после вычета всего объяснимого. Первый элемент имеется и здесь, сказал я только что; а это большее становится зримым, и через эту зримость, а отнюдь не посредством внутренней своей сущности, оно подпадает закону и условиям усмотримости вообще. Но оно есть еще и нечто большее, нежели это следствие из какого бы то ни было закона, которое есть поэтому необходимое и второе, и благодаря этому большему оно есть само по себе то, что оно есть, нечто подлинно первое, изначальное и свободное, а поскольку оно таково, оно также и представляется именно таким глубочайшему и дошедшему в самом себе до конца мышлению. Высший закон усмотримости состоит, как мы сказали, в том, что являющееся дробится на бесконечное многообразное. Это большее становится зримым, и всякий раз как нечто большее, чем то, что следует здесь и именно теперь из взаимосвязи явления, и так далее до бесконечности; и таким образом само это большее является как бесконечное. Между тем ведь ясно, как солнце: эту бесконечность оно получает лишь благодаря тому, что бывает всякий раз зримым и мыслимым и обнаружимым нечего, – единственно лишь благодаря тому, что оно противоположно тому, что бесконечно следует из взаимосвязи явления, и благодаря тому, что оно есть нечто большее, нежели это последнее. Но ведь, безотносительно этой потребности мыслить его, это большее, чем все то бесконечное, что в бесконечность только может представиться в явлении, с самого начала существует в чистой простоте и неизменности, и во всю бесконечность будет не большим, чем только это

«больше», не будет и меньшим; и лишь усмотримость его как большего, нежели бесконечное (а иным образом оно, в своей высшей чистоте, не может стать зримым для нас), создает само бесконечное и все то, что кажется нам являющимся в этом бесконечном. Там же. где это большее действительно выступает как подобное зримое большее, – а выступать таким образом оно может только в воле, – там сама сущность, которая одна только есть и одна только может быть, и которая существует сама собою и через себя самое, – божественная сущность, – вступает в явление и делает сама себя непосредственно зримой; и именно поэтому там есть подлинная изначальность и свобода, и в такую только свободу люди и могут верить.

А значит, на общий вопрос о том, свободен ли человек, или не свободен, нет общего ответа; ибо именно потому, что человек свободен в низшем смысле слова, что он начинает с нерешительного колебания и шатания, он может быть свободен или же несвободен в высшем смысле слова. В действительности то, как тот или иной человек отвечает на этот вопрос, служит нам ясным зеркалом его подлинного внутреннего бытия. Кто в самом деле есть не более чем звено в цепи явлений, тот может, правда, на мгновение возомнить себя свободным, но эта иллюзия не устоит перед его более строгим мышлением; но каким он находит себя самого, таким же он необходимо представляет себе и весь род себе подобных. Но тот, чья жизнь охвачена подлинным и стала жизнью непосредственно из Бога, – тот свободен, и верит в свободу в себе и других.

Тот, кто верит в прочное, устойчивое и мертвое бытие, верит в него потому лишь, что он сам в себе мертв; и будучи мертв, он, как только достигнет полной ясности в самом себе, может верить только таким именно образом. Он сам, и весь род ему подобных, с самого начала и до конца, представляется ему неким вторым звеном и необходимым следствием из какого-нибудь предполагаемого им первого звена. Это предположение есть его действительное, а не только мыслимое мышление, его подлинный ум, та точка, где его мышление само непосредственно есть жизнь, и оно поэтому есть источник всего прочего его мышления, всех его оценок рода людского, в его прошлом, – в его истории, – в его будущем. – в том, что он от человеческого рода ожидает, – и в его настоящем, – в действительной жизни его самого и других.

Это мертвое верие, в его противоположности изначально живому народу, мы назвали иностранщиной. Эта иностранщина, стало быть, если уж она появилась среди немцев, должна будет обнаружиться и в их действительной жизни: как спокойная преданность необходимости своего бытия, которой отменить мы не можем, как отказ от всякого свободного усовершенствования и нас самих, и других людей, как склонность принимать себя самого и всех других людей такими, каковы они есть, и извлекать из их бытия наибольшую возможную выгоду для себя; короче говоря, как непрестанно отражающееся во всех жизненных движениях человека исповедание его веры во всеобщую и равномерную греховность всех людей, которую я достаточно подробно представил в другом месте²⁸. Предоставляю Вам самим перечитать это мое описание, а также оценить, насколько верно оно для настоящего времени. Этот образ мысли и действий возникает у духовно мертвых, как мы не раз уже напоминали, только оттого, что эта омертвелость достигает полной ясности в самой себе, между тем как, пока она пребывает во тьме, она сохраняет и веру в свободу, – веру, которая сама по себе истинна, и иллюзорна лишь применительно к ее

нынешнему бытию. Отсюда с очевидностью следует, сколь невыгодна внутренняя ясность для дурной души. Пока дурной человек остается во тьме, непрерывный призыв к свободе всегда беспокоит, прищипывает и подгоняет его, и доставляет точку опоры для попыток его исправить. Ясность же делает дурное вполне дурным, и придает ему законченность в самом себе; она доставляет ему радостную преданность, спокойствие чистой совести и самодовольство. С этими людьми происходит тогда по вере их. они становятся отныне поистине неисправимыми, и годятся, самое большее, лишь на то, чтобы поддерживать в тех, кто лучше их душой, живое отвращение от дурного и преданность воле Божией, а больше не годны ни на что на свете.

И вот теперь пусть выяснится с совершенной ясностью, что мы понимали в изложенном нами прежде под «немцами». Подлинное основание различия заключается в том. верит ли некто в абсолютно первое и изначальное в человеке, в свободу, в возможность бесконечного исправления, в вечный прогресс нашего рода, или же он не верит во все это и даже мнит, будто отчетливо познает и постигает, что на самом деле истинно противоположное. Все, кто или сами живут творчески и в созидании нового, или кто, если это творчество не досталось им на долю, по крайней мере решительно отвергают все ничтожное и стоят, зорко всматриваясь, не прольется ли откуда-нибудь, захватывая их. поток изначальной жизни, или те, которые, если даже они и не готовы к этому, по крайней мере предчувствуют свободу, не ненавидят ее и не боятся, но любят ее – все они – изначальные люди, и если рассматривать их как один народ, они образуют изначальный народ, народ вообще, они суть немцы. Все, кто предается своей участи быть вторым звеном и чем-то производным, и кто отчетливо знает и постигает себя как второе и производное, в самом деле таковы и есть, и будут в этой своей вере все более и более таковы, они – придаток к той жизни, что жила прежде них, или рядом с ними, по собственному влечению, они – эхо уже умолкнувшего голоса, доносящееся к нам от мертвой скалы. Они, как народ, пребывают вне изначального народа, и являются для него чужеземцами и иностранцами. В той нации, которая до сегодняшнего дня называет себя народом вообще или «немцами», в новое время, по крайней мере доныне, показывалось на свет Божий изначальное, и обнаруживалась сила творчества нового. Теперь, наконец, философия, достигнув ясности в самой себе, предлагает этой нации как бы зеркало, в котором нация может постигнуть ясным понятием, чем она стала до сих пор по закону своей природы, сама отчетливо не сознавая того, и к чему она предназначена самой природой; и предлагает нации, согласно этому ясному понятию и обдуманному и свободным искусством сделать саму себя вполне и совершенно тем, чем она должна быть, обновить завет, и замкнуть свой круг. Принцип, соответственно которому она должна замкнуть этот круг, ей уже представлен: Все, кто верит в духовное и в свободу этого духовного, и кто желает вечного образования этого духовного деянием свободы, – где бы ни родились они и на каком бы языке ни говорили, – все они нашего рода, они близки нам и соединятся с нами. Все, кто верит в неподвижность, упадок и круговорот, или же ставит у кормила мироправления мертвую природу, – где бы ни родились они и на каком бы языке ни говорили, – все они не немцы и чужие нам, и нужно желать, чтобы они, сколь возможно скорее, совершенно от нас отделились.

А при этом случае на основе всего сказанного нами выше о свободе пусть выяснится также вполне внятно для всех, и имеющий уши слышать да слышит, чего, собственно, хочет та философия, которая с полным основанием называет себя немецкой, и в чем она с серьезной

и неумолимой строгостью противопоставляет себя всякой иностранной и мертвоверующей философии. Причем пусть это выяснится отнюдь не затем, чтобы и мертвое тоже поняло эту философию – что невозможно, – но затем, чтобы мертвому стало труднее исказить смысл ее слов и делать вид, будто и оно само желает того же и в сущности имеет в виду как раз то же самое, что и эта философия. Эта немецкая философия действительно и самым делом своего мышления возвышается, а отнюдь не хвалится только по смутному предчувствию, что так нужно делать, не будучи однако в состоянии исполнить этого сама, – она возвышается к неизменному «больше всякой бесконечности», и в нем одном находит подлинное бытие. Время и вечность и бесконечность она усматривает в их возникновении из явления и зримовления (*Sichtbarwerden*) этого единого, которое в себе абсолютно незримо, и постигается правильно лишь тогда, когда его постигнут в этой незримости. Даже и бесконечность, согласно этой философии, есть сама по себе ничто, и ей не присуще решительно никакое подлинное бытие. Она есть лишь средство, благодаря которому становится зримым то единственное, что существует, и что есть только в своей незримости, и из которого для него в сфере образного (*im Umkreise der Bildlichkeit*) выстраивается образ, схема и тень его самого. Все, что еще может стать зримым в пределах этой бесконечности мира образов, есть уже совершенное ничто от ничто, тень от тени, и есть единственно лишь средство, благодаря которому становится зримой само первое ничтожество бесконечности и времени, и для мысли открывается путь воспарения к необразному и незримому бытию.

В пределах же этого, единственно возможного, образа бесконечности незримое непосредственно выступает лишь как свободная и изначальная жизнь видения, или как волевое решение разумного существа; и не может выступать и являться решительно никаким иным способом. Всякое устойчивое бытие, являющееся как недуховная жизнь, есть лишь отбрасываемая видением и многолико опосредованная в ничто пустая тень, в противоположность которой и через познание которой, как многолико опосредованного ничто, само видение как раз и должно возвыситься до познания собственного своего ничтожества и до признания незримого, как единственно истинного.

В плену этой тени от тени теней именно и остается та мертвоверующая философия бытия, которая становится даже просто философией природы²⁹, самая омертвелая из всех философских систем, и страшится собственного своего создания, и поклоняется ему. А это ее упорство служит выражением ее истинной жизни и любви, и в этом пункте мы можем поверить этой философии. Но если она говорит нам, далее, что это бытие, которое она предполагает как действительно существующее, и абсолютное есть одно и то же, то в этом, сколько бы она ни уверяла нас в том, и если бы даже она поклялась нам в том и присягнула, мы ей верить не должны; этого она не знает, но говорит только так, наудачу, бездумно повторяя это слово в слово за другой философией³⁰, у которой не осмеливается этого оспаривать. Если бы она это знала, то должна была бы исходить не из двоицы, которую она лишь уничтожает и тем не менее сохраняет этим своим заклинанием, как из некоторого несомненного факта, – но она должна была бы исходить из единицы, и должна суметь понятным и очевидным образом вывести из этой единицы двоицу, а с ней и всякое многообразие. Но для этого нужно мышление, нужна действительно осуществленная и до конца проведенная сама в себе рефлексия. Искусству этого мышления она отчасти не училась и к нему вообще неспособна, – она может только грезить, – отчасти же она этому мышлению враждебна, и вовсе не желает даже и пытаться осуществить его сама, ибо это

потревожит ее в ее любезной иллюзии. Именно в этом наша философия с полной серьезностью противопоставляет себя этой философии, и это мы хотели со всей возможной внятностью высказать и засвидетельствовать при этом случае.

Восьмая речь. Что такое народ, в высшем значении этого слова, и что такое любовь к отечеству

Четыре наши последние речи отвечали на вопрос: что такое немец в противоположность другим народам германского происхождения? Доказательство, которое все это должно дать для совокупности нашего изыскания, будет закончено, если мы прибавим к этому еще и исследование вопроса: что такое народ? А этот последний вопрос тождествен другому, и одновременно помогает ответить на этот другой вопрос, который часто задают и на который дают весьма различные ответы, – на вопрос: что такое любовь к отечеству, или, если выразиться более правильно, что такое любовь индивида к своей нации?

Если только до сих пор в ходе нашего изыскания мы рассуждали верно, то при этом нам должно в то же время стать совершенно ясно, что только немец, изначальный и не умерший в произвольном уставе человек, поистине имеет народ и вправе рассчитывать на свой народ, и что только он способен по-настоящему и разумно любить свою нацию. Мы проложим себе путь к решению поставленной задачи, сделав следующее замечание, которое, как поначалу кажется, совершенно не связано со сказанным выше.

Религия, как мы заметили это уже в нашей третьей речи, может вознести человека решительно над всяким временем и всей современной и чувственной жизнью, нисколько не умаляя этим справедливости, нравственности и святости охваченной этою верою жизни. Даже будучи твердо убеждены, что все наши труды на этой земле не оставят даже малого следа и не принесут ни малейшего плода, и даже, что люди впоследствии извратят понятие о божественном и сделают его орудием злодеяний и еще более глубокой нравственной порчи, – мы можем все-таки усердно трудиться и далее, единственно для того, чтобы поддержать явившуюся в нас божественную жизнь, и в отношении к высшему порядку вещей в будущем мире, в котором ничто совершившееся в Боге не погибнет. Так, например, апостолов, и вообще первых христиан, их вера в небесное уже при жизни совершенно возносила над землю, и от земных дел, – государства, земного отечества и нации, – они отреклись настолько, что уже более не удостаивали внимания эти дела. Между тем, как бы возможно, и как бы легко для веры это ни было, и как бы ни должны были мы радостно смиряться с тем, что у нас нет более земного отечества и что на земле мы изгнанники и

слуги, коль скоро уж такова неизменная воля Божия: но все же это не естественное состояние и правило хода вещей в этом мире, но редкое исключение из правила. К тому же весьма превратно использует религию тот, – а именно так очень часто использовали, в частности, и христианство, – для кого она с самого же начала и безотносительно к обстоятельствам ставит себе целью рекомендовать нам это удаление от дел государства и нации как подлинное религиозное умонастроение. В подобном положении, если оно действительно и истинно, а не вызвано только религиозной мечтательностью, временная жизнь утрачивает всю свою самобытность и становится простым преддверием к подлинной жизни и трудным испытанием, которое мы выносим лишь из послушания и преданности воле Божией; а тогда верно будет сказать, что, как это представляли многие философы, бессмертные духи лишь в наказание облечены в земные тела, как в темницы³¹. В правильном же порядке вещей земная жизнь сама должна быть подлинно жизнью, которой мы можем радоваться, и которой мы можем благодарно наслаждаться, пусть и в ожидании некоторой высшей жизни; и хотя верно, что религия есть также утешение для несправедливо угнетенного раба, однако религиозное чувство заключается прежде всего в том, чтобы противиться рабству и, если только мы в силах этому помешать, не дать унижить религию до простого утешения для пленных рабов. Тирану весьма приличествует проповедовать религиозную преданность и указывать на небо тем, для кого на земле он не желает оставить и малого места; но нам, всем прочим, не стоит так торопиться усвоить себе восхваляемое им воззрение на религию, и мы должны, если только можем, помешать ему превратить землю в ад, чтобы пробудить в людях тем более страстную тоску по небесам.

Естественное влечение человека, от которого он вправе отказываться только в случае подлинно крайней необходимости, заключается в том, чтобы найти небо уже на земле и вплетать вечное и постоянное в повседневные земные дела; чтобы в самом временном насаждать и воспитывать непреходящее, – не только неким непостижимым образом, так что с вечностью нас связывает единственно лишь пропасть, непроницаемая для глаз смертного, – но так, чтобы это было зримо для глаз самих этих смертных.

Начнем с этого общепонятного примера: Какой благородно мыслящий человек не хочет и не желает снова повторить в исправленном виде свою собственную жизнь в своих детях, и дальше, в детях этих детей, и, облагородившись и усовершенствовавшись в жизни детей, жить на этой земле долго после того, как он уже умрет; вырвать из лап смерти тот дух, тот ум и нрав, которыми он, быть может, при жизни был страшен для превратности и порчи, утверждая праведных, вдохновляя ленивых, подымая подавленных и побежденных, и вложить этот дух и нрав, как лучшее свое завещание, в души наследников, чтобы и они передали его некогда, столь же приукрашенным и приумноженным, своим потомкам? Какой благородно мыслящий человек не желает мыслью или делом посеять малое зерно для бесконечного и беспрестанного усовершенствования рода человеческого, бросить во время нечто новое и прежде никогда небывалое, что останется во времени и станет неиссякающим источником новых творений; воздать за то, что ему дано было место на этой земле, и предоставлено недолгое время жизни, создав нечто вечное и здесь, на земле, так что он, этот индивид, пусть и не будет упомянут в истории (ибо жажда посмертной славы есть презренное тщеславие), однако же в своем сознании и в своей вере оставит по себе очевидные всем памятники того, что и он здесь жил? Какой благородно мыслящий человек, говорю я, этого не желает; но ведь мир наш следует рассматривать и устраивать только

соответственно потребности мыслящих подобным образом, которая есть правило для того, какими должны быть все люди, и единственно лишь ради таких людей и существует мир. Они – соль мира, а мыслящие иначе, будучи сами лишь частью преходящего мира, до тех пор, пока они мыслят так, также существуют только ради этих первых, и должны считаться с ними, до тех пор пока не станут такими, как они.

Что же могло бы стать залогом правды этого призыва и истины этой веры благородного мужа в вечность и непреходящую ценность его создания? Очевидно, лишь такой порядок вещей, который он был бы способен признать за вечный и могущий воспринять в себя вечное. А такой порядок вещей есть, пусть непостижимая ни в каком понятии, но однако подлинно существующая, особенная духовная природа человеческого окружения, из которого явился на свет он сам со всеми своими мыслями и деяниями и с верой в вечность этих мыслей и деяний, – народ, из которого он происходит, и в среде которого он был образован и возрос и стал тем, что он есть сейчас. Ибо, хотя несомненно верно, что его дело, если только он по праву притязает на вечность этого дела, отнюдь не есть простой результат закона духовной природы его нации, и не растворяется всецело в этом результате, но есть нечто большее, чем только это, и постольку проистекает непосредственно из изначальной и божественной жизни; однако так же верно и то, что это большее, как только оно впервые облеклось в формы зримого явления, подчинилось действию этого особенного закона духовной природы и образовало свое чувственное выражение лишь согласно этому закону. Этому же закону природы подпадут, и в нем примут чувственную форму, и все другие откровения божественного в этом народе, пока этот народ существует. Но оттого, что и он, этот индивид, существовал и действовал так, сам этот закон получает дальнейшее определение, и деятельность его стала постоянным элементом этого закона. И правилу этой деятельности должно будет подчиниться и продолжить ее собою все последующее. А потому он вполне уверен в том, что достигнутая им образованность останется в его народе, до тех пор, пока останется на земле сам этот народ, и будет неизменным определяющим основанием всего дальнейшего развития его народа.

В высшем значении слова, понимаемом с точки зрения духовного мира, это и есть народ: совокупность постоянно живущих в обществе друг с другом и непрерывно рождающих себя из себя самих, естественно и духовно, людей, которая вся подчиняется известному особенному закону развития божественного из нее. Именно общность этого особенного закона соединяет это множество людей в вечном, а потому также и во временном мире в некое естественное и проникнутое самим собою целое. Сам этот закон, по его содержанию, в целом, правда, можно постичь, как и мы постигли его на примере немцев как изначального народа; можно даже, рассматривая отдельные явления жизни подобного народа, понять его еще обстоятельнее в некоторых его дальнейших определениях; но никакой человек, который ведь сам всегда бывает подвержен неосознанному им самим влиянию этого закона, не сможет вполне проникнуть в него понятием, хотя в общем и можно вполне ясно понять, что подобный закон существует. Этот закон есть большее образуемости (*ein Mehr der Bildlichkeit*), которое в явлении непосредственно сплавлено с большим необразной изначальности (*Mehr der unbildlichen Ursprünglichkeit*), а потому (в явлении же) то и другое уже более неразделимо. Этот закон всецело определяет собою и приводит к полноте завершенности то, что называли прежде национальным характером

народа; этот закон развития изначального и божественного. Из этого последнего ясно, что люди, которые, как мы описали прежде подражателей за границе, вовсе не верят в изначальное и в его непрерывное развитие, а верят только в вечное круговращение кажущейся жизни, и которые по вере своей становятся тем, во что верят, в высшем смысле слова вовсе не суть народ, и что на самом деле они, собственно говоря, и не существуют, и тем более не способны иметь национального характера.

Вера благородного человека в вечную жизнь его действительности и на этой земле основывается, следовательно, на его надежде на вечную жизнь народа, из среды которого он сам развился, и своеобразия этого народа согласно упомянутому нами скрытому закону, без всякого вмешательства и порчи от чего-либо чуждого и не принадлежащего к целокупности этого законодательства. Это своеобразие есть то вечное, которому он вверяет свою собственную вечность и вечность своего труда, – тот вечный порядок вещей, в который он влагает вечное от себя; его бессмертия он должен желать, ибо только это бессмертие есть для него средство избавления, стирающее недолгий срок его жизни на земле до бессмертия жизни его на земле. Его вера и его стремление насадить нечто непреходящее, его понятие, в котором он постигает свою жизнь как вечную жизнь, – вот та связующая нить, которая теснейшим образом сопрягает с ним самим сначала его нацию, а затем, через посредство нации – и весь род человеческий, и которая внедряет в его распаханное сердце потребности всех этих людей до конца времен. Такова его любовь к своему народу, – прежде всего она уважает, доверяет, радуется своему народу, находит для себя честью происходить из него. В нем явилось в мире божественное, и изначальное удостоило сделать его своим покровом и средством своего непосредственного воздействия на мир; поэтому и далее из него будет проявляться божественное. Далее, его любовь деятельна, действительна, жертвует собою для народа. Ведь жизнь, просто как жизнь, как продолжение изменчивого существования, и так уже никогда не имела для него ценности, он желал ее лишь как источника чего-то долговечного; но эту долговечность ему обещает единственно лишь продолжение самостоятельного бытия его нации. Для спасения этой ее долговечности он должен даже желать себе смерти, чтобы только жила его нация и чтобы он жил в ней той единственной жизнью, которой всегда и хотел для себя.

Вот так. Любовь, которая подлинно есть любовь, а не просто преходящее вождение чувства, никогда не задерживается на бренном, она пробуждается, возгорается и покоится только в вечном. Даже себя самого человек не способен любить, если только он не постигнет, что он вечен; иначе он не способен будет даже ни уважать, ни одобрять себя самого. Еще того менее может он любить что-нибудь вне его, иначе как восприняв его в вечность своей веры и своей души и соединив его с этой вечностью. Кто не усматривает, прежде всего, что сам он вечен, в том вообще нет любви, и он не может любить отечества, ибо отечества для него не существует. Кто постигает вечность своей незримой жизни, но не усматривает таким же точно образом и вечности своей зримой жизни, для того, быть может, и есть небо, а на небе – отечество; но здесь, на земле, у него нет отечества, ибо и его можно познать только под образом вечности, и притом зримой и наглядной чувствам вечности, и потому он также не способен любить свое отечество. Если такому человеку не досталось в наследство земное отечество, то его следует пожалеть; но тот, кто получил в наследство от предков отечество на земле, и в чьей душе земля и небо, незримое и зримое совершенно проникли друг друга и тем самым только впервые создают подлинное и доброе небо, тот

будет сражаться до последней капли крови за то, чтобы он мог и сам передать в целости и сохранности это многоценное достояние в наследство будущему времени.

Так и было с давних пор. пусть в давние времена это и не было высказано с такой ясностью и с такой всеобщностью. Что воодушевляло благородных людей среди древних римлян, умонастроение и образ мысли которых еще и живет и дышит рядом с нами в их памятниках, трудиться и жертвовать собою, терпеть и выносить тяготы ради отечества? О том часто и внятно говорят они сами. Это – их твердая вера в вечное бытие их Рима и неколебимая уверенность, что в этой вечности и сами они будут вечно жить с ним вместе в потоке времен. Поскольку эта вера была основательна, и сами они, если бы только были вполне ясны сами себе, усвоили бы себе эту именно веру, – эта вера их и не обманула. До наших дней живет среди нас то, что было действительно вечного в этом вечном Риме, а с ним и сами Римляне, и это будет жить в своих последствиях – до конца времен.

Народ и отечество в этом значении, как носитель и залог земной вечности, и как то, что только и может быть вечно здесь, на земле, далеко превосходит пределы государства, в обычном смысле этого слова, – общественного порядка, каким его постигают в простом ясном понятии и создают, а затем сохраняют соответственно указаниям этого понятия. Это последнее желает известного права, гражданского мира, желает, чтобы каждый своими усердными трудами мог найти себе пропитание и влачить свое чувственное существование до тех пор, пока это будет угодно Богу. Все это суть лишь средства, условия и подпорки для того, чего поистине желает любовь к отечеству, расцветания вечного и божественного в мире, все чище, совершеннее и вернее, в бесконечном движении вперед. Именно поэтому эта любовь к отечеству должна править и самим государством, как безусловно высшее, последнее и независимое ведомство, прежде всего, ограничивая его в выборе средств для его ближайшей цели – гражданского мира. Разумеется, для достижения этой цели естественную свободу индивида приходится в некоторых отношениях ограничивать, и когда бы мы даже не имели в виду в них ничего иного, кроме этого, то поступили бы неплохо, если бы ограничили эту свободу сколь возможно более тесными пределами, подвели все ее побуждения под единообразное правило и держали ее под постоянным надзором. Предположим даже, что в такой строгости не было бы прямой надобности, но по крайней мере она не может оказаться вредной для этой нашей единственной цели. Только высшее воззрение на человеческий род и отдельные народы в нем расширяет горизонт этого ограниченного расчета. Свобода, даже в движениях внешней жизни, есть та почва, на которой прорастает высшая образованность. Законодательство, имеющее в виду содействие этой последней, предоставит свободе возможно более обширную сферу, даже рискуя тем, что от этого в обществе будет меньше единообразного покоя и тишины и что правительственные дела станут от того несколько труднее и обременительнее.

Поясним это на примере. Мы слышали, как нациям в лицо говорили, что им не надобно так много свободы, как какой-нибудь другой нации. Эти речи могут заключать в себе даже интонацию пощады и послабления, если, положим, хотели сказать собственно то, что нация не могла бы даже и вынести столь много свободы, и только значительная мера строгости правителей может помешать тому, чтобы их подданные сами до конца истребили друг друга. Но если эти слова понимать так, как они были сказаны, то они истинны лишь при том условии, что такая нация решительно не способна жить изначальной жизнью и питать

влечение к таковой. Такой нации, – если бы вообще возможна была подобная нация, в которой ведь тоже немалое число благородных душ составляли бы исключение из общего правила, – такой нации и в самом деле свобода была бы вовсе не нужна, ибо свобода существует лишь для высших целей, которые превосходят само государство, – такая нация нуждается только в укрощении и дрессировке, с тем чтобы индивиды могли мирно уживаться друг с другом, и чтобы целое можно было обратить в удобное средство для произвольно полагаемых целей, находящихся вне его. Мы можем оставить без ответа вопрос о том, можно ли справедливо сказать подобное хоть какой-нибудь нации. Ясно, во всяком случае, что изначальному народу свобода необходима, что она служит ему залогом его сохранения в качестве изначального, и что в дальнейшем своем бытии он может без малейшей для себя опасности вынести все возрастающую меру этой свободы. И это – первое, в отношении чего любовь к отечеству должна править самим государством.

Во-вторых, она должна править государством в том отношении, что должна ставить перед ним цель более высокую, чем обычно полагаемая ему цель сохранения гражданского мира, собственности, личной свободы, жизни и благосостояния всех. Только для этой высшей цели, и ни в каких иных видах, государство собирает у себя вооруженную силу. Если встает вопрос о применении этой вооруженной силы, если оказывается необходимо поставить на карту все цели государства, заключенные в простом понятии собственности, личной свободы, жизни и благосостояния, и даже продолжение бытия самого государства, и, не имея при этом ясного рассудочного понятия о том, будет ли наверняка осуществлено в действительности наше намерение, – а знать это в подобных делах мы и никогда не можем, – принять изначальное решение, ответ за которое мы дадим только Богу, – тогда только у кормила государственного правления живет подлинно изначальное и первая жизнь, и только в этот час вступают в силу подлинные суверенные права правительства, подобно самому Богу рискнуть в этом отношении низшей жизнью людей ради высшей жизни. В сохранении унаследованного от предков устройства, законов, гражданского благополучия вовсе нет настоящей и подлинной жизни, нет изначального решения. Все это создано обстоятельствами и положением, законодателями, которые, быть может, давно уже умерли; последующие эпохи доверчиво следуют дальше проторенным путем, и потому в самом деле живут не собственной публичной жизнью, но лишь повторяют жизнь, когда-то бывшую. В такие времена нет надобности в действительном правительстве. Но если этому равномерному ходу дел угрожает опасность, и требуется принять решение о новых, прежде никогда в этом виде не бывалых, случаях жизни: тогда нужна жизнь, живая из самой себя. Какой же дух имеет в таких случаях право встать у кормила государства, сможет решать силой собственной убежденности и уверенности, не предаваясь беспокойным колебаниям, и имеет неоспоримое право повелительно указывать всякому, к кому он ни обратится, – хочет ли он сам того или нет, – чтобы он подверг опасности все, вплоть до самой жизни своей, и принуждать того, кто станет ему противиться? Отнюдь не дух спокойной гражданской любви к конституции и законам, но всепоглощающее пламя высшей любви к отечеству, которая объемлет нацию как покров вечного, коему благородный человек с радостью жертвует собою, а неблагородный, существующий лишь ради этого первого, именно что должен пожертвовать собою. Не гражданская любовь к конституции имеет это право; да эта любовь и не сможет этого сделать, если останется в здравом уме. Как бы там ни случилось, но поскольку правитель исполняет свое дело не задаром, то правитель для них всегда найдется. Пусть даже новый правитель пожелает учредить рабство (а в чем же и состоит

рабство, если не в пренебрежении и подавлении самобытности изначального народа, которой для разумения этого правителя вовсе не существует?), – пусть даже он пожелает учредить рабство. Но поскольку из жизни рабов, их множества, и даже их благосостояния можно извлечь выгоду, то, если он хоть сколько-нибудь умеет считать, рабство при нем будет вполне сносным. Жизнь и пропитание, по крайней мере, его рабы всегда найдут для себя. За что же им в таком случае сражаться? И для тех, и для других покой превыше всего. Продолжая борьбу, они этот покой только нарушат. Поэтому они используют все средства для того, чтобы только эта борьба поскорее закончилась, они покорятся, они пойдут на уступки, да почему же им и не уступить? Ведь им никогда и прежде не нужно было ничего больше, и они никогда не надеялись получить от жизни что-то большее, чем продолжение привычного существования при хоть несколько терпимых условиях. Обетование жизни здесь на земле, продолжающейся, когда их жизнь на земле уже окончится, – только это может вдохновить их на смерть за свое отечество.

Так это и было до сих пор. Там, где действительно правили, там, где выдерживали суровые битвы, где добивались победы, одолевая сильное сопротивление, там правило, сражалось и побеждало это обетование вечной жизни. Веря в это обетование, сражались с врагами, упомянутые в этих речах несколько ранее, немецкие протестанты. Разве они не знали, что и со старой верой можно было править народами и содержать их в правовом порядке, и что и с этой верой можно было неплохо прокормиться в жизни? Почему же тогда их князья решились на вооруженное сопротивление, и почему народы с воодушевлением оказали это сопротивление? Небо и вечное блаженство – вот за что они с охотой проливали свою кровь. – Но какая же земная власть могла бы вторгнуться во внутреннюю святость их души и истребить в ней веру, которая отныне воссияла им, и на которой одной основывалась вся их надежда на будущее блаженство? Стало быть, они сражались тогда и не за собственное свое блаженство; в нем они были уже вполне уверены; но их заботило блаженство их детей, их еще не родившихся внуков и всего их еще не родившегося потомства, – все они также должны были быть воспитаны в том же самом учении, которое открылось им как единоспасающая истина, они также должны были стать причастными спасению, которое явилось теперь их отцам; только этой одной надежде их угрожал их нынешний враг; за нее, за такой порядок вещей, который и долго после их смерти будет цвести над их могилами, они столь радостно проливали в бою свою кровь. Допустим, что им самим все это не было вполне ясно, что они ошибались в выборе слов для обозначения того самого благородного, что было в них, и устами своими согрешали против собственной своей души. Охотно признаем, что их символ веры не был единственным и исключительным средством для того, чтобы стать причастным небесному блаженству за гробом. Однако навеки останется истинным то, что благодаря их жертвам в жизни всех последующих времен стало больше небесного блаженства по эту сторону гроба, что стали смелее и радостнее взирать на небо с земли, а порывы духа стали свободнее, и что потомки их противников, так же точно, как и мы сами, их потомки, доныне пользуются плодами их трудов.

В этой вере и наши древнейшие общие предки, коренной народ нового образования, немцы, которых римляне называли германцами, мужественно противостояли надвигавшемуся на них мировому господству Рима. Разве же они не видели собственными глазами, насколько пышнее цветет жизнь в римских провинциях, как утонченны там наслаждения, и к тому же, как изобилуют они законами, судами, розгами и плахами палачей? Разве римляне были не

довольно готовы поделиться и с ними всеми этими благами просвещения? Разве не видели они на примере многих и многих своих же отечественных князей, которые только позволяли убедить себя в том, что война с этими благодетелями человечества есть не что иное, как сущий мятеж, доказательства хваленого милосердия римлян, украшавших этих уступчивых князей королевскими титулами, доверявших им должности полководцев в римском войске, а если соотечественники изгоняли их, предоставлявших им убежище и содержание в своих городах-колониях? Разве они не умели понять преимуществ римской образованности, например, в том, что касается лучшего устройства римского войска, в котором и сам Арминий не отказывался учиться воинскому ремеслу? Мы не можем упрекнуть их в том, чтобы они не знали или не замечали всего этого. За что же тогда сражались они, много поколений подряд, в кровавой войне, возобновлявшейся всякий раз с прежней силой и упорством? У одного римского писателя один из их вождей говорит об этом так: «разве же им остается что-то еще, кроме как отстоять свою свободу или умереть прежде, чем они сделаются рабами?»³². Свобода была для них в том, чтобы оставаться именно немцами, чтобы по-прежнему самостоятельно и изначально решать свои дела в собственном своем духе, и в своем же собственном духе идти вперед в своем дальнейшем образовании, и чтобы распространить эту самостоятельность также и на потомков. А все эти блага просвещения, какие предлагали им римляне, назывались у них рабством, потому что приняв их, они вынуждены бы были стать чем-то иным, нежели немцами, стать наполовину римлянами. А само собою разумеется, полагали они, любой человек лучше умрет, чем станет чем-то подобным, и истинный немец может хотеть жить лишь для того, чтобы именно быть и оставаться немцем и такими же немцами воспитывать своих детей.

Они не все умерли; они не узнали рабства; они оставили свободу в наследство своим детям. Их упорному сопротивлению новый мир обязан тем, что он существует теперь таким, каков он ныне. Если бы римлянам удалось поработить и их, и искоренить их как нацию, как римляне и делали повсюду, – все дальнейшее развитие человечества пошло бы в ином, и навряд ли более благоприятном, направлении. Им обязаны мы, ближайшие наследники их земли, их языка и умонастроения, тем, что мы все еще немцы, что еще несет нас поток изначальной и самостоятельной жизни, им обязаны мы всем, чем были мы как нация с тех самых пор, им, – если только мы не вовсе погибли как народ и не иссякла в нас последняя капля их крови, – им мы будем обязаны всем, чем мы еще будем впоследствии. Им обязаны своим бытием даже и прочие племена, ставшие для нас ныне иностранцами, но по ним – наши братья; когда наши предки победили Рим, на свете еще не было ни одного из этих народов; победив его, они завоевали тогда и для них саму возможность их будущего возникновения.

Эти люди, и все, кто мыслит подобно им, победили потому, что их воодушевляло вечное, а это воодушевление всегда и необходимо одерживает победу над тем, кто не воодушевлен. Не мощью рук, и не совершенством оружия, но только силою духа завоевываются победы. Кто, жертвуя собою, полагает себе при этом ограниченную цель, и может рискнуть собою лишь до известной точки, тот прекратит сопротивление тут же, как только опасность для него достигнет этой точки, которой он никак не может оставить или обойтись без нее. Кто же не полагает себе вовсе никакой цели, но просто рискует всем, и тем высшим, что можно потерять здесь, на земле, – самой своей жизнью, – тот никогда не прекратит сопротивления и, без сомнения, победит, если только у его противника цель более ограниченная. Народ,

который, как наши древнейшие предки, способен, пусть даже только в своих высших представителях и вождях, пристально всматриваться в облик из мира духов, – самостоятельность, – и возгореться любовью к нему, подобно нашим древнейшим предкам, наверняка одержит победу над народом, который, как римское войско, просто используют как орудием чужого господства и порабощения самостоятельных народов; ибо в этой борьбе первый может все потерять, тогда как последний всего лишь может кое-что приобрести. А такой образ мыслей, который смотрит на войну как на некую лотерею, и который еще прежде чем приступит к игре, точно знает, какой величины сумму намерен поставить на кон, – будет побежден любой причудой и фантазией. Представьте себе, к примеру, Магомета, – не действительного Магомета истории, судить о котором я, сразу скажу, не возьмусь, а Магомета одного известного французского поэта³³, – который усвоил себе непоколебимое убеждение в том, будто он – одна из тех неординарных натур, которые призваны вести за собой чернь и простонародье, и которому, соответственно этой первой его предпосылке, все его, как бы скудны и ограничены они ни были в действительности, необходимо должны представляться великими и возвышенными идеями, несущими с собою счастье народов, а все, что этим идеям противится – темной чернью, врагами их собственного блага, людьми злонамеренными и ненавистными; и который, чтобы оправдать теперь в своих собственных глазах это свое самомнение, будто бы некое божественное призвание, и всецело погрузившись в эту мысль всей жизнью своей, непременно поставит на карту все, что имеет, и не успокоится до тех пор, пока не растопчет совершенно всех, кто не желает быть о нем столь же высокого мнения, как и он сам, и пока все его окружающее не превратится для него в простое отражение его собственной веры в свое божественное предназначение; не скажу, что станет с ним, если против него на турнирную дорожку действительно выйдет духовный лик, истинный и ясный в самом себе, – но у этих-то азартных игроков он выиграет схватку наверняка: потому что он ставит против них все, они же ставят не все; их не влечет никакой дух, его же увлекает дух, пусть даже это мечтательный дух его могучего и сильного самомнения.

Из всего этого следует, что государство, как простая власть (Regiment) над человеческой жизнью, движущейся обычным мирным путем, не есть что-то первое и для себя самого существующее, но что оно есть лишь средство для высшей цели – вечно равномерно продолжающегося образования чисто-человеческого в этой нации; что оно есть только лик и любовь этого вечно совершенствующегося образования, которой любви всегда, даже и в спокойные времена, должен принадлежать верховный надзор над делами государственного управления, и которая там, где самостоятельности народа грозит опасность, одна только и может ее спасти. У немцев, в среде которых как изначального народа эта любовь к отечеству была возможна и, как мы наверное и твердо знаем, до сих пор также и действительна, она могла до сих пор с высокой степенью уверенности полагаться на непременно исполнение этого самого важного для них дела. Государство и нация были у них даже, как это бывало разве только у греков в древние времена, отделены друг от друга, и каждое представало само по себе – первое в особых немецких королевствах и княжествах, а последняя зримым образом в имперском союзе, незримо же и повсюду в своих следствиях очевидно – во множестве привычек и учреждений. Повсюду, где только звучала немецкая речь, всякий, кто увидел свет в этой области, мог считать себя двойным гражданином – отчасти своего родного государства, которому прежде всего принадлежало попечение о нем, отчасти же всего общего отечества немецкой нации. Каждому было позволено искать

для себя по всей территории этого отечества образование, которое было всех более родственно его духу, или сферу деятельности, которая была бы наиболее ему сообразна, и талант не вращал, подобно дереву, в то место, где он находился, но ему было разрешено отыскать себе такое место. Кого направление его образования вынуждало ссориться с его ближайшим окружением, тот легко мог найти в другом месте людей, готовых принять его, найти новых друзей вместо утраченных, найти время и покой, чтобы объясниться обстоятельнее и, может быть, примирить с собою и склонить на свою сторону и своих разгневанных земляков, и таким образом объединить в своем лице весь народ. Ни одному князю немецкой земли еще никогда не удавалось заключить для своих подданных пределы отечества в границы тех рек или гор, среди которых он правил, и рассматривать их как вполне привязанных к этому клочку земли. Истина, которую нельзя было произнести вслух в одном городе, могла явиться вслух народа в другом, где, быть может, напротив, были запрещены те истины, которые были разрешены в первом городе; и так, при всей односторонности и мелочности, какие встречаем в отдельных немецких государствах, все же в Германии, взятой как целое, существовала самая обширная свобода исследования и слова, какую имел когда-нибудь какой-нибудь народ; и высшая образованность была и оставалась повсюду результатом взаимодействия граждан всех немецких государств; а постепенно эта высшая образованность и действительно снизошла в этом виде на большой народ, который тем самым непрестанно продолжал, в общем и целом, сам воспитывать себя самого. Этот существенный залог продолжения бытия немецкой нации не умаляла, как мы сказали, ни одна немецкая душа, стоявшая у руля государственного правления; и если даже, в том что касается прочих изначальных решений, не всегда происходило то, чего должна была желать высшая любовь к отечеству немцев, то по крайней мере никто не противодействовал прямо ее целям, никто не пытался похоронить эту любовь, искоренить ее и поставить на ее место любовь противоположную.

Но если теперь изначальное руководство как этой высшей образованностью, так и национальной властью, которую можно использовать единственно лишь для целей этой образованности и ее сохранения, употребление немецкого добра и немецкой крови попало бы из подчинения немецкой душе во власть кого-то другого, – что необходимо должно будет произойти в этом случае?

Именно здесь преимущественно потребуются от нас та склонность не позволять другим вводить себя в заблуждение о своих собственных делах, и та способность смело смотреть в лицо истине, которых мы требовали от Вас в нашей первой речи. Кроме того, насколько мне известно, нам все еще позволено говорить, или по крайней мере вздохнуть, между собою по-немецки о своем немецком отечестве, и я думаю, мы поступили бы совсем нехорошо, если бы поспешили по собственному почину установить для себя подобный запрет, и пожелали сковать храбрость, которая, без сомнения, уже и прежде обдумывала про себя, не приняться ли ей за это рискованное дело, оковами робости отдельных людей.

Итак, рисуйте себе эту предполагаемую новую власть столь доброй и благожелательной, как Вам будет угодно, пусть она в Вашем представлении сравнится благостью с Богом; но сможете ли Вы сообщить ей и божественный разум? Может ли она всерьез хотеть счастья и благоденствия всех, будет ли высшее благоденствие, которое она способна постигнуть, благоденствием также и для немцев? И потому я надеюсь, что в том главном, что я сегодня

излагал Вам, вы поняли меня вполне правильно, надеюсь, что многие, слыша мои слова, думали и чувствовали, что я лишь выражаю со всей отчетливостью и высказываю в словах то, что давно уже смутно представлялось их душе; надеюсь, что и с остальными немцами, которые некогда прочитают это, дело будет обстоять точно так же. Многие немцы и прежде меня говорили приблизительно то же самое; и в основе их то и дело выражавшегося протivления сугубо механическому устройству и расчету государства лежало то же смутно сознаваемое настроение. И вот я призываю всех, кто знаком с новейшей заграничной литературой, указать мне, кто из новейших мудрецов, поэтов, законодателей заграницы обнаружил когда бы то ни было подобное этому предчувствие, в котором бы род человеческий рассматривался как вечно идущий вперед и все его проявления во времени соотносились бы лишь с этим его движением вперед; указать мне, требовал ли кто-нибудь из них от государства большего, чем только равенства (nicht Ungleichheit), гражданского мира, внешней славы нации и, самое большее, счастья в кругу семьи, – даже в ту пору, когда они смелее всего воспарили к политическому творчеству? Если же, как нам приходится заключить по всем этим признакам, это и есть для них самое высшее, то они не вменяют и нам никаких более высоких потребностей и больших требований от жизни, и, – даже если предположить, что они могут действительно относиться к нам как подлинные наши благодетели и что у них при этом может не быть на уме никакой корысти и никакой жажды быть чем-то большим, нежели мы, – они решат, что превосходно о нас позаботились, если мы найдем все то, что они только и признают стоящим желанья. Но тогда то, ради чего единственно может жить благороднейший человек среди нас, окажется искоренено из публичной жизни, и народ, который всегда обнаруживал свою восприимчивость к побуждениям благородства, и который, в его большинстве, можно было бы даже надеяться возвысить весь до этого благородства, как только с ним станут поступать так же, как эти мудрецы желают, чтобы поступали с ними, будет понижен в чине, лишен достоинства, совершенно истреблен из строя вещей, слившись с народом низшего рода.

В ком же, несмотря на это, остаются живы и могучи эти высшие требования от жизни, вместе с чувством их божественной правоты, тот с глубоким негодованием почувствует, что он вновь отброшен в те первые времена христианства, которым было сказано: «Не противься злomu. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую, и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду»³⁴. И последнее вполне справедливо, ибо пока он видит на тебе верхнюю одежду, он будет искать повода придраться к тебе, чтобы забрать у тебя и эту одежду, и только когда ты останешься совершенно нагим, он перестанет так пристально приглядываться к тебе и оставит тебя в покое. Именно его высшее понимание, которое делает ему честь, превращает для него землю в сущий ад, и она становится ему противна. Он хотел бы лучше вовсе не родиться на свет; он хотел бы, чтобы глаза его закрылись навеки; глубокой печалью отмечены дни его до самой могилы; тому, что для него мило, он не мог бы пожелать лучшей доли, чем тупость и довольство ума, чтобы ему не так больно было идти к вечной жизни за гробом.

Воспрепятствовать этому уничтожению всякого благородного движения души, какое могло бы обнаружиться среди нас даже и в будущем, и этому унижению всей нашей нации, – воспрепятствовать ему единственным средством, какое еще остается у нас после того, как мы понапрасну использовали все прочие, – предлагают Вам эти речи. Они предлагают Вам

глубоко и неистребимо утвердить с помощью воспитания в душах всех людей ту истинную и всемогущую любовь к отечеству, для которой наш народ есть народ вечный и залог нашей собственной вечности. Какое воспитание способно это сделать, и каким именно образом, мы увидим в следующих речах.

Девятая речь. На какой наличный в действительности пункт должно опираться новое национальное воспитание немцев

В последней нашей речи мы провели и завершили многие из тех доказательств, которые обещали Вам уже в первой речи. Ныне, сказали мы, речь идет лишь о том, и такова наша первая задача, – чтобы спасти бытие и дальнейшее существование немцев вообще; все прочие различия исчезают для высшего взгляда; и это спасение всех немцев нисколько не повредит тем особенным обязательствам, которыми кто-нибудь может считать себя связанным. Если только мы сохраним в мысли сделанное нами различие между государством и нацией, то ясно, что уже и в прежнее время цели государства и нации никогда не могли оказаться в противоречии друг другу. Ведь высшая отечественная любовь к общему народу немецкой нации и прежде должна и обязана была стать верховной руководительницей в каждом особенном немецком государстве. Ни одно из этих государств не могло потерять из виду эту высшую цель, иначе все дельное и благородное немедленно оставило бы его, и оно само ускорило бы тем самым собственную свою гибель. Поэтому, чем более человек был охвачен и одушевлен этой высшей целью, тем лучшим гражданином он был и для того особенного немецкого государства, в котором он непосредственно действовал. Немецкие государства могли вступать в споры с немецкими государствами о частных исконных правах. Кто желал сохранения исконного состояния, – а этого, без сомнения, должен был желать, ради его дальнейших следствий, всякий рассудительный человек, – тот должен был желать победы правому делу, в чьих бы руках это дело ни находилось. Особенное немецкое государство могло, самое большее, задаться целью объединить под своим правлением всю немецкую нацию, и ввести единодержавие вместо исконной республики народов. Если же верно, (как, например, полагаю я) что именно это республиканское устройство было до сих пор важнейшим источником немецкой

образованности и первым средством для обеспечения немецкого своеобразия, – то, если бы само это предполагаемое единство нации имело не республиканскую, а монархическую форму, в которой властителю было бы все же возможно подавить во всей немецкой земле и на то время, пока он сам жив, какой-нибудь росток изначального образования, – если это верно, говорю я, то в этом случае было бы великим несчастьем для дела любви к немецкому отечеству, если бы подобное намерение удалось исполнить, и всякий благородный человек на всем просторе нашей общей земли должен был бы воспротивиться подобному намерению. Однако и в этом наихудшем случае немцами все-таки по-прежнему правили бы и изначально направляли ход их высших дел такие же немцы; и даже если бы на недолгое время был утрачен самобытный немецкий дух, то осталась бы все же надежда на то, что он пробудится вновь, и любой сколько-нибудь сильный духом человек на всей земле мог бы ожидать, что его услышат, и что он будет понятен; тогда все-таки существовала бы по-прежнему немецкая нация, и правила бы сама собою, и не погибла бы, растворившись в другой нации низшего порядка. Здесь в нашем расчете существенным всегда остается то, чтобы или сама любовь к немецкой нации стояла у кормила немецкого государства, или, по крайней мере, чтобы к этому кормилу могло доходить влияние этой высшей любви. Но если бы, как мы раньше предположили, это немецкое государство, – представляется ли при этом оно в явлении одним или многими государствами, дела нисколько не меняет, однако в самом деле оно едино, – вообще попало из немецких рук в руки посторонних руководителей, то несомненно, – и противоположное этому было бы противно всякому естеству и решительно невозможно, – несомненно, говорю я, что отныне дело решали бы не цели немцев, а цели чужих народов. Там, где доныне имели свою резиденцию национальные дела всех немцев, и где они имели своих представителей у кормила государства, они были бы отныне под запретом. И если они не должны из-за того совершенно исчезнуть с лица земли, то им нужно приготовить иное пристанище, а именно в том, что только в этом случае и остается, – в совокупности управляемых, в гражданах. Но если бы эти национальные дела уже были доступны гражданам и их большинству, то мы вовсе не оказались бы в таком положении, о котором мы с Вами теперь держим совет; поэтому сознания этих национальных дел в них не имеется, это сознание еще нужно внести в них. А это, иными словами, означает, что в большинстве граждан нужно воспитать это отечественное сознание, а чтобы быть уверенным в большинстве, испробовать это воспитание на всей их целокупности. А тем самым мы в то же время откровенно и ясно доказали, как опять-таки и обещали Вам прежде, что единственно лишь воспитание, а не какое-то иное средство, в состоянии спасти самостоятельность немецкой нации; и если бы кто-нибудь даже и до сих пор не мог бы все еще постигнуть, в чем заключается подлинное содержание и намерение этих наших речей, и в каком смысле следует понимать все наши суждения, – в том, несомненно, не наша вина.

Если выразить это еще короче: если допустить по-прежнему, как мы то и делаем, что у несовершеннолетних не стало отныне родных им по крови отцов-опекунов, и вместо них явились над ними господа, то, если эти несовершеннолетние не должны совершенно превратиться в рабов, они должны именно выйти из-под посторонней опеки, а чтобы они смогли это сделать, их прежде всего нужно воспитать к совершеннолетию. Любовь к немецкому отечеству утратила свою резиденцию; ей нужно дать другую, более обширную и глубокую, резиденцию, где она может утвердиться и закалиться в потаенности и безопасности, чтобы в нужное время обнаружиться со всей силой молодости и вернуть

также и государству утраченную им самостоятельность. И пусть это последнее нимало не беспокоит ни за границу, ни тех из нас, кто предаётся мелочному и бездушному унынию; можем уверить их, в утешение всем им, что ни один из них не доживет до этого дня, и что время, которое увидит это наяву, будет мыслить не так, как они.

Как бы строго ни смыкались одно с другим звенья этого доказательства, но то, сумеет ли оно овладеть и душами других людей и побудить их к деятельности, зависит прежде всего от того, существует ли вообще нечто такое, что мы назвали немецким своеобразием и любовью немцев к отечеству, и стоит ли оно того, чтобы его поддерживать и к нему стремиться, или не стоит. Что иностранец – зарубежный ли, или наш местный иностранец, – ответит на этот вопрос «нет» – это понятно само собой; но этого иностранца мы и не зовем на совет. Кстати, здесь следует заметить, что решение этого вопроса отнюдь не основано на доказательстве с помощью понятий, которые хотя и могут прояснить дело, но не способны сообщить нам что-нибудь о действительном существовании или ценности, – но каждый человек может проверить истину этих понятий только своим собственным непосредственным внутренним опытом. Пусть миллионы скажут в подобном случае, что этого не существует, – это всегда скажет нам только то, и не более, что этого не существует только лишь в них, а отнюдь не то, что этого вообще не существует; и если один-единственный человек выступит против этих миллионов и заверит их, что это есть, то будет прав против всех этих миллионов. Вполне может случиться, что в указанном случае и я, произнося именно теперь мою речь, есть такой единственный человек, заверяющий всех в том, что он по непосредственному опыту в самом себе знает, что любовь немцев к отечеству существует, что он знает безмерную ценность этого предмета, что единственно только эта любовь побудила его сказать наперекор любой опасности то, что он сказал и что еще скажет. Ведь нам теперь не осталось решительно ничего больше, как только говорить, и даже эти разговоры всячески сдерживают и урезают. Кто чувствует в себе то же самое, того я смогу убедить; кто этого не чувствует, того убедить невозможно, ибо только на эту предпосылку опирается все мое доказательство; убеждая его, я только впустую потратил слова; но такую мелочь, как слова, кто не согласится поставить на карту?

То определенное воспитание, от которого мы ожидаем спасения для немецкой нации, было в общих чертах описано в нашей второй и третьей речи. Мы назвали его совершенным пересозданием рода человеческого, и уместно будет в пояснение к подобному обозначению еще раз обозреть это воспитание в его целом.

До сих пор, как правило, чувственный мир считали подлинным, истинным и действительно существующим миром; именно его в первую очередь представляли питомцу воспитания; только от этого мира питомца направляли к мышлению, причем большей частью – к мышлению об этом же мире и на службе этого мира. Новое воспитание должно решительно перевернуть этот порядок вещей. Для него только тот мир, что постигается в мышлении, есть истинный и действительно существующий мир; в этот мир оно и желает ввести своего питомца сразу же, как только принимается его воспитывать. Только лишь с этим миром оно желает связать всю его любовь и благорасположение, так чтобы в нем с необходимостью возникала и происходила лишь жизнь в этом мире духа. До сих пор в большинстве людей жила только плоть, материя, природа; благодаря новому воспитанию в большинстве, а в скором времени и в целокупности человечества, должен жить и служить побуждением к

жизни единственно лишь дух. Это воспитание должно создать в народе вообще тот твердый и уверенный дух, который, как мы сказали прежде, служит единственно возможной основой благоустроенного государства.

Подобное воспитание, без сомнения, достигает той цели, которую мы поставили перед собою вначале и с описания которой начали мы наши речи. Этот дух, который должно оно создать, заключает в себе, как один из необходимых элементов, высшую любовь к отечеству, постигающую свою земную жизнь как вечную и в отечестве видящую носителя этой своей вечности, а если он создается в немцах – любовь к своему немецкому отечеству. А где есть такая любовь, там сам собою явится мужественный защитник отечества, и спокойный и справедливый гражданин. Подобное воспитание достигает даже большего, чем эта ближайшая цель, – как это и всегда бывает там, где великой цели желают добиться радикальным средством; весь человек будет усовершен во всех своих частях, предстанет законченным в самом себе, совершенно пригодным для всех своих, вне его находящихся, целей, ныне и вовеки. С нашим национальным и отечественным выздоровлением духовная природа неразрывно связала совершенное наше избавление от всего дурного, что тяготит нас теперь.

С тупо удивляющимися, что кто-то утверждает бытие подобного мира чистой мысли и даже как единственно возможного мира, чувственный же мир совершенно оставляет, – как и с отрицающими или сам духовный мир вообще, или даже только возможность того, чтобы большинство простого народа возможно было ввести в этот мир чистой мысли, – с такими людьми мы здесь больше не разговариваем. Таких людей мы уже и раньше совершенно отсылали прочь. Кто еще не знает, что существует мир мысли, тот пусть узнает это в другом месте с помощью средств, которые для этого имеются. У нас нет времени на подобные наставления; но как можно было бы возвысить до сознания этого мира даже большинство простого народа, – вот что мы хотим теперь показать.

Коль скоро же, как мы по здравом размышлении полагаем, идею подобного нового воспитания отнюдь не следует рассматривать просто как образ, предлагаемый публике для того, чтобы она упражняла на нем свое остроумие или свой полемический задор, но эту идею нужно будет в должное время осуществить и ввести в самую жизнь, – то нам следует прежде всего указать теперь, на какое уже имеющееся в действительном мире звено цепи это осуществление должно опираться.

В ответ на этот вопрос мы говорим: оно должно опираться на изобретенный и предложенный Иоганном Генрихом Песталоцци³⁵ метод обучения детей, который уже успешно воплощается на деле под его наблюдением. Ниже мы намерены дать более глубокое обоснование и ближайшее определение этого нашего решения.

Прежде всего, мы прочитали и продумали собственные сочинения этого человека, и составили себе из них понятие о его дидактическом и воспитательном искусстве; но мы вовсе не принимали к сведению всего того, что сообщали и какого были мнения об этом газеты ученых новостей, и каковы были их мнения об этих мнениях. Мы замечаем это для того, чтобы рекомендовать всякому, кто пожелает также составить себе понятие об этом предмете, пойти тем же самым путем, и совершенно избегать противоположного. Так же

точно не желали мы до сих пор замечать ничего из действительного осуществления этого метода, – отнюдь не из пренебрежения к воплощению, но потому, что хотели составить себе сначала твердое и верное понятие о подлинном намерении изобретателя, которое нередко может намного опережать его действительное осуществление, а из этого понятия уже само собою, без всяких опытов вслепую, выяснится и понятие об осуществлении на деле и его необходимых результатах, и только обладая этим первым понятием, можно подлинно понять и правильно оценить это осуществление. Если, как полагают иные, и этот метод обучения уже выродился тут и там в слепое эмпирическое ковыляние, и в пустые игры и истолкования наглядно данного, то по крайней мере основное понятие самого изобретателя в этом, по моему мнению, нисколько не виновно.

За это основное понятие мне ручается, во-первых, своеобразие самого этого человека, которое он с самой верной и задушевной искренностью представляет нам в своих сочинениях. На его примере, так же точно как и на примере Лютера, или, если были на свете еще и другие подобные им люди, на каком-нибудь другом примере, я мог бы представить Вам основные черты немецкой души, и дать утешительное для сердца доказательство, что на всем пространстве, где звучит немецкая речь, эта душа еще и доныне жива в полноте своей чудотворной силы. И он тоже всю свою трудную жизнь, в борьбе со всевозможными препятствиями, – и в собственной душе, со своей закоренелой неясностью и беспомощностью, и даже сам располагая при этом весьма немногими подспорьями ученого воспитания, – и вне себя, долго не будучи признан обществом, – стремился к цели, которую лишь смутно предчувствовал и которой сам совершенно не сознавал вполне, а побуждало его и поддерживало неиссякаемое и всемогущее и немецкое влечение – любовь к бедному безпризорному племени. Эта всемогущая любовь избрала и его своим орудием, как Лютера, только в ином и более соответствующем его времени отношении, и стала жизнью его жизни. Именно она была, ему самому неведомой, прочной и неизменной путеводной нитью для его жизни, что вела его сквозь мрак окружавшей его ночи и увенчала вечер его жизни (ибо невозможно было подобной любви покинуть эту землю без всякой награды) тем подлинно духовным его изобретением, которое давало много более, чем он когда-либо мог представить в самых смелых своих мечтах. Он хотел всего лишь помочь народу. Но его изобретение, если рассматривать его во всем его объеме, уничтожает и народ, и всякое различие между простым народом и образованным сословием, вместо искомого народного воспитания дает нам национальное воспитание, и, вероятно, способно было бы помочь народам и всему роду человеческому подняться к свету из глубины их нынешних бедствий.

Это основное понятие его изложено в его сочинениях с совершенной ясностью и очевидной для всех определенностью. Во-первых, в отношении формы, он желает не прежнего произвола и слепого брожения, но желает создать твердое и верно рассчитанное искусство воспитания, какого желаем и мы, и какого необходимо должна желать немецкая основательность. И он весьма непринужденно рассказывает нам, как одна французская фраза, а именно, что он будто бы «желает механизировать воспитание», помогла ему пробудиться от сна относительно этой его цели³⁶. В отношении же содержания первый шаг описанного мною нового воспитания заключается в том, что оно возбуждает и образует свободную деятельность духа воспитанника, его мышление, в котором должен впоследствии открыться ему мир его любви, – этим первым шагом преимущественно

занимаются сочинения Песталоцци, и к этому предмету мы прежде всего обращаемся, желая испытать его основное понятие. А в этом отношении высказанный Песталоцци упрек прежнему обучению в том, что оно только погружает ученика в мир туманов и теней и никак не хочет позволить ему добраться до действительной истины и реальности³⁷, равнозначен сказанному нами об этом способе обучения, – что оно неспособно было вмешиваться в действительную жизнь или образовать корень этой жизни. А вспомогательное средство, которое предлагает против этого зла Песталоцци, – приучить питомца к непосредственному созерцанию³⁸, – равнозначно с предложенным нами средством, – побудить его духовную деятельность к начертанию образов, и научить его всему, чему он научится впоследствии, только в подобном свободном творчестве образов: ибо созерцать возможно лишь то, что мы сами свободно начертали. То, что изобретатель в самом деле имеет в виду именно это, а отнюдь не понимает, скажем, под созерцанием лишь вслепую и на ощупь движущееся восприятие, – за это ручается нам указанное им воплощение его метода. И так же точно совершенно верно указывает он для этого возбуждаемого воспитанием созерцания питомца общий и весьма глубокий закон, согласно которому воспитание должно строго соразмеряться при этом с возникновением и развитием тех сил ребенка, которые оно желает развивать.

Все же промахи и ошибки этого дидактического плана Песталоцци в частных его выражениях и предложениях имеют один общий источник, а именно то, что скудная и ограниченная цель, к которой он стремился вначале, – оказать самую необходимую помощь наиболее забытым обществом детям из народа, предполагая, что целое останется таким, как и прежде, с одной стороны, и средство, которое позволяет достичь гораздо более высокой цели, с другой стороны, смешались и потому пришли в противоречие друг с другом. И мы сможем наверняка избавиться от всяких ошибок и составим себе понятие о предмете, совершенно согласное в самом себе, если оставим в стороне первое и все, что следует, если принять его в расчет, и станем придерживаться и последовательно осуществлять только последнее. Без сомнения, только от желания как можно скорее выпустить из школы на собственные заработки этих детей самых нищих родителей и однако же снабдить их средством, которое позволило бы им впоследствии восполнить свое прерванное обучение, возникла в любящей душе Песталоцци свойственная ему переоценка чтения и письма и утверждение, будто это чтение и письмо суть едва ли не цель и вершина всего обучения народа, и его наивная вера в суждение прошедших тысячелетий, согласно которому именно они суть лучшее подспорье в учении. В противном же случае он непременно нашел бы, что именно чтение и письмо были до сих пор самым верным орудием для того, чтобы погрузить людей в царство теней и тумана, и сделать их не в меру учеными. Отсюда же, без сомнения, происходят и некоторые другие его предложения, противоречащие его собственному принципу непосредственного созерцания, и в особенности его совершенно ошибочное воззрение на язык, как средство, способное возвысить род человеческий от смутного созерцания к отчетливым понятиям³⁹. Мы, со своей стороны, говорили не о воспитании народа, в противоположность воспитанию высших сословий, – потому, что мы хотели бы, скорее, чтобы народа, в этом смысле низкой и подлой черни, отныне вовсе не существовало, и потому, что, в интересах немецкой нации, терпеть подобный народ долее невозможно, – мы говорили о национальном воспитании. Если это воспитание должно когда-нибудь явиться в действительности, то убогое желание, чтобы воспитание только побыстрее заканчивалось и ребенка можно было снова пристроить к труду, не должно отныне даже

раздаваться среди нас, но, собираясь на совет об этом деле, это желание нам следует с самого же начала оставить. Хотя, как я думаю, это воспитание будет не слишком дорогим, воспитательные заведения смогут в значительной степени содержать себя сами, и труда не будет от них никакого ущерба; но даже если бы все это было не так, питомец безусловно и любой ценой должен оставаться в ведении воспитания до тех пор, пока это воспитание не будет завершено, и пока не будет возможно завершить его. А это половинчатое воспитание ничем не лучше, нежели совсем никакого; оно именно оставляет все в прежнем виде; и если вы хотите, чтобы все так навсегда и осталось, то лучше избавьте себя от полумер и объявите прямо с самого начала, что вы не желаете, чтобы воспитание помогало человечеству. А при этой предпосылке чтение и письмо не может принести никакой пользы национальному воспитанию, пока продолжается это воспитание, однако может стать весьма вредным для него, потому что легко может отвлекать питомца, как и отвлекало до сих пор, от непосредственного созерцания к одним лишь знакам, и от внимания, которое знает, что не схватывает ничего, если не схватывает этого здесь и теперь, к рассеянности, которая утешает себя воспоминанием о своих подробных конспектах и желает когда-нибудь научиться по бумаге тому, чему никогда уже, вероятно, не научится, и вообще к мечтательности, столь часто присущей тем, кто занимается премудростью букв. Только когда воспитание уже окончательно завершилось, в виде как бы последнего напутственного подарка питомцу, мы можем сообщить ему это умение и руководить питомцем в том, чтобы через анализ языка, которым он давно уже владеет в совершенстве, изобретать буквы и пользоваться ими, – что при всем остальном уже им полученном образовании будет для него легкой игрой. Так обстоит дело в общем национальном воспитании. Иное дело – будущий ученый. Он должен будет некогда не только высказываться об общезначимом то, что сердце его скажет об этом, но должен будет в одиноких размышлениях явить на свет языка потаенную и неосознанную им самим неповторимую глубину своей души, а потому он должен возможно ранее освоить письмо как орудие этого одинокого и однако же вслух совершающегося мышления, и научиться образовывать это орудие; однако же и с ним не следовало бы так торопиться, как торопились его воспитатели до сих пор. В свое время, когда пойдет речь об отличии общего национального воспитания от ученого воспитания, это станет нам ясно с большей отчетливостью.

Соответственно с этим воззрением, все то, что говорит изобретатель этого метода о звуке и слове, как средствах для развития духовной силы, нужно исправить и ограничить. План этих речей не позволяет мне вдаваться в детали этого предмета. Сделаю лишь одно замечание, глубоко связанное с целокупностью нашего исследования. Основа того, как представляет он себе развитие познания питомца, заключается в его «Книге для матери»⁴⁰; при этом он, помимо прочего, весьма многого ожидает от домашнего воспитания. Что касается прежде всего самого этого домашнего воспитания, то мы и в самом деле не намерены спорить с ним о тех надеждах, которые возлагает он на матерей⁴¹; но что касается нашего высшего понятия о национальном воспитании, то мы твердо убеждены, что это воспитание, особенно в трудящихся сословиях, совершенно невозможно ни начать, ни продолжить или завершить в доме родителей, вообще не отделяя детей совершенно от их родителей. Тягота, страх за насущный заработок, мелочная пунктуальность и корыстолюбие, тесно с этим связанная, непременно заразят и детей, обременят их души и помешают им свободно воспарять в мир мысли. Это – одна из неперенных предпосылок осуществления нашего плана, и обойтись без нее никоим образом невозможно. Что будет, если человечество в целом в каждую

следующую эпоху будет повторяться таким же точно, каково оно было в предшествующую эпоху, – это мы уже достаточно наглядно видели прежде; если должно произойти совершенное преобразование человечества, то его нужно однажды совершенно оторвать от него самого, и провести разделительную цезуру в его прежнем образе жизни. Только когда одно поколение людей пройдет школу нового воспитания, можно будет обсудить вопрос о том, какую часть национального воспитания мы можем вернуть воспитанию домашнему. – Если же не принимать этого в расчет и рассматривать «Книгу для матери» Песталоцци лишь как первооснову обучения, то и содержание ее, – разговор о теле ребенка, – выбрано совершенно неудачно. Он исходит из довольно верного положения, согласно которому первым предметом познания для ребенка должен быть сам ребенок, но разве «сам ребенок» – это тело ребенка? Разве тело матери, коль скоро это человеческое тело, не бывает для него гораздо ближе и зримее? И как же может ребенок получить наглядное познание о своем теле, не научившись сперва пользоваться им? Подобное познание не есть вовсе познание, но простое заучивание произвольных словесных знаков, происходящее от переоценки слова и речи. Подлинной основой обучения и познания была бы, выражаясь языком самого Песталоцци, азбука ощущений⁴². Как только ребенок начинает воспринимать звуки речи и сам, силою необходимости, образовывать эти звуки, его следует направлять к тому, чтобы высказываться с совершенною отчетливостью: голоден ли он, хочет ли спать, видит ли он то ощущение, которое обозначается тем или иным выражением, или он слышит, осязает и т. п., или он даже просто что-нибудь прибавляет к нему своей мыслью; насколько, и с какими оттенками, различны между собой различные впечатления на один и тот же чувственный орган, обозначаемые различными выражениями, например, цвета; и все это в верной последовательности, которая способствует правильному развитию самой способности ощущения. Только таким образом у ребенка появится некое Я, которое он сможет отличить от всего прочего и проникнуть свободным и обдуманым понятием, и только так, с самым первым пробуждением его к жизни, его жизнь обретет духовное око, утратить которое она отныне уже не сможет. Тем самым и для последующих упражнений его созерцания пустые сами по себе формы числа и меры получают отчетливо постигнутое внутреннее содержание, которое между тем при методе Песталоцци им можно сообщить лишь насильственно или по смутному влечению. В сочинениях Песталоцци мы находим примечательное в этом отношении признание одного из учителей его заведения, который, быв однажды посвящен в тайны этого метода, начал видеть вокруг себя лишь пустые геометрические тела. Так должно было случиться и со всеми питомцами этого метода, если бы не сохраняла их от этого, неприметно для них же самих, их духовная природа. А здесь, в этом отчетливом постижении того, что мы собственно ощущаем, пусть не языковой знак, но сама речь и потребность его высказать свое познание другим образует человека и возвышает его, из мрака и смутности понятия к ясности и определенности. В душе ребенка, в котором впервые пробуждается ясное сознание, толпятся разом все впечатления окружающей его природы, и смешиваются в неясный хаос, где ничто отдельное не проступает перед ним из общей сутолоки. Как же может он когда-либо выбраться из этой первоначальной смутности форм? Он нуждается для того в помощи других; а эту помощь он получит только, если определенно выскажет свою потребность, отличая ее при этом от подобных ей потребностей, которые уже закреплены в знаках языка. Он оказывается вынужден, руководствуясь этими различиями, собранно и сдержанно наблюдать за самим собою, отличать и сравнивать то, что он действительно чувствует, с тем, что хотя ему тоже известно, но чего он в настоящий момент не чувствует. Только таким образом в нем

выделится рассудительное и свободное Я. И по этому пути, которым направляют нас нужда и природа, воспитание должно следовать дальше с обдуманым и свободным искусством.

В области объективного познания, направленного на внешние предметы, знакомство со словесным знаком решительно не прибавляет отчетливости и определенности внутреннего познания для самого познающего, но только возвышает это познание в совершенно иную сферу сообщимости его для других. Ясность этого познания всецело основана на созерцании, и то, что мы по собственному усмотрению можем воспроизводить в воображении во всех его частях именно таким, каково оно и есть в действительности, бывает тогда вполне познано нами, все равно, есть ли у нас слово для него или же нет. Мы убеждены даже, что эта законченность созерцания должна предшествовать знакомству со словесным знаком, и что тот, кто ведет нас в обратной последовательности, как раз и приведет нас в тот мир теней и туманов, и к незрелому многоречию, которые были так ненавистны для Песталоцци, и даже, что тот, кто жаждет лишь, чем скорее тем лучше, узнать новое слово, и считает свои познания приумноженными, как только он его знает, – как раз и живет в этом мире туманов, и заботится единственно о расширении этого самого мира. Обнимая в целом систему мыслей нашего изобретателя, я полагаю, что именно эту азбуку ощущений он и стремился сделать первоосновой духовного развития и содержанием его «Книги для матери», и она смутно предносилась ему во всех его суждениях о языке, и что единственно только недостаток философских исследований помешал ему достичь в этом пункте совершенной ясности в самом себе.

Если же предположить это развитие самого познающего субъекта в его ощущениях, и положить его первой основой желаемого нами национального воспитания, то азбука созерцания Песталоцци, учение его об отношениях числа и меры, будет совершенно целесообразным и превосходным следствием этой азбуки. К этому созерцанию можно будет привязать любую часть чувственного мира, это созерцание можно будет ввести в область математики, до тех пор, пока питомец не будет достаточно образован этими предварительными упражнениями, чтобы его можно было подвести к начертанию общественного порядка жизни людей и к усвоению любви к этому порядку, как второго и существенного шага в его образовании. Уже говоря об этой первой части воспитания, мы не можем пройти мимо еще одного предмета, которого разработка была начата Песталоцци: развитие физических навыков питомца, которое необходимо должно идти вперед рука об руку с развитием его духовных навыков. Он требует некоторой азбуки искусства, т. е. телесного умения. Наиболее выдающиеся суждения его об этом предмете следующие: «Удар, ношение, бросание, толкание, тягание, кручение, борьба, метание – вот простейшие упражнения силы. Существует естественная последовательность от начальных шагов в этих упражнениях вплоть до совершенного искусства в них, т. е. до высочайшей степени нервного такта, который придает меткость удару и толчку, метанию и броску, в сотнях различных вариантов, и уверенность руке и ноге». Все дело здесь – в естественной последовательности, и недостаточно будет просто вмешаться в нее своим слепым произволом и ввести какое-нибудь новое упражнение, чтобы только о нас могли сказать, что и у нас, как, например, у греков, есть физическое воспитание. В этом отношении еще предстоит сделать все, ибо Песталоцци не дал такой азбуки искусства. Эту азбуку искусства еще предстоит составить, причем для этого нужен человек, который, одинаково чувствуя себя как дома в анатомии человеческого тела и в науке механики, соединял бы с этими

познаниями немалую меру философского духа, и который сумел бы таким образом найти, в полноте всестороннего совершенства, ту машину, для которой имеются задатки в человеческом теле, и указать, каким образом можно было бы постепенно, так чтобы каждый шаг совершался в единственно возможной верной последовательности, подготовляющей и облегчающей собою все последующие шаги, и чтобы при этом здоровье и красота тела и сила духа не только не подвергалась бы никакой опасности, но даже укреплялась бы и прирастала, – как, говорю я, и каким образом можно было бы постепенно создать эту машину из каждого здорового человеческого тела. Неотъемлемая необходимость этого элемента в воспитании, обещающем образовать всего человека и предназначенного в особенности для нации, которая должна восстановить и впредь постоянно поддерживать свою самостоятельность, очевидна без особенного напоминания.

Все, что еще нужно сказать о ближайшем определении нашего понятия о немецком национальном воспитании, мы оставляем до следующей речи.

Десятая речь. К ближайшему определению немецкого национального воспитания

Руководить питомцем в том, чтобы прояснить для себя вначале свои ощущения, а затем – свои созерцания, с которым рука об руку должно идти последовательное образование искусного навыка его тела, – это первая основная часть нового немецкого национального воспитания. Для образования способности созерцания мы имеем вполне пригодное руководство Песталоцци; все еще не написанное руководство для образования способности ощущения без труда сумеет дать нам тот же самый ученый и его сотрудники, которые в первую очередь призваны решить эту задачу. Недостаёт еще руководства для последовательного образования физической силы: мы указали в прошлый раз, что требуется для решения этой задачи, и нужно надеяться, что если наша нация обнаружит желание знать решение этой задачи, то это решение будет найдено. Вся эта часть воспитания составляет лишь средство и предварительное упражнение для второй существенной части его – для гражданского и религиозного воспитания. То, что необходимо сказать об этом теперь в общих чертах, было уже изложено в нашей второй и третьей речи, и в этом отношении нам добавить нечего. Дать определенное наставление в искусстве этого воспитания (всегда, само собою, советуясь и консультируясь с собственно воспитательным искусством Песталоцци), – это дело той же самой философии, которая и советует вообще осуществить немецкое национальное воспитание: а эта философия, если только, по совершенном исполнении первой части, возникнет потребность в подобном наставлении, не замедлит представить такое наставление. Как возможно будет, чтобы всякий питомец, даже родившийся в самом низком сословии (ведь для наших природных задатков поистине не имеет никакой важности сословие, в котором мы родились), усвоил, и даже с легкостью усвоил изложение этих предметов, которое, конечно, заключает в себе, если угодно так выразиться, наиглубочайшую метафизику и является плодом самой отвлеченной спекуляции, предметов, постижение которых представляется в нынешнее время невозможным даже ученым, и даже спекулятивным умам среди ученых, – не станем пока что утомлять себя преждевременными сомнениями и доказательствами на этот счет; если только мы захотим сделать первые шаги к тому, то опыт впоследствии покажет нам, как это возможно. Только потому, что наше время вообще приковано железными цепями к миру

пустых понятий, и ни в единой точке не проникло в мир подлинной реальности и созерцания, мы не можем требовать от него, чтобы оно приступило к созерцанию именно с наивысшего и самого духовного созерцания. Философия должна потребовать от него, чтобы оно отказалось от прежнего своего мира и создало себе совершенно новый мир, и не удивительно, что это требование остается безрезультатным. Но питомцу нашего воспитания мир созерцания стал родным с самого же начала, и он никогда не видел иного мира; он должен не изменить свой мир, а только прибавить ему силы и действительности, а это произойдет в нем само собою. Это новое воспитание есть в то же время, как мы уже указывали выше, единственно возможное воспитание к философии, и единственное средство к тому, чтобы сделать эту последнюю общим достоянием.

С этим гражданским и религиозным воспитанием воспитание заканчивается, и питомца следует выпустить в мир, и таким образом мы выяснили, для начала, содержание предложенного нами воспитания.

В питомце никогда не следует побуждать способности познания, не побуждая в то же время любви к познанному предмету, ибо в противном случае познание станет мертвым, и так же точно никогда не следует возбуждать в нем любви, не проясняя ее в то же время для познания, ибо в противном случае эта любовь станет слепой: таков один из основных принципов предложенного нами воспитания, с которым должен соглашаться и Песталоцци, соответственно всей системе его мыслей. А эта любовь сама собою побуждается и развивается в нем последовательным обучением через развитие в питомце ощущения и созерцания, и появляется без всякого нашего содействия или намерения. В ребенке есть естественное влечение к ясности и порядку; а подобное обучение постоянно удовлетворяет в нем это влечение, и оттого наполняет ребенка радостью и удовольствием; но в самом этом удовлетворении выступающие перед ним новые неясности вновь побуждают его к познанию, и вновь находят разрешение, и так его жизнь проходит в любви к учению и удовольствию от него. Это любовь, которая связывает каждого человека с миром мысли, связующая нить между чувственным и духовным миром вообще. Благодаря этой любви с легкостью совершается, – в этом воспитании наверное и по точному расчету, тогда как прежде – случайно и лишь в немногих умах, особо облагодетельствованных природой, – развитие способности познания и успешная обработка всех областей науки.

Но есть еще и другая любовь, связывающая человека с человеком, и соединяющая всех людей в единую единомысленную общину разума. Как первая любовь образует познание, так эта любовь образует деятельную жизнь, и побуждает наглядно явить познанное нами в нас самих и в других. Поскольку для нашей подлинной цели было бы мало проку, если бы мы улучшили только воспитание ученых, а национальное воспитание, к которому мы стремимся, имеет целью прежде всего образование не одних ученых, но именно людей, то ясно, что развитие и этой второй любви составляет, наряду с названной выше, непрременную обязанность такого воспитания.

Песталоцци говорит⁴³ об этом предмете с возвышающим душу воодушевлением; и однако мы должны признаться, что все это им сказанное нисколько не показалось нам ясным, и менее всего – настолько ясным, чтобы послужить основой искусному развитию этой любви. Необходимо поэтому сообщить Вам здесь наши собственные мысли о том, что может быть

такой основой.

Обычное допущение, будто человек от природы эгоистичен, и будто ребенку тоже с рождения свойствен этот эгоизм, и что только воспитание может внедрить в его душу нравственный мотив, – основано на весьма поверхностном наблюдении и совершенно ложно. Поскольку из ничего ничего не бывает, а сколь угодно долгое развитие этого основного влечения все-таки никогда не сможет превратить его в его собственную противоположность, – как же могло бы воспитание внедрить когда-либо нравственность в душу ребенка, если бы эта нравственность не существовала в нем изначально, и прежде всякого воспитания? Итак, она и в самом деле существует во всех человеческих детях, как только они рождаются на свет; задача состоит лишь в том, чтобы утвердить в них самую изначальною и чистую форму, в какой она только обнаруживается.

А как завершенная философская спекуляция, так и мнения всех наблюдателей согласны в том, что эта самая изначальноя и чистая форма ее есть влечение к уважению, и что только этому влечению открывается в познании нравственное, как единственно возможный предмет уважения, добро и справедливость, правдивость, сила самообладания. У ребенка это влечение обнаруживается поначалу как влечение быть в свою очередь уважаемым тем, что внушает ему величайшее уважение; и это влечение обращается, как правило, – и это уже может служить надежным доказательством тому, что не из эгоизма происходит в человеке любовь, – с гораздо большей силой и решительностью на отца, более серьезного, часто отсутствующего дома и не являющегося непосредственно в образе благотворителя, чем на мать, которая всегда рядом с ребенком и всегда готова благотворить ему. Ребенок желает, чтобы отец заметил его, он хочет добиться его одобрения; он бывает доволен сам собою лишь постольку, поскольку отец доволен им; такова естественная любовь ребенка к отцу – отнюдь не как к опекуну его чувственного благоденствия, но как к зеркалу, в котором отражается для него его собственная ценность или недостойность; и на этой любви сам отец без труда может основать строгое послушание и любую самоотверженность: ребенок с радостью послушается его, чтобы только получить в награду его искреннее одобрение. В свою очередь, именно этой любви он хочет и от отца: он хочет, чтобы отец заметил его старание быть хорошим, и признал его, чтобы отец дал ему понять, что ему доставляет радость, когда он может одобрить его поведение, и причиняет сердечную боль, когда приходится его порицать, что он ничего не желает, кроме того, чтобы всегда быть довольным своим ребенком, и что все его требования к ребенку имеют целью единственно лишь то, чтобы сделать самого же ребенка все лучшим и все более достойным предметом его уважения. А когда ребенок видит это, любовь его, в свою очередь, непрестанно все оживает и крепнет, и придает ему новые силы для всех будущих его попыток стать лучше. Невнимание же, или постоянное несправедливое непризнание его стараний, убивает эту любовь, но особенно губительно для нее и рождает даже ненависть, если в обращении с ребенком обнаруживают своекорыстие, и если, например, потерю, случившуюся из-за неосторожности ребенка, расценивают как главное его преступление. Тогда он замечает, что его рассматривают как простое орудие, и это возмущает в нем пусть смутное, но однако не вовсе отсутствующее в нем чувство, говорящее ему, что он должен иметь некоторую ценность сам по себе.

Докажем это на примере. Что, собственно, в душе ребенка прибавляет к боли наказания еще стыд, и что такое этот стыд? Очевидно, это чувство презрения к себе самому, которое он должен вменять себе, видя признаки неудовольствия своих родителей и воспитателей. А потому во всех тех случаях, когда наказание не сопровождается стыдом, воспитанию приходит конец, и наказание представляется тогда просто насилием, которым питомец высокомерно пренебрегает и смеется над ним.

Такова, следовательно, нить, связующая людей в союз единомыслия, и развитие которой составляет основной элемент воспитания целого человека, – отнюдь не чувственная любовь, а влечение к взаимному уважению. Это влечение формируется двояко: в ребенке, на основе присущего ему безусловного уважения к взрослому человечеству, его окружающему, оно становится влечением быть самому предметом его уважения, и по этому действительному уважению как некому масштабу судить о том, насколько он и сам вправе уважать себя. Это доверие к постороннему и вне нас находящемуся масштабу самоуважения есть также своеобразная основная черта детей и несовершеннолетних, и единственно только на ее наличии основана возможность всякого наставления и всякого воспитания подрастающего юношества цельными людьми. Совершеннолетний человек носит масштаб своей самооценки в себе самом, и он хочет быть уважаемым другими лишь постольку, поскольку сами они сделали достойными его уважения; и в нем это влечение принимает вид стремления к тому, чтобы быть в состоянии уважать других, и создать во внешнем мире нечто достойное уважения. Если бы не было в человеке подобного основного влечения: откуда взялось бы тогда то явление, что даже хоть сколько-нибудь сносно доброму человеку бывает жаль, если люди оказываются хуже, чем он их себе представлял, и что необходимость презирать их вызывает в нем жестокую боль; ведь эгоизму должна бы быть, напротив, приятна сама возможность высокомерно возноситься над другими людьми. Эту последнюю основную черту совершеннолетнего человека должен представлять в себе воспитатель, так же как на вышеназванную черту питомца мы можем с полной уверенностью положиться. Цель воспитания заключается, в этом отношении, именно в том, чтобы создать совершеннолетие воли, в указанном нами только что смысле слова, и воспитание бывает действительно завершено и доведено до конца лишь тогда, когда оно достигнет этой цели. До сих пор многие люди всю свою жизнь оставались детьми: именно те люди, кому для довольства собою нужно было одобрение окружающих, и кто был убежден, что не сделал ничего хорошего, если не умел понравиться окружающим. Им противопоставляли обычно, как сильные и могучие характеры, тех немногих людей, которые способны были стать выше чужого суждения о себе и найти довольство в самих себе, и таких людей, как правило, ненавидели, между тем как первых хотя не уважали, но все-таки считали их милыми людьми.

Основа всего нравственного воспитания заключается в том, чтобы знать, что в ребенке есть подобного рода влечение, и неизменно предполагать в нем это влечение, – а кроме того, чтобы признать его в его проявлении, и постепенно все более и более развивать его, целесообразно возбуждая его и предлагая материал, который мог бы служить для его удовлетворения. Первостепенное правило здесь то, чтобы его направляли на единственно сообразный ему предмет, – на нравственное, – а отнюдь не вынуждали его мириться с неким чужеродным для него материалом. Учеба, например, имеет в самой себе и свою привлекательность, и свою награду; разве только особо упорное прилежание в учебе, как

упражнение способности самопреодоления, может вызывать наше одобрение; но это вольное и превосходящее рамки требуемого прилежание едва ли найдет себе место, по крайней мере в начальном, общем национальном воспитании. А потому то, что питомец воспитания выучил все, что должен выучить, нужно рассматривать как нечто само собою разумеющееся и такое, о чем нечего более и говорить; даже если более способный ум питомца заучивает урок быстрее и лучше других, это именно нужно рассматривать как естественное событие, которое не дает повода для похвалы или отличия самого этого питомца и уж тем более не покрывает собою других его недостатков. Этому влечению нужно указать сферу для приложения только в области нравственного; но корень всякой нравственности есть самообладание, самопреодоление, подчинение своих эгоистических влечений понятию о целом. Пусть только это, и ничто более, дает возможность питомцу получить одобрение воспитателя, а нуждаться в этом одобрении для того, чтобы быть довольным самим собой, его учит его духовная природа, и к этому же приучает его воспитание. Как мы напомнили Вам уже во второй нашей речи, есть два весьма различных способа подчинять свою личную самость целому. Во-первых, это тот способ, который безусловно должен быть и от которого ни в чем недопустимо избавлять кого бы то ни было, – это подчинение закону общественного устройства, начертанному ради поддержания самого порядка в пределах целого. Тот, кто не преступает этот закон, всего только не удостоивается порицания, но отнюдь не заслуживает еще одобрения; как и того, кто преступил бы этот закон, постигло бы действительное порицание и осуждение, которое там, где преступление совершено публично, должно последовать так же публично, а если оно останется бесплодно, его можно было бы даже усилить, прибавив к нему наказание для преступника. Во-вторых, есть такое подчинение индивида целому, которого невозможно требовать, но которое он может исполнить лишь добровольно: а именно, когда ожидают, что индивид, жертвуя собою, станет укреплять и умножать благосостояние целого. Чтобы с юных лет твердо внушить питомцам соотношение между простою законосообразностью и этой высшей добродетелью, целесообразно будет дозволять подобные добровольные жертвы лишь тому из них, на которого в течение известного времени не было никаких жалоб в отношении первой, как бы в награду за его сообразность закону, тому же, кто еще не тверд в соблюдении правильности и порядка в самом себе, отказывать в таком дозволении. Предметы таких добровольных трудов уже были мною в общих чертах указаны выше, и выяснятся еще подробнее впоследствии. Пусть самопожертвование этого рода удостоится деятельного одобрения, действительного признания заключающейся в нем заслуги, – хотя и не публично, в виде похвалы, ибо это может испортить душу питомца, сделать его тщеславным и далеко увести его от самостоятельности, – но тайно, и наедине с питомцем. Это признание должно быть не более, чем только спокойствием его собственной совести, которое бы мы представили питомцу также внешне, и подтверждением его довольства самим собою, его самоуважения, и побуждением к тому, чтобы и впредь доверять себе. Выгоды, которые мы имеем в виду получить от этого, может замечательно умножить следующее учреждение: Где воспитателей и воспитательниц несколько, – а мы предполагаем ведь, что это, как правило, так и будет, – там пусть каждый ребенок свободно, и по побуждению своего доверия и своего собственного чувства, изберет себе одного из них своим особенным другом и как бы советчиком своей совести. Пусть он просит у него совета во всех тех случаях, когда ему трудно бывает поступить правильно; пусть этот воспитатель помогает ему дружеским советом; пусть ребенок поверяет ему те добровольные труды, какие берет на себя; и пусть, наконец, именно этот его друг будет тем

человеком, который станет награждать своим одобрением все прекрасное в нем. Тогда воспитание, в лице этих самых советчиков совести, поможет детям, каждому по-своему, последовательно выработать в себе все большую силу самообладания и самопреодоления. И таким образом постепенно возникнет та твердость и самостоятельность, с созданием которой воспитание естественно завершится, и сделается в будущем излишним. Объем нравственного мира раскрывается перед нами яснее всего в собственных наших поступках и поведении, и кому этот мир открылся таким именно образом, тому он открылся в самом деле. Такой человек знает отныне сам, что заключает в себе этот нравственный мир, и не нуждается более ни в каком свидетельстве других людей о себе, но способен сам вершить правый суд над самим собою, и отныне он – совершеннолетний.

Сказанным только что мы заполнили пробел, который оставался до сих пор в нашем изложении, и только теперь наше предложение стало подлинно осуществимым. Новое воспитание должно поставить на место употреблявшейся до сих пор чувственной надежды или страха благорасположение к добру и справедливости ради них самих, и это благорасположение должно приводить в движение всю будущую жизнь питомца, как единственный имеющийся в нем мотив. Это – главное в нашем предложении. Первый напрашивающийся при этом вопрос таков: но как же создать нам самое это благорасположение? Создать, в подлинном смысле слова, его и в самом деле невозможно; ибо сделать нечто из ничего человеку не по силам. Если только наше предложение вообще исполнимо, то это благорасположение должно изначально присутствовать в человеке, и безусловно во всех людях без исключения, и быть для них врожденным. Так оно и обстоит в действительности. Всякий ребенок без исключения желает быть справедливым и добрым, и он отнюдь не желает только благоденствовать, как молодое животное. Любовь – коренной элемент человека; она есть в нем сразу же, как только рождается человек, вполне и совершенно, и к ней нечего прибавить; ибо любовь находится по ту сторону растущего явления чувственной жизни, и от него не зависит. Только с познанием соединяется эта чувственная жизнь, и только познание возникает и прирастает вместе с этой жизнью. Познание развивается лишь медленно и постепенно, с течением времени. Как же теперь, пока не сложится в познании упорядоченное целое понятий о справедливости и добре, может эта врожденная любовь скоротать эту пору невежества, развиваться и упражняться на опыте? Разумная природа, без всякого нашего содействия, помогла нам одолеть эту трудность. Сознание, которого ребенок не находит в самом себе, представляется ему воплощенным внешне в суждении мира взрослых. Пока в нем самом не разовьется благоразумный судья, некое естественное влечение побуждает его обращаться к этому миру взрослых, и таким образом ему дана совесть вне его, пока не возникнет такая совесть в нем самом. Эту, доныне еще малоизвестную, истину новое воспитание должно будет признать и направить эту присутствующую в питомце без всякого нашего содействия любовь на действительную справедливость. До сих пор этой непосредственностью и детской доверчивостью несовершеннолетних к превосходящему их совершенству взрослых последние пользовались, как правило, во вред самим же несовершеннолетним: именно их невинность, и их естественная вера к нам, взрослым, позволяла нам еще прежде, чем они научались различать добро и зло, внушать им вместо того добра, которого они в душе желали, нашу собственную нравственную порчу, которую они презирали бы, если бы способны были постичь ее.

Именно в этом заключается величайший из проступков, бремя которых лежит на нашей эпохе. Это объясняет нам также и то повседневно встречающееся явление, что человек, как правило, бывает тем дурнее, эгоистичнее, тем более глух ко всем добрым побуждениям, и тем менее годен к любому доброму делу, чем больше лет он прожил на свете, и чем более он удалился поэтому от первых дней невинности, отголосок которых негромко раздаются еще поначалу в немногих смутных предчувствиях добра, на какие он способен. Это же доказывает нам, далее, что нынешнее поколение, если только оно не решится как бы цезурой отделить свою дальнейшую жизнь от прежней, непременно оставит по себе еще более испорченное потомство, а это потомство – и еще более испорченное. О таких людях один почтенный учитель рода человеческого верно говорит, что лучше было бы, если бы им на шею повесили мельничный жернов и утопили их в море, там, где оно всего глубже⁴⁴. Говорить, что человек рождается грешником, – значит пошло клеветать на человеческую природу; если бы это было так, как же могло бы прийти в голову человеку даже только понятие о грехе, которое ведь возможно только в противоположность тому, что не есть грех? Он живет, и становится грешником; и жизнь прежнего человечества была, как правило, непрерывным приростом и преуспеянием в развитии этой греховности.

Сказанное мною показывает нам в новом свете необходимость безотлагательных мер для учреждения действительного воспитания. Если бы только подрастающее юношество могло вырастать без всякого соприкосновения со взрослыми и совершенно без всякого воспитания, то ведь сделать такую попытку всегда возможно, и посмотрим. Что из этого вышло бы. Но, если мы хотя бы только оставляем их в нашем обществе, то воспитание их, помимо всякой нашей воли и желания, совершается само собою; они сами воспитываются, глядя на нас; наш образ жизни навязывается им сам как образец для них, они усердно подражают нам, даже если мы этого не требуем, и они ничего более не желают, кроме того, чтобы стать такими же, каковы мы. Ну а мы, как правило и в огромном нашем большинстве, совершенно превратны в себе, пусть отчасти мы и сами того не знаем и с такой же непосредственностью, как и наши дети, считаем свою превратность подлинной правдой; или, если бы мы даже знали об этом, как могли бы мы, однако, находясь в обществе наших детей, вдруг оставить то, что за долгую жизнь стало нашей второй натурой, и сменить весь наш прежний дух и образ мысли на новый? Соприкасаясь с нами, они должны нравственно испортиться, – это неизбежно; если в нас есть хоть искра любви к ним, мы должны удалить их из нашей заразной своими испарениями атмосферы, и устроить для них более чистое жилище. Мы должны поместить их в общество людей, которые, каковы бы ни были впрочем, усвоили бы себе однако постоянным упражнением и привычкой умение отдавать себе отчет в том, что дети смотрят на них, и способность, держать себя в руках по крайней мере до тех пор, пока дети на них смотрят, и знание того, какими мы должны являться перед нашими детьми; мы не должны отпускать их из этого общества в наше собственное общество прежде, чем они научатся презирать всю свойственную нам внутреннюю порчу, как она того заслуживает, и пока это самое презрение не станет для них надежной защитой от всякой заразы этой нашей порчей.

Вот все, что мы сочли нужным сообщить здесь о нравственном воспитании вообще.

То что дети должны жить вместе, в полном обособлении от взрослых, только со своими учителями и начальниками, – об этом мы уже неоднократно напоминали. Само собою

разумеется без особого нашего замечания, что это воспитание должны получать одинаковым образом дети обоих полов. Отделение полов друг от друга в особые заведения для мальчиков и девочек было бы несообразно с нашей целью, и уничтожило бы многие основные разделы воспитания совершенного человека. Предметы преподавания для обоих полов одни и те же; различие же в выполняемых работах нетрудно соблюсти и при совместности всего остального воспитания. Малое общество, в котором совершается их образование как людей, так же точно, как и большое общество, в которое они вступят некогда готовыми людьми, должно состоять из соединения двух полов; оба пола должны сперва научиться признавать и любить друг в друге общую им человечность, у них должны быть друзья и подруги, прежде чем они обратят свое внимание на различие полов, и станут мужьями и женами. И взаимное отношение полов в целом обществе – сильная духом защита, с одной стороны, любящее содействие, с другой – нужно представить в устройстве нашего воспитательного учреждения и образовать его в питомцах.

Если наше предложение должно когда-нибудь осуществиться на деле, то первое, что необходимо для этого – это начертать закон внутреннего устройства этих воспитательных учреждений. Если только проникнуть как следует мыслью в представленное нами выше основное понятие, то сделать это будет весьма легко, и останавливаться на этом предмете мы не станем.

Главное требование этого нового национального воспитания заключается в том. Чтобы в нем учеба соединялась с трудом, чтобы питомцам, по крайней мере, казалось, что они сами содержат свое заведение, и чтобы в каждом непрестанно поддерживалось сознание необходимости всеми своими силами содействовать достижению этой цели. Этого требует, – еще совершенно безотносительно к цели внешней осуществимости и необходимой при этом экономии, чего, без сомнения, всякий потребует от высказанного нами предложения, – уже и непосредственная задача самого воспитания: отчасти потому, что все, кто прошел только общее национальное воспитание, предназначены к вступлению в трудящиеся сословия, а в воспитание членов этих сословий, несомненно, предполагает и образование из них дельных работников; но особенно потому, что основательная уверенность в том, что мы всегда сможем пробиться на свете своими силами и не нуждаемся в благотворительности других, чтобы найти себе достойное пропитание, составляет неременную основу личной самостоятельности человека и условие его нравственной самостоятельности в гораздо большей мере, чем, кажется, полагали до сих пор. Это образование представит собою другую, и доньше еще? как правило, отдаваемую на произвол слепой случайности, часть воспитания, которую можно было бы назвать экономическим воспитанием, и которую следует рассматривать вовсе не с той ничтожной и ограниченной точки зрения, над которой, под именем «экономии», злорадствуют ныне иные писатели, но с высшей, нравственной точки зрения. В наше время часто утверждают, как некий принцип, стоящий выше любых возражений, что, если вы хотите жить, вы именно должны льстить, пресмыкаться, во всем другим угождать, и что иначе вовсе не годится. Наше время не задумывается о том, что, если бы даже мы из милосердия не ответили ему на это героической, однако совершенно истинной сентенцией, а именно, что, если это действительно так, то оно должно именно не жить, но умереть, – у нас остается еще право заметить, что ему следовало бы научиться жить честно (mit Ehren). Наведите только пообстоятельнее справки о тех людях, которые выделяются в обществе своим бесчестным

поведением, – всегда Вы найдете, что они не учились трудиться или презирают труд, и что они, сверх того, не умеют вести хозяйство. Поэтому питомца нашего воспитания мы обязательно должны приучить к трудолюбию, чтобы он был недоступен искушению совершить несправедливость под влиянием забот о насущном хлебе; мы должны запечатлеть в его душе сознание того, как позорно желать быть обязанным своим пропитанием чему-то, кроме собственного труда.

Песталоцци хотел бы, чтобы питомцев во время учебы заставляли одновременно заниматься всякого рода ручным трудом⁴⁵. Хотя мы не намерены оспаривать самой возможности такого соединения при указанном им условии, чтобы ребенок уже в совершенстве владел навыками ручного труда, – нам кажется, однако, что это его предложение вытекает из скудости его первой цели. По-моему, учение нужно представлять ребенку столь священным и почтенным занятием, что занятие это требует всей полноты внимания и собранности, и его невозможно усвоить наряду с другим каким-нибудь делом. Если в то время года, когда питомцы и без того уже вынуждены оставаться в комнатах, нужно будет им заниматься в рабочие часы такими работами, как вязание, ткачество и т. п., то будет весьма целесообразно, чтобы дух их оставался по-прежнему деятельным, соединять с этими работами совместные упражнения в духовной деятельности под надзором воспитателя. Однако труд в этом случае – главное, и упражнения эти не следует рассматривать как обучение, а только как веселую игру.

Все работы этого низшего рода нужно вообще представлять детям лишь как нечто второстепенное, а вовсе не как главную их работу. Эта главная работа есть труды земледелия, садоводства, скотоводства и тому подобных ремесел, которые нужны в их маленьком государстве. Само собою разумеется, что участие в этом труде, которое вменяется каждому в обязанность, должно быть сообразно свойственной его возрасту физической силе, и что недостаток его сил следует возместить с помощью машин и орудий, которые для этого еще предстоит изобрести. Основным должно быть при этом то соображение, что дети должны, насколько это вообще возможно, понимать все причины и основы того, что они делают, чтобы они уже получили необходимые для выполняемых ими работ знания о зарождении растений, о свойствах и потребностях животного тела, о законах механики. Таким образом отчасти их воспитание само уже станет последовательным уроком того ремесла, которым им предстоит заниматься в будущем, и будет образовывать в непосредственном созерцании деятельного и рассудительного сельского хозяина, отчасти же их механический труд будет уже теперь облагорожен и одухотворен, будет в той же самой степени свидетельством свободного созерцания ими того, что они постигли в понятии, в какой он будет трудом для повседневного пропитания, и даже находясь в обществе животного или клочка своей земли, они все же останутся в границах духовного мира, и не опустятся до животного сами.

Основной закон этого малого экономического государства пусть будет таков, чтобы в нем не допускалось употребление никакого товара в пищу, одежду и т. п., и даже, насколько возможно, никакого орудия, которое не было бы создано и изготовлено в самом этом малом государстве. Если это домохозяйство нуждается в поддержке извне, то ему будут предоставлять предметы в натуральном виде, но только предметы такого же рода, какие есть и в нем самом, причем так, чтобы питомцы не могли узнать, что их собственная

выработка увеличилась, или, где это будет целесообразно, чтобы они получили эти предметы как некий заем, и в определенное время возвратили их. Пусть каждый из них трудится изо всех своих сил для поддержания этой самостоятельности и самодостаточности целого, не вступая однако в расчеты с целым и не притязая для себя лично на какую-нибудь собственность. Пусть каждый знает, что он всем обязан целому, и наслаждается или, если придется, терпит нужду, только вместе с целым. Тем самым мы представим его живому созерцанию честную самостоятельность государства и семьи, в которые однажды он должен будет вступить, и верное отношение, в каком находятся отдельные члены их к семье и государству, и отныне это созерцание неистребимо укоренится в душе нашего питомца.

Здесь, в этом руководстве нашего питомца к механическому труду, воспитание ученых, заложенное в общем национальном воспитании и опирающееся на него, впервые отделяется от этого воспитания, и здесь нам следует поговорить об этом воспитании ученых. Заложенное в общем национальном воспитании воспитание ученых, – сказал я. Будет ли и впредь у всякого, кто только считает свое состояние достаточным, чтобы учиться в университете, или кто по какой бы то ни было причине относит сам себя к одному из прежде бывших высших сословий, возможность беспрепятственно избрать для себя обыкновенный в прежнее время путь воспитания ученых, – это здесь для меня совершенно неважно. Как сможет устоять большинство этих ученых, если только дойдет когда-нибудь дело до действительного национального воспитания, не скажу, против образованного в его новой школе ученого, но даже против вышедшего из школы нового воспитания обычного человека, – покажет опыт. Я же хочу говорить теперь не об этом, а о воспитании ученых при новом способе воспитания.

В принципе этого нового воспитания будущий ученый должен будет так же точно пройти школу общего национального воспитания, и получить вполне и со всею ясностью первую часть этого воспитания, – развитие познавательной способности в ощущении, созерцании и во всем том, что присоединяется к этому последнему. Только мальчику, обнаруживающему особенные дарования к учебе и выдающуюся из посредственного склонность к миру понятий, новое национальное воспитание может позволить избрать для себя ученое сословие; но всякому мальчику, обнаруживающему в себе эти качества, оно должно будет позволить это без всякого исключения и совершенно безотносительно к мнимому различию происхождения. Ибо ученым становятся отнюдь не для собственного удобства; каждый талант к ученым занятиям есть ценное достояние всей нации, и никто не вправе лишать нацию этого достояния.

Назначение неученого человека – в том, чтобы поддерживать своими усилиями род человеческий на той точке образованности, которой он достиг; назначение ученого – согласно ясному понятию и с обдуманном искусством вести род человеческий дальше. Ученый должен всегда опережать свое время в своем понятии, должен постигать будущее и быть в состоянии насадить это будущее в настоящем для дальнейшего его развития. Для этого он должен уметь вполне ясно обозреть умом прежнее состояние мира, иметь свободный навык чистого мышления, независимого от явления, и, чтобы сообщить свое познание другим, должен владеть языком вплоть до самого живого и творческого корня языка. Для всего этого требуется самодеятельность духа без всякого постороннего

руководства, требуются одинокие размышления, в которых и должен поэтому упражняться будущий ученый с той самой минуты, когда он избрал свою профессию; и он отнюдь не должен, подобно неученому, мыслить только под присмотром постоянно пребывающего при нем учителя; для этого требуется множество вспомогательных сведений, которые решительно бесполезны неученому при исполнении его особенного предназначения. Труд ученого и повседневность его жизни будут составлять именно эти одинокие размышления; к этому труду его и следует теперь сразу же направить, освободив его при этом от других механических работ. А поэтому, в то время как воспитание будущего ученого как человека вообще продолжалось бы как прежде в порядке общего национального воспитания, и он присутствовал бы вместе со всеми прочими на уроках, которые имеют решающее значение для этого общего воспитания, только те учебные часы, которые бывают для всех других питомцев часами труда, были бы превращены для него в такие же часы занятий тем, что специально требуется для его будущей профессии; и в этом заключалось бы, следовательно, все различие между ними. Общие сведения о земледелии, других механических искусствах, и необходимые приемы в занятии ими, которые мы предполагаем и в человеке вообще, он, без сомнения, усвоил, еще пребывая в первом классе, а если это даже не так, эти сведения он без труда восполнит впоследствии. Что его, намного менее чем кого-либо другого, позволительно освобождать от введенных в школе физических упражнений, – это понятно само собою. А указание тех особенных учебных предметов, которые составили бы круг обучения ученого, а также метода преподавания, которому при этом нужно следовать, не входит в план этих речей.

Одиннадцатая речь. Кому достанется осуществление этого плана воспитания

План нового немецкого национального воспитания изложен теперь так, что этого изложения для нашей цели достаточно. И первый напрашивающийся теперь вопрос таков: кто должен встать во главе осуществления этого плана, на кого следует при этом рассчитывать, и на кого рассчитывали мы, составляя свой план?

Мы представили Вам выше это воспитание как высшую и, в настоящее время, единственно насущную задачу немецкой любви к отечеству, и мы хотим, через это связующее звено, впервые произвести в мире опыт исправления и пересоздания всего человеческого рода. А эта любовь к отечеству должна воодушевить, прежде всего, немецкое государство, повсюду, где государства правят немцами, – и председательствовать в его собраниях, и быть побуждающей силой всех его решений. Итак, на государство нам и следовало бы сначала обратить полные ожидания взоры. Исполнит ли оно то, чего мы от него с надеждой ожидаем? И какие ожидания можем мы возлагать на это государство, судя по всем прежним событиям – имея в виду, разумеется, не какое-то особенное государство, но только всю Германию в целом?

В Европе новейшего времени воспитание исходило, собственно, не от государства, а от той власти, от которой государства большей частью получали свою собственную власть, – от небесно-духовного царства церкви. Церковь рассматривала себя не столько как элемент земного общежития, сколько как совершенно ему чуждое небесное насаждение, посланное для того, чтобы повсюду, где оно сможет укорениться, вербовать граждан для этого иностранного государства; и воспитание ее было направлено только на то, чтобы в ином мире люди не подпали проклятию, но получили блаженство. Реформация только соединила эту церковную власть, которая впрочем продолжала думать о себе так же, как и раньше, со светской властью, с которой первая прежде находилась нередко даже в открытом споре; в этом и состояло все различие, произошедшее от этого события в указанном отношении. А потому и воззрения на дело воспитания остались прежними. В новейшее время, и до сегодняшнего дня, образование состоятельных сословий также рассматривалось как частное дело родителей, которые могут устраивать его так, как им это будет угодно, а детей этих сословий учили, как правило, только для того, чтобы впоследствии они могли оказаться полезными для себя самих; единственное же публичное воспитание, воспитание народа, было только воспитанием к небесному блаженству; главное, как считали, состояло в

том, чтобы сообщить народу немного христианства и умение читать, а если получится, то и писать, – и то и другое в видах христианского же воспитания. Все прочее развитие людей предоставлялось на откуп случайному и слепому влиянию общества, в котором они росли, и самой действительной жизни. Даже заведения для воспитания ученых были рассчитаны, по преимуществу, на образование духовных лиц; этому служил основной факультет, а все прочие факультеты были всего лишь приложением к нему, и в большинстве случаев он же уступал этим факультетам и часть своих выпускников.

Пока тем, кто стоял во главе земной власти, была неясна подлинная цель этой власти, и пока лично они сами были охвачены той же самой усердной заботой о своем блаженстве и блаженстве других людей, можно было уверенно положиться на их усердие в этом роде публичного воспитания и на серьезность их трудов и усилий по этой части. Но как только они выяснили для себя эту первую цель, и поняли, что сфера деятельности государства находится в пределах зримого мира, им должно было стать с очевидностью ясно и то, что они не могут отныне обременять себя этими заботами о вечном блаженстве их подданных, и что тот, кто хочет получить блаженство, пусть сам и беспокоится о том, как того добиться. Отныне они полагали, что делают вполне достаточно, если только предоставляют учреждения и заведения, возникшие во времена более благочестивые, их первоначальному предназначению; как бы неуместны и недостаточны ни были эти заведения в новую и совершенно переменяющуюся пору, они не считали себя обязанными по собственному почину увеличивать им содержание, экономя на других своих целях, не считали себя вправе деятельно вмешаться и учредить на место негодного старого новое и целесообразное, и на все предложения подобного рода у них всегда был готов один ответ: на это у государства нет денег. Если из этого правила когда-нибудь и делали исключение, то только в пользу высших училищ, блистающих известностью на целый свет и приносящих особую славу своим меценатам; образование же класса, составляющего поистине почву всего рода человеческого, из которой непрестанно получает восполнение высшее образование и на которую оно всегда должно в свою очередь воздействовать, – образование народа, – оставалось в пренебрежении, и со времен Реформации до настоящего времени оно пребывает в состоянии все более глубокого упадка.

Если же в будущем, и даже прямо сейчас, мы хотим надеяться на что-то большее от государства для осуществления нашего плана, то для этого необходимо, чтобы то основное понятие о цели воспитания, которое, похоже, было свойственно до сих пор государству, сменилось у него совершенно иным понятием; чтобы государство сумело понять, что, отказываясь прежде заботиться о вечном блаженстве своих сограждан, оно было совершенно право, потому что для этого блаженства и не нужно какое-то особое образование, а такая школа питомцев для неба, какова церковь, власть которой была в конце концов ему передана, вовсе не существует, стоит поперек дороги всякому дельному образованию и должна быть уволена со службы в отставку; но что образование очень и очень нужно для жизни и для земных дел, и что за основательным воспитанием для этой жизни на земле само собою последует образование для небесной жизни, как легкое дополнение этого первого образования. До сих пор, похоже, чем более просвещенным считало себя государство, тем тверже оно веровало в то, что может достичь своей настоящей цели и без всякой религии и нравственности своих граждан, одними только принудительными мерами, и что в отношении религии и нравственности граждане могут

держаться любых мнений, какие им будет угодно принять. Пусть опыт новейшего времени научит государство по крайней мере хоть тому, что таким путем оно своей цели достичь не может, и что именно из-за недостатка религии и нравственности оно пришло в такое положение, в каком ныне находится.

А что касается его сомнений в том, способно ли будет оно покрывать издержки на национальное воспитание, то пусть удастся нам убедить его, что эта одна статья расхода позволит ему экономичнейшим образом производить большую часть остальных его расходов, и что, если оно возьмет на себя эти одни только эти издержки, в скором времени у него останется только эта одна статья основных расходов. До сих пор самая большая часть доходов государства использовалась на содержание постоянного войска. Результаты такого использования мы видели сами, и этого достаточно; вдаваться здесь подробнее в особенные причины подобных результатов такого устройства войска не входит в план наших речей. А если бы государство ввело повсюду предлагаемое нами национальное воспитание, оно, с того самого момента, когда одно поколение подрастающего юношества прошло бы школу этого воспитания, не нуждалось бы вовсе в особенном войске, – но в этих юношах оно располагало бы войском, какого не видала еще ни одна эпоха истории. Каждый человек обладает в нем совершенством навыка в любом возможном употреблении своей физической силы и сразу же понимает, что должен делать, каждый приучен выносить любое напряжение и любые тяготы жизни, его дух, выросший в непосредственном созерцании, всегда бодр и собран, в его душе живет любовь к тому целому, которого он является членом, к государству и отечеству, и уничтожает любое другое эгоистическое душевное побуждение. Государство может, когда пожелает, позвать их и поставить под ружье, и может быть уверено, что их не одолеет никакой враг. Другая часть расходов, в государствах с мудрым правительством, шла до сих пор на улучшения в государственном хозяйстве, в самом широком смысле слова и во всех его отраслях, и в этом, из-за непонятливости и беспомощности низших сословий, немалые издержки и попечения оказывались напрасными, и повсюду это дело двигалось вперед лишь весьма незначительно. Благодаря нашему воспитанию государство получает трудящиеся сословия, с юных лет привыкшие обдумывать то дело, которым они заняты, а кроме того, способные и склонные уже и сами во всем помогать сами себе; если только государство окажется еще, сверх того, в состоянии умеренными мерами оказать им поддержку, то они поймут его с полуслова и с великой благодарностью воспримут его поучения. В недолгом времени все отрасли хозяйства достигнут процветания, какого не видала еще ни одна эпоха истории, и государству, – если только оно пожелает произвести расчеты, и если до тех пор оно еще, кроме того, имело случай узнать истинную основную ценность вещей, – первые издержки принесут тысячекратные проценты. До сих пор государству приходилось делать немало для судебных и полицейских заведений, и однако оно никак не могло научиться тратить на них достаточно; каторги и исправительные учреждения вводили его в большие расходы, и наконец, заведения для бедноты требовали тем больших издержек, чем больше на них расходовали, и при всем прежнем положении вещей оказывались собственно заведениями, бедняков умножающими. В государстве же, в котором новое воспитание станет всеобщим, заведений первого рода станет намного меньше, а последние исчезнут вовсе. Дисциплина, к которой приучают с ранних лет, избавляет от необходимости применять впоследствии весьма сомнительные меры дисциплины и исправления; бедных же в народе, воспитанном подобным образом, не существует совсем.

Пусть государство и все те, кто дает ему советы, решится пристально взглянуть на свое действительное положение в наше время и признаться в этом положении себе самому; пусть оно живо постигнет, что у него не осталось более решительно никакой другой сферы деятельности, в которой бы оно могло двигаться и что-то решать как подобает действительному государству – изначально и самостоятельно, – кроме только этой сферы – воспитания будущих поколений; что если оно не желает совершенно бездействовать, оно может делать только это; но что и эту заслугу мы в полной мере признаем за ним, нисколько ему в том не завидуя! Что мы уже не в силах оказывать деятельное сопротивление, – это мы предполагали уже и прежде, как нечто для всех очевидное и всеми признанное. Как же мы можем оправдать наше лишившееся оттого всякого смысла существование от упреков в трусости и недостойном жизнелюбии?

Никак иначе не сумеем мы оправдаться, как если решимся жить отныне не для себя самих, и докажем делом эту свою решимость; если сделаемся зерном посева для более достойного потомства, и только ради этого потомства пожелаем сохранить себе жизнь до тех пор, пока выведем в свет это потомство. Что же еще можем мы сделать, утратив ту первую цель своей жизни? Другие напишут за нас наши конституции, другие укажут нам, с кем заключать нам союзы и как применять наши вооруженные силы, другие ссудят нам на время и свод законов, нас даже лишат порой и права вершить суд, выносить приговор и приводить его в исполнение; от всех этих забот мы на ближайшее будущее будем совершенно избавлены. Не подумали они только о воспитании; если мы ищем, чем нам заняться, то давайте займемся этим! Следует ожидать, что заниматься этим нам не помешают. Я надеюсь, – быть может, я заблуждаюсь даже и в этой надежде, но, поскольку я еще могу жить лишь ради этой надежды, то и не могу оставить эту надежду, – я надеюсь, что смогу убедить некоторых немцев и помочь им понять, что одно только воспитание может спасти нас от всех тех бедствий, что тяготуют над нами. Я рассчитываю в особенности на то, что общая беда сделала нас более склонными к наблюдательности и к серьезному размышлению. У заграницы иное утешение и иные средства; не приходится ожидать, чтобы она уделила какое-то внимание или хоть несколько поверила этой мысли, если бы когда-нибудь эта мысль могла прийти ей на ум; более того, я надеюсь, что эта мысль станет тогда лишь богатым источником шуток и потехи для читателей заграничных журналов, если они услышат когда-нибудь, что кто-то ожидает от воспитания столь важных последствий.

Пусть государство и те, кто дает ему советы, не замедлят приняться за решение этой задачи, полагая, что мы еще очень далеки от желанного успеха. Если мы захотим отделить, среди многочисленных и весьма запутанных причин нашей теперешней участи, то, что единственно и поистине составляет долг правительств, то мы найдем, что эти правительства, которые более всех других обязаны вглядываться в будущее и господствовать над ним, под натиском великих событий нашего времени всякий раз пытались только выбраться, как умели, из непосредственного насущного затруднения; а в отношении будущего рассчитывали не на свое настоящее, а на какой-нибудь счастливый случай, который как бы разрубит непрерывную цепь причин и следствий. Но подобные надежды всегда обманчивы. Побудительная сила, которую мы однажды внедрились в свою эпоху, продолжает действовать, и свершает свой путь, и если однажды мы допустим оплошность, то ее запоздалое осознание уже не поможет отменить ее последствий. От первой возможности – думать только о настоящем – судьба нас, на первое время по крайней

мере, избавила; настоящее принадлежит нам. Пусть же не останется в нас отныне и второго, пусть не станем мы ожидать себе лучшего будущего от чего-то, кроме нас самих. Хотя никого из нас, кому для жизни нужно еще что-то кроме пропитания, наше настоящее не может утешить и утвердить нас в обязанности жить; лишь надежда на лучшее будущее есть тот воздух, которым мы еще можем дышать. Но только пустой мечтатель может основать эту надежду на чем-то ином, кроме того, что сам он может вложить в настоящее, чтобы из него и развилось будущее. Пусть те, кто правит нами, позволят нам думать о них так же хорошо, как думаем мы в своем кругу друг о друге, и какими чувствуют себя лучшие люди; пусть они встанут во главе этого, вполне ясного и нам, дела будущего, чтобы мы еще своими глазами увидели, как возникнет то, что сотрет некогда из нашей памяти тот позор, что был причинен на наших глазах самому имени немца!

Если государство возьмется за решение предлагаемой ему задачи, то оно сделает это воспитание всеобщим, на всей его территории, для всякого рождающегося в нем гражданина без всякого исключения; и только для этой всеобщности воспитания нам и нужно государство, ибо для того, чтобы предпринять то тут, то там, отдельные опыты и начальные шаги к такому воспитанию, достаточно будет, по-видимому, и силы благонамеренных частных лиц. Не следует, впрочем, ожидать, что родители всегда будут готовы расстаться со своими детьми и вверить их этому новому воспитанию, о котором им непросто будет внушить какое-нибудь определенное понятие; но, как показывает прежний опыт, нужно быть готовым, скорее, к тому, что каждый, кто считает свое состояние достаточным для того, чтобы прокормить своих детей у себя дома, будет противиться публичному воспитанию, и особенно столь резко отделяющему детей от родителей и столь продолжительному воспитанию. В подобных случаях, когда приходится ожидать неповиновения, мы до сих пор видим обыкновенно, что государственные мужи отклоняют такое предложение, и отвечают, что применить силу для этой цели государство не имеет права. И вот потому, что они желают подождать, пока все люди вообще обнаружат к тому добрую волю, а без воспитания всеобщая добрая воля никак возникнуть не может, это самое ожидание послужит им защитой от любых улучшений, и они могут надеяться, что все останется как было до конца времен. Если говорят это такие люди, которые или вообще считают воспитание некоей ненужной роскошью, в отношении которой следует вести дела с возможно большей бережливостью, или же усматривают в нашем предложении только новый рискованный опыт исправления человечества, который может удалиться, а может и не удалиться, – их добросовестность заслуживает всяческих похвал. От таких же людей, которых охватывает восхищение при виде прежнего состояния публичного образования, и восторг от сознания, до каких высот совершенства поднялось это образование под их руководством, и подавно никак нельзя требовать, чтобы они обратили свой взгляд на что-то такое, чего они и прежде не знали бы; со всеми таким людьми ничего невозможно сделать для нашей цели, и было бы очень жаль, если бы именно им досталось принимать решение об этом деле. Но пусть найдутся, и пусть будут призваны на совет об этом вопросе, государственные мужи, которые, прежде всего, воспитали себя сами глубоким и основательным изучением философии и науки вообще, которые с полной серьезностью относятся к своему занятию, которые составили себе твердые понятия о человеке и его назначении, которые способны понимать настоящее и постигать, что, собственно, настоятельно необходимо ныне человечеству; если бы эти люди и сами постигли на основе упомянутых мною предварительных понятий, что одно только воспитание может спасти нас от неудержимо

надвигающегося на нас варварства и одичания, если бы предносился им образ нового поколения людей, какое возникло бы в школе этого воспитания, если бы сами они были искренне убеждены в непогрешимости и верности предложенных здесь мною средств: то от них мы могли бы ожидать и понимания того, что государство, как верховный распорядитель человеческих дел, и как опекун несовершеннолетних, дающий ответ за них только перед Богом и перед своей совестью, имеет полное право даже и принуждать этих несовершеннолетних для собственной их пользы. Где в наше время такое государство, которое сомневалось бы в том, имеет ли оно право принудить своих подданных нести военную службу, а для этой цели забрать детей у их родителей, желают ли того родители, или дети, или и те и другие вместе, или же нет? И однако это принуждение, заставляющее детей избрать против собственной воли и надолго некий образ жизни, гораздо сомнительнее первого, и имеет часто самые вредные последствия для нравственного состояния, для здоровья и жизни принуждаемых; а то принуждение, о котором мы ведем речь, возвращает человеку по завершении воспитания всю полноту личной свободы, и может иметь только самые благотворные последствия. Правда, прежде и несение военной службы предоставляли свободной воле человека; но когда оказалось, что для поставленной цели этой свободной воли недостаточно, не колеблясь решено было помочь делу принуждением; потому что самое это дело было достаточно важно для нас, и крайность положения требовала прибегнуть к принуждению. Пусть же и в этом отношении у нас откроются глаза, чтобы увидели мы нашу крайнюю нужду, и пусть этот предмет станет столь же важен для нас. тогда и эти колебания исчезнут сами собою; потому что ведь это воспитание, – тем более что и принуждение понадобится нам только в этом первом поколении, а в следующих поколениях, которые сами прошли уже школу этого воспитания, оно станет излишним, – отменяет и надобность в принуждении к военной службе, ибо все его воспитанники будут равно готовы защищать отечество с оружием в руках. Если же пожелают, для того чтобы поначалу не слишком много было крика, ограничить это принуждение к публичному национальному воспитанию таким же точно образом, как ограничивали до сих пор принуждение к военной службе, и сделать исключение для сословий, освобожденных от военной службы, также и в этом отношении, то сколько-нибудь значительного вреда от этого не последует. Благоразумные родители в сословиях, освобожденных от этого воспитания, добровольно передадут своих детей в ведение этого воспитания; пусть даже, немногочисленные сравнительно с целым, дети неблагоразумных детей из этих сословий подрастают по-прежнему и доживут до лучшей эпохи, которую оно должно создать, – они сгодятся в ней только на то, чтобы служить диковинным воспоминанием о прежнем времени и дать новому времени живое сознание того, насколько оно его счастливее.

И если это воспитание должно быть национальным воспитанием немцев вообще, если огромное большинство всех говорящих на немецком языке, а не отнюдь не только граждане того или иного особенного немецкого государства, должно явиться перед нами, как новое племя людей, то к решению этой задачи должны приступить все немецкие государства, каждое само по себе и независимо от всех прочих. Язык, на котором впервые была высказана самая мысль об этой задаче, на котором составлены и будут составляться в дальнейшем подспорья для ее решения, на котором практикуются учителя для нее, и проходящий через все это единый символический метод, – все это у всех немцев общее. Я с трудом могу даже представить, как, с помощью каких перемен, все эти средства

образования вместе взятые, особенно же в той обширности, какую мы придали нашему плану образования, можно было бы перевести на какой бы то ни было заграничный язык, так, чтобы и тогда они показались за границе не какой-то чужой и переводной вещью, но своим родным сочинением, возникающим из собственной жизни ее же языка. Но для немцев – для всех в равной мере – этой трудности не существует; для них это дело готовое, и им стоит только приняться за его исполнение.

И благо нам при этом, что еще есть различные и отделенные друг от друга немецкие государства! То, что так часто бывало для нас неблагоприятно, в этом важном деле нации послужит, быть может, даже к нашей выгоде. Быть может, ревность многих к подражанию и стремление опередить других сделают то, чего не могло бы создать спокойное самодовольство одного; ибо ясно, что то из немецких государств, которое положит начало в этом деле, приобретет преимущественную благодарность, любовь, уважение целого, что оно явится тогда высшим благодетелем и подлинным основателем немецкой нации. Оно придаст смелости всем остальным, даст им поучительный пример, и станет образцом для них; оно устранил колебания и сомнения, которые удерживают других; из его недр появятся учебники, и первые учителя этого воспитания, и оно предоставит их взаймы всем другим; и кто вторым пойдет по его стопам, тот будет вторым в славе. В утешительное для всех нас свидетельство того, что чуткость к высшим началам среди немцев никогда еще не умирала вполне, многие немецкие племена и государства доныне оспаривали друг у друга славу обладания большей образованностью; одни указывали у себя на более обширную свободу печати, свободу стать выше установившихся мнений, другие – на лучшее устройство у них школ и университетов, третьи – на прежнюю свою славу и заслуги, четвертые – на что-нибудь еще, и решить этот спор не было никакой возможности. Благодаря тому, о чем мы говорим теперь, этот спор решится окончательно. Только то образование, которое стремится и осмеливается сделаться всеобщим и охватить всех людей без различия, только оно есть действительный элемент жизни и уверено в самом себе. Всякое же другое есть лишь чуждая прибавка, которую одевают лишь для большей пышности костюма, и которую не могут даже носить со вполне спокойною совестью. При этом случае непременно выяснится, где образованность, которой так хвалятся, присуща лишь немногим людям среднего сословия, излагающих эту свою образованность в сочинениях – а такие люди найдутся во всех немецких государствах; а где эта образованность достигла и высших сословий, служащих государству своими советами. Тогда мы увидим также, как нам следует расценивать проявляемое государствами там и тут усердие к учреждению и процветанию высших училищ, и побуждала ли их к этому усердию чистая любовь к образованию людей, которая ведь принялась бы в таком случае с равным усердием за всякую отрасль этого образованию и особенно за самую первооснову его, или же только жажда блеска, а может быть, и убогие финансовые спекуляции.

Какое из немецких государств первым осуществит это предложение, то государство приобретет этим наибольшую славу, сказал я сейчас. Но, далее, это немецкое государство недолго останется в одиночестве, – вскоре, без всякого сомнения, оно найдет себе последователей и подражателей. Главное – только положить начало. Если не что-нибудь другое, то чувство чести, ревность к сопернику, жажда заполучить и себе то, что есть у другого, и если возможно, получить еще и лучшее того, побудят государства, одно за другим, последовать этому примеру. А тогда станет еще очевиднее, подтвердившись в

живом созерцании, и истина изложенных нами выше соображений о выгоде государства, которые теперь, может быть, представляются иным сомнительными.

Если бы мы могли ожидать, что немедленно с этой же минуты все немецкие государства примут серьезные меры для осуществления этого плана, то уже через двадцать пять лет могло бы явиться перед нами то лучшее поколение людей, которое нам теперь нужно, и тот, кто мог бы надеяться дожить до той поры, мог бы надеяться также увидеть его своими глазами.

Но если, – а мы ведь должны, разумеется, принять к сведению и такую возможность, – если из всех существующих ныне немецких государств нет ни одного, среди высших советников которого нашелся бы человек, способный понять все предшествующее и всей душой проникнуться этим познанием, и в котором бы большинство его советников, по крайней мере, не воспротивилась бы воле этого одного, – то, конечно, исполнение этого дела досталось бы на долю благонамеренным частным лицам, и тогда нужно было бы желать, чтобы они положили начало введению предложенного мною нового воспитания. При этом мы имеем в виду прежде всего крупных помещиков, которые могли бы учредить в своих поместьях подобного рода воспитательные учреждения для детей своих подданных. Славу и весьма почтенное отличие Германии среди всех прочих наций новейшей Европы составляет то, что в ней, в названном только что сословии, всегда и всюду было немало таких людей, которые всерьез предавались заботам об обучении и образовании детей из своих имений и которые рады были сделать для этого все лучшее, что могли. Нужно надеяться, что они и теперь обнаружат склонность научиться излагаемому пред ними совершенству и столь же охотно делать великие и радикальные дела, с какой делали они до сих пор дела малые и неполные. Правда, этому порой содействует, возможно, понимание того, что им же самым выгоднее иметь образованных подданных, нежели необразованных. А там, где государство, уничтожив самое состояние подданства, лишило их этого последнего побуждения, – там пусть оно тем настоятельнее ощутит свой безусловный долг, и не уничтожит вместе с тем того единственного блага, которое в мнении благомыслящих людей связано было с этим состоянием, и пусть оно в этом случае не преминет сделать то, что и так уже составляет его непременную обязанность, после того как оно уволило от исполнения этого дела тех, кто прежде исполнял его добровольно вместо него. Далее, в городах мы устремляем свои взоры на добровольные объединения благонамеренных граждан, имеющие в виду достижение этой цели. Насколько можно видеть ныне, душевная склонность благотворить, при всех тяготах нужды, все еще не угасла в немецкой душе. Однако, из-за целого ряда недостатков в наших учреждениях, которые можно охватить одним общим именем запущенного воспитания, эта благотворительность лишь очень редко действительно помогает одолеть нужду, а часто, кажется, лишь умножает ее. Пусть же эта замечательная склонность обратится наконец по преимуществу к такому доброму делу, которое покончит со всякой нуждой и со всякой потребностью в благотворительности на будущее время – доброму делу воспитания. Но нам нужно еще, и мы на него рассчитываем, благодеяние и пожертвование иного рода, заключающееся не в подаении, но в действии и созидании. Пусть будущие ученые, которым позволяет их положение, посвятят то время, что остается у них между университетом и поступлением в государственную должность, тому, чтобы научиться в этих заведениях указанному нами способу преподавания и самим преподавать в них! Помимо того, что это будет немалой заслугой перед всем обществом,

можно заверить их еще и в том, что сами они получают от этого величайшую пользу. Все знания, которые они нередко выносят из обычного университетского курса, как мертвый багаж, приобретут в той стихии всеобщего созерцания, в которую они вступят здесь, ясность и живость, они научатся умело передавать и применять их, они приобретут для себя целую сокровищницу истинного знания людей, которое одно достойно этого имени, – ведь в ребенке мы видим перед собою всю полноту открытой и невинной человечности, – они получают урок великого искусства жизни и деятельности, для которого высшая школа, как правило, не дает никаких наставлений.

Если государство пройдет мимо предлагаемой ему задачи, тем более славы частным лицам, которые возьмутся за ее решение. Мы далеки от желания предвосхищать будущее беспочвенными предположениями или сами задавать тон сомнению и неуверенности; чего мы прежде всего желали бы, мы высказали достаточно внятно. Да будет нам позволено сделать лишь одно замечание: что, если бы действительно случилось так, что государство и князя предоставили это дело частным лицам, то это было бы в совершенном согласии с прежним ходом немецкого развития и образования, как мы уже описали его выше и доказали на примерах, и тогда это развитие шло бы так же точно до самого конца. Государство и в этом случае последует, в свое время, их примеру, поначалу как человек, который просто хочет сделать приходящийся на его долю вклад в общее дело, пока впоследствии оно не сообразит наконец, что оно вовсе не часть, а целое, и что заботиться о нуждах целого оно не только обязано, но и вправе. С этой минуты отпадает надобность в каких-либо самостоятельных усилиях частных лиц, и эти усилия подчиняются общему плану государства.

Если дело примет такой оборот, то предполагаемое нами исправление человеческого рода двинется вперед, пусть и медленно, и не имея возможности уверенно и твердо обозреть и точно предсказывать ход целого. Но пусть эти оговорки не помешают нам смело положить начало этому движению! Дело это по самой своей природе не может погибнуть совершенно, но будучи раз начато, станет жить отныне собственной жизнью, и распространяться все дальше и дальше. Каждый человек, прошедший школу этого образования, будет свидетелем в его пользу и усердным его распространителем; каждый получит свою награду за усвоенное им учение, сам становясь учителем и обучая столько учеников – которые и сами будут некогда учителями – сколько в его силах. И так необходимо продолжается до тех самых пор, пока новое воспитание не охватит все целое, без всякого исключения.

В случае, если государство за это дело не возьмется, частным предпринимателям нужно опасаться того, что все хоть сколько-нибудь состоятельные родители не станут отдавать этому воспитанию своих детей. Обратитесь тогда, во имя Бога, и с полной верой, к бедным сиротам, к нищим, лежащим на дорогах, ко всем тем, кого взрослое человечество изгнало, оттолкнуло и не удостоило своего внимания! Как прежде, особенно в тех немецких государствах, где благочестие предков весьма умножило публичные воспитательные заведения и щедро наделило их всем необходимым, многие родители давали своим детям образование, потому что с образованием, как ни в каком другом ремесле, они всегда нашли бы себе средства к жизни, – так давайте теперь, но только поневоле, поступим наоборот, и дадим хлеб тем, кому никто другой не даст хлеба, чтобы вместе с хлебом они усвоили себе и образование духа. Да не испугаемся мы того, что нищета и одичание их прежнего состояния

станет помехой исполнению нашего замысла! Давайте только вдруг и совершенно вырвем их из этого прежнего состояния и введем их в совершенно новый мир, давайте не оставим в них ничего такого, что могло бы напоминать им о прежних днях; тогда они забудут сами себя и явятся пред нами новыми, только что созданными существами. А в том, что на этих свежих и чистых досках мы станем вырезать только добрые слова, нам будет порукой наш метод обучения и внутренний порядок нашего заведения. И будет весомым свидетельством о нашем времени и предостережением для всех последующих эпох, если именно тем, кого наше время изгнало из своей среды, одно лишь это их изгнанничество даст привилегию начать собою поколение новых, лучших людей; если эти люди принесут спасительное образование детям тех, кто не желал даже жить с ними рядом, и станут предками наших будущих героев, мудрецов, законодателей, спасителей человечества.

Для первого учреждения такого заведения требуются, прежде всего, пригодные к делу учителя и воспитатели. Таких учителей подготовила школа Песталоцци, и всегда готова образовать их еще больше. Поначалу главное внимание придется обращать на то, чтобы каждое заведение подобного рода рассматривало себя в то же время как питомник для учителей, и чтобы кроме уже выучившихся учителей вокруг них собиралось известное число молодых людей, которые одновременно и учатся преподаванию и преподают сами, и в действительном исполнении научаются делать это все лучше и лучше. Это весьма облегчит также содержание самих учителей, даже если поначалу этим заведениям придется бороться со скудостью средств. Ведь большинство этих молодых людей пришли сюда затем, чтобы научиться сами; а за это пусть какое-то время они, без всякого дальнейшего вознаграждения, применяют то, чему научились, в пользу того заведения, где они этому научились.

Кроме того, заведению нужна будет крыша над головой, первоначальное обустройство и достаточный участок земли. Что по мере дальнейшего развития таких учреждений, когда в них будет находиться сравнительно большое число уже подрастающих юношей в том возрасте, когда, как было заведено до сих пор, они получали не только содержание, но и годовое жалование, как посыльные, они станут передавать эти свои заработки юношам более нежного возраста, и что при том трудолюбии и мудром ведении хозяйства, которое и так уже будет нужно этим новым заведениям, эти заведения смогут, по большей части, содержать себя сами, – это, мне кажется, очевидно. А теперь, поначалу, пока еще не появились в них питомцы первого рода, им потребуются значительные субсидии. Нужно надеяться, что люди с большей охотой согласятся помочь, видя плоды своей помощи.

Да не будет у нас места бережливости, если она вредит цели нашего дела; и чем позволять себе быть в этом смысле бережливыми, нам гораздо лучше будет вовсе ничего не делать.

А потому я убежден, что, будь у нас только добрая воля, осуществление этого плана не представит никакой трудности, которую бы не могли без труда одолеть объединенные труды многих людей и устремление сил всех этих людей к этой единой цели.

Двенадцатая речь. О средствах для нас сохранить себя до осуществления этого плана

То воспитание, которое мы предлагаем немцам для их будущего национального воспитания, описано нами теперь более чем достаточно. Если только явится однажды нашим глазам то поколение, что будет образовано в школе этого воспитания, – это поколение, побуждаемое к действию единственно лишь присущим ему вкусом к справедливости и добру, и решительно ничем более, – это поколение, наделенное рассудком, который всегда достаточно верно для той точки, с которой смотрит на дело, познает истинную справедливость, – это поколение, которому дана любая духовная и физическая сила, чтобы всегда осуществить желаемое в действительности, – то все, чего мы только можем хотеть в самых смелых своих пожеланиях, само собою последует из одного его бытия, и вырастет из него совершенно естественно. Это время несколько не нуждается в наших предписаниях, – скорее, это нам придется у него поучиться.

Поскольку же это поколение пока еще не существует, но только должно быть воспитано, и даже, если все дело этого воспитания, сверх наших ожиданий, пойдет прекрасно, нам все-таки понадобится известный промежуток времени, чтобы достичь этого времени, – возникает следующий вопрос: Как же нам следует провести даже и этот один промежуток? Как, раз уж не можем мы сделать ничего лучше, сохранить нам это время себя самих, по крайней мере, как почву, на которой может произойти улучшение, как исходный пункт, с которого оно может начаться? Как сделать нам так, чтобы, если явится к нам однажды из уединения школ это образованное по-новому поколение, оно не нашло бы в нас действительности, несколько не сродной тому порядку вещей, который оно признает справедливым, действительности, где никто не понимает этой справедливости и не питает ни малейшего желания или потребности подобного порядка вещей, но считает совершенно естественным и единственно возможным то, что есть? Не сойдут ли вскоре с ума эти люди, носящие в груди тайну иного мира, и не пройдет ли тогда и новое образование так же

бесследно и бесполезно для улучшения действительной жизни, как бесполезно было для него образование прежде?

Если большинство людей будет и дальше жить столь же беспечно, бездумно и рассеянно, как жило оно прежде, то именно этого, как необходимого последствия, и нужно ожидать нам. Кто позволяет себе идти, не внимая себе самому, и позволяет обстоятельствам придавать ему облик, какой им будет угодно, тот в скором времени привыкает к любому порядку вещей. Как бы ни оскорбляло что-нибудь его глаз, когда он заметил это впервые, но пусть только это повторяется на глазах его таким же точно образом каждый день, и он привыкнет, а потом найдет, что это естественно и что так и следовало быть, и наконец даже полюбит это; и если вы восстановите его в первом, лучшем, состоянии, то окажете тем ему дурную услугу, потому что это вырвет его из привычного для него отныне образа бытия. Таким образом человек привыкает даже к рабству, если только это рабство не причиняет ущерба его чувственному существованию, а со временем даже и любит свое рабство; а это и есть самое опасное в подчинении – то, что оно притупляет наше чувство подлинной чести и к тому же имеет для ленивого и весьма приятную сторону, избавляя его от многих забот и от тягостной необходимости то и дело мыслить самому.

Давайте же бдительно остерегаться, чтобы не застала нас врасплох эта сладость услужения, потому что она лишит даже наших потомков надежды на будущее освобождение. Если нашу внешнюю деятельность сдерживают тягостные оковы, то пусть тем смелее возносится ввысь наш дух, постигая идею свободы, чтобы жить в этой идее, чтобы хотеть и желать только этого одного. Пусть свобода исчезнет на какое-то время из зримого мира; дадим же ей пристанище в сокровенной глубине наших мыслей, пока не вырастет вокруг нас новый мир, у которого будет достаточно силы, чтобы воплотить эти мысли также и во внешней действительности. Станем же отныне, в том, что без всякого сомнения должно быть по-прежнему предоставлено нашему свободному усмотрению, – в нашей душе, – прообразом, прорицанием, залогом того, что обретет действительность после нас. Пусть только не склонится, не подчинится, не будет брошен в темницу и дух наш. вместе с телом!

Если меня спросят, как этого можно достичь, то на это есть только один ответ, который все в себе заключает: мы должны немедленно стать тем, чем нам и так следует быть, – немцами. Мы не должны подчиняться духом: значит, нам прежде всего нужно именно приобрести некий дух, дух твердый и уверенный; мы должны стать серьезными во всем, и не влачить существование просто из легкомыслия и как бы только в шутку; мы должны составить себе убедительные и неколебимые принципы, которые послужат твердой путеводной нитью всей прочей нашей мысли и нашим действиям, жизнь и мысль должны слиться у нас в единство, и быть отныне сплоченным и прочным целым; мы должны стать в жизни, как и в мысли, согласны с природой и истиной, и отбросить прочь чуждые нам фокусы; если сказать все одним словом – мы должны усвоить себе характер. Потому что иметь характер и быть немцем – это, без сомнения, одно и то же, и этот предмет не имеет для себя особенного названия на нашем языке, потому что он именно должен непосредственно, без всякого нашего знания и осмысления, происходить из самого нашего бытия.

Мы должны, прежде всего, собственным движением наших мыслей обдумать великие события наших дней, их отношение к нам и то, чего мы можем ожидать от них, составить себе ясный и твердый взгляд на все эти предметы, и сказать решительное «да» или «нет» на все принадлежащие сюда вопросы. Это должен сделать всякий, кто притязает быть хоть немного образованным. Животная жизнь человека во все эпохи протекает по одним и тем же законам, и в этом всякое время подобно другому. Различные времена существуют только для рассудка, и лишь тот, кто проникает их в понятия, переживает их сам и существует в этом своем времени; всякая иная жизнь есть лишь животная и растительная жизнь. Не замечать, как проходит мимо нас все, что совершается в жизни, и даже с намерением закрывать глаза и затыкать уши перед напором происходящего, и тем более хвалиться этим безмыслием как величайшей мудростью, – это прилично разве скале, об которую нечувствительно для нее самой плещут волны прибоя, или стволу дерева, которое неприметно для него самого рвет и ломает буря, но только не мыслящему существу. – Даже парение в высших сферах мышления не избавляет нас от всеобщей обязанности – понимать свое время. Все высшее непременно должно желать вмешаться по-своему в непосредственно настоящее, и кто поистине живет в этом высшем, живет в то же самое время и в своей современности, а если бы не жил в этой последней, то доказал бы тем самым, что и в высших сферах он не живет, и что в них он только грезит. Подобное невнимание к тому, что происходит на наших глазах, и деланное устремление внимания – если уж оно в нас появится – на другие предметы, – именно это больше всего желал бы встретить в нас враг нашей самостоятельности. Если он будет вполне уверен, что мы ничего не подумаем про себя, чего бы ни увидели, то оно именно сможет сделать с нами, как с безжизненными орудиями, все, что пожелает. Именно безмыслие привыкает ко всему: но где остается всегда бодрой ясная и объемлющая мысль, и в этой мысли – образ того, что должно быть, там не будет места тупой привычке.

Эти речи приглашают вначале Вас, и пригласят всю немецкую нацию – насколько возможно в настоящее время собрать ее вокруг себя, издавая книги, – принять в самих себе твердое решение, и договориться с самими собою относительно следующих вопросов: 1) верно ли, или неверно, что существует немецкая нация, и что ее существованию, в своеобразной и самостоятельной сущности этой нации, ныне угрожает опасность? 2) стоит или не стоит труда сохранять эту нацию? 3) есть ли какое-нибудь надежное и радикальное средство сохранить ее, и что это за средство?

Прежде у нас обыкновенно бывало так, что если раздавалось среди нас какое-нибудь серьезное слово, устно или в печати, им сразу овладевала обыденная болтовня и превращала его в забавный предмет разговоров, назначенных развлечь ее тягостную скуку. Ныне я не замечал, – рядом со мной по крайней мере, чтобы мои теперешние речи кто-нибудь использовал таким же образом, как я видел это прежде; к мимолетным же настроениям и суждениям светских собраний на почве книгопечатания, я имею в виду, литературных газет и прочей журналистики, я вовсе не прислушивался и не знаю, ожидать ли от них серьезной критики или шуток. Как бы там ни было, я сам, по крайней мере, не собирался шутить и тем вновь расшевелить остроумие, столь свойственное, как известно, нашей эпохе.

Еще глубже укоренился у немцев, так что стал почти их второй натурой и противоположное этому было бы неслыханной новостью, обычай рассматривать все, что кто-нибудь предлагает на суд публики, как случай для всякого, у кого есть язык, чтобы говорить, поскорее и немедленно сказать об этом предмете и свое слово и сообщить нам, согласен ли он во мнении с автором или нет; а после этой подачи голосов дело считается решенным, и публичная беседа спешит обратиться к другому предмету. Таким образом все литературное обхождение у немцев, как нимфа Эхо в древней басне, превратилось просто в чистый бесплотный звук, лишенный содержания телесности. И как личное обхождение в известных обществах, так и литературное это обхождение требовало только того, чтобы голос человеческий звучал, не умолкая, и чтобы каждый мог без заминки уловить сказанное слово и перекинуть соседу, и вовсе не было важно то, что это было за слово. Что, если не это, назовем мы бесхарактерностью и забвением немецкой сущности? Почтить этот обычай, и просто поддержать своей речью салонную беседу, также не входило в мои намерения. Свою долю участия в этой салонной беседе, и именно желая при том чего-то совершенно иного, я давно уже исполнил достаточно добросовестно, и меня могли бы наконец избавить от таких подозрений. Я не желаю знать немедленно, как тот или иной человек мыслит о затронутых мною вопросах, то есть как он мыслит или не мыслит об этом до сих пор. Он должен рассудить и продумать все это в самом себе, пока не получится у него готового и вполне ясного суждения, и уделить этому столько времени, сколько потребуется; а если он еще не имеет для этого предварительных сведений в должном объеме, и не достиг вполне той степени образования, которая необходима, чтобы высказать суждение в этих делах, то пусть он уделит какое-то время и для того, чтобы приобрести эти познания и образование. Если у него есть готовое и ясное таким именно образом суждение, то мы вовсе не требуем объявлять его гласно. Если это суждение согласно с тем, что мы сказали здесь, то это именно уже сказано, и нет нужды говорить это еще раз; мы призываем говорить лишь того, кто может сказать что-то другое и лучшее. Но каждый, во всяком случае, должен действительно жить и действовать по-своему с этим суждением соответственно своему положению.

И наконец, менее всего собирался я представить этими речами нашим немецким мастерам литературы и профессуры возможность поупражняться в разборе сочинений, чтобы они исправили мои речи, а я мог узнать от них при этом случае, чего можно от меня ожидать в будущем. В этом отношении мне также делали уже немало благих поучений и добрых советов, и уже сейчас должно было бы выясниться, можно ли вообще надеяться на мое исправление.

Нет, мое намерение заключалось прежде всего в том, чтобы из тучи вопросов и изысканий, и из толпы противоречивых мнений об этих вопросах, в которой металась до сих пор образованные люди в нашем обществе, привести столько людей, сколько сумею, к одной точке, где бы они могли устоять перед самими собою, и притом к точке, которая нам ближе всего, – к нашим собственным общим задачам; привести их в этой общей точке к твердому мнению, которое осталось бы отныне непоколебимо, и к ясности, с которой бы они действительно могли ориентироваться в жизни; соединить их единомысленной мыслью по крайней мере в этом одном, о скольких бы других вещах они ни спорили между собою, – и таким образом наконец восстановить в них ту основную черту настоящего немца, что он ценит саму возможность составить себе мнение о немецких делах; а того, кто не желает

ничего слышать и думать об этом предмете, мы могли бы отныне считать с полным правом посторонним для нас человеком.

Создание подобного твердого мнения, и соединение и взаимное понимание многих об этом предмете, будучи и непосредственно спасением нашего характера из теперешней, недостойной нас самих, расплывчатости, станет также мощным средством для достижения нашей главной цели – для введения немецкого национального воспитания. Потому в особенности, что мы сами, и каждый по себе, и все вместе, никогда не знали согласия, хотели сегодня того, а завтра – другого, и каждый, в неясном шуме голосов, знай кричал только что-то свое и непохожее, – все наши правительства (которые, правда прислушивались к нашим голосам, и часто даже более, чем бы следовало) были так же точно сбиты с толку и без конца колебались в решениях, как и наши мнения. Если наконец наши общие дела должны пойти вперед твердо и уверенно, то что же мешает нам начать хотя бы с себя самих и показать в самих себе пример решительности и твердости? Пусть только мы услышим однажды согласное и неизменное мнение, пусть только даст о себе знать решительная потребность, заявляющая о себе как всеобщая – та самая, предполагаемая нами потребность национального воспитания, – я убежден, правительства услышат нас, они помогут нам, если только мы обнаружим склонность к тому, чтобы нас призвали на помощь. По крайней мере, только тогда мы, в противном случае, будем вправе жаловаться на эти правительства; теперь же, когда наши правительства приблизительно таковы и есть, какими мы хотим, чтобы они были, жаловаться на них нам просто неприлично.

Существует ли надежное и радикальное средство для сохранения немецкой нации, и что это за средство, – вот самый значительный из тех вопросов, который я предложил здесь этой нации на решение. Я ответил на этот вопрос, и изложил причины, в силу которых я именно так на него отвечаю, – отнюдь не затем, чтобы предписать всем окончательное суждение, ибо от этого не может быть никакого толка, – ведь каждый, кто обязан приложить руку к этому делу, должен убедиться в истине слова в своей собственной душе и на собственной своей деятельности, – но только затем, чтобы побудить каждого самостоятельно размышлять и иметь собственное суждение о предмете. Отныне мне придется предоставить каждого себе самому. Я могу только предупредить еще? чтобы мы не давали вводить себя в заблуждение тем плоским и поверхностным мыслям, которые имеют хождение в обществе об этом предмете, не позволяли отвлечь себя от серьезного размышления и не довольствовались ничтожными утешениями.

К примеру, еще задолго до последних событий, приходилось нам слышать, как будто это говорилось впрок на будущее, и с тех пор это нередко повторяли, – что, хотя наша политическая самостоятельность утрачена, мы сохранили все же наш язык и нашу литературу, и что в языке и литературе мы всегда останемся единой нацией, и что это легко может служить нам утешением во всех прочих наших бедах.

Но на чем же, прежде всего, основана ваша надежда на то, что мы, и не будучи политически самостоятельны, все же сохраним при этом наш язык? Ведь не своим же уговорам и увещаниям, что передаются от детей внукам и всем последующим векам, приписывают говорящие подобное эту чудотворную силу? Тот из ныне живущих и зрелых людей, кто

привык говорить, писать, читать по-немецки, – тот, без сомнения, будет и впоследствии делать так; но что будет делать следующее за ним поколение, и тем более поколение третье? Какой же противовес думаем мы вложить в эти новые поколения, который сумел бы уравновесить в них желание угодить поскорее, речью и на письме, тому, кто исполнен внешнего блеска и от кого зависит получение всяческих льгот? Разве мы никогда прежде не слышали о языке, первом в мире по значению, хотя и оказывается, что лучшие творения на этом языке еще только предстоит написать, и разве мы не видим уже собственными своими глазами, как выходят в свет сочинения на этом языке, содержанием которых авторы желают только нравиться публике⁴⁶? Ссылаются на пример двух других языков, один из которых принадлежит древнему, а другой – новому миру, и которые, несмотря на то, что народы, на них говорившие, в политическом отношении погибли, продолжают однако же жить как живые языки⁴⁷. Не буду даже вдаваться здесь в подробности того, как именно они продолжают жить; однако с первого же взгляда ясно, что оба эти языка заключали в себе нечто такое, чего наш язык не имеет, и этим добились снисхождения к себе в победителях, которого никогда не сможет добиться у них наш язык. Если бы эти наши утешители пристальнее посмотрели вокруг, то нашли бы другой, по нашему мнению, вполне уместный здесь пример, – пример вендского⁴⁸ языка. И этот язык тоже еще живет, уже несколько веков с тех пор, как вендский народ утратил свою свободу, – живет в нищих лачугах прикованных к своим наделам крепостных, живет затем, чтобы эти крепостные могли жаловаться на судьбу на родном языке, и жалобы их остались бы непонятны для их угнетателя.

Или, предположим, что наш язык останется живым языком и на нем станут сочинять писатели, и он сохранит таким образом свою литературу; какая же это может быть литература – литература народа, не имеющего политической самостоятельности? Чего же хочет разумный писатель, чего он может хотеть? Ничего другого, кроме возможности вмешаться в ход всеобщей и публичной жизни и устроить, и пересоздать ее по своему образу; если же он этого не хочет, то все его речи – пустой звук, щекочущий уши праздной публики. Он хочет мыслить изначально и из самого корня духовной жизни, для тех, кто столь же изначально действуют, т. е. правят. Он может поэтому писать только на том же языке, на котором мыслят и правящие лица, на языке, на котором осуществляется правление, на языке народа, составляющего самостоятельное государство. К чему же направлены, в конце концов, все наши усилия даже в области самых отвлеченных наук? Допустим, ближайшая цель этих усилий состоит в том. Чтобы передать науку от поколения к поколению и сохранить ее в мире; но для чего же должны мы сохранять ее? Очевидно, лишь для того, чтобы она могла в нужное время содействовать должному устройению общей жизни и всего порядка вещей в человечестве. В этом ее конечная цель; а потому косвенно, будь то даже только в отдаленном будущем, всякий труд ученого служит государству. Если он отрекается от этой цели, то утрачивает в то же время и свое достоинство, и свою самостоятельность. Но кто ставит перед собою эту цель, тот должен писать на языке господствующего народа.

Как верно будет, без сомнения, сказать, что всюду, где только встречается особый язык, там есть и особая нация, имеющая право самостоятельно ведать своими делами и править сама собою, – так же верно будет сказать и наоборот: что как только народ перестает управлять собою сам, он обязан утратить также и свой язык и слиться со своими победителями, чтобы

наступило единство, гражданский мир, и чтобы были преданы совершенному забвению те положения, которых более не существует. Даже только наполовину понимающий свое дело предводитель подобного смещения непременно должен настаивать на этом, и мы можем быть вполне уверены в том, что и в нашем случае будут требовать того же самого. Пока не произойдет это слияние народов, до тех пор останутся и переводы разрешенных учебников на язык варваров, то есть тех, кто настолько неловок, что не в состоянии выучиться языку господствующего народа, и кто именно поэтому лишает себя всякой возможности влиять на общественные дела, и обрекает себя на покорность победителям до конца дней своих. А тем людям, которые сами осудили себя на молчание обо всех действительных событиях, будет предоставлена возможность упражняться в красноречии в вымышленных всемирных спорах, или подражать прежде бывшим и старинным формам, – доказательства первого можно отыскать в том древнем языке, который приводили нам в пример и образец, доказательства второго дает нам один из новых языков. Подобную же литературу мы еще какое-то время сохраним, и пусть утешается видами на такую литературу тот, кто не знает иного, лучшего утешения; но тому, чтобы это ничтожное утешение, которое всего более послужит на пользу как раз врагу нашей самостоятельности, наводило ленивую дремоту и на тех, кто вообще-то способен был бы побороть свою лень, видеть истину и при виде ее воспрянуть духом к решению и действию, – вот этому я хотел бы помешать, если бы только мог.

Итак, нам обещают сохранение немецкой литературы во всех будущих поколениях. Чтобы более точно оценить те надежды, которые нам возможно питать в этой области, весьма уместно будет оглянуться по сторонам и решить, есть ли у нас еще, в самом деле, даже и до настоящего времени, немецкая литература, в подлинном смысле этого слова.

Благороднейшая привилегия и священный долг писателя – собирать вокруг себя свою нацию и советоваться с нею о важнейших ее делах. Особенно явно это с давних пор было исключительной обязанностью писателя в Германии, ибо она была разделена на множество обособленных государств и оставалась единым связным целым почти исключительно благодаря орудию писателя – языку и письменности. Но совершенно особенным и насущным значение этой его обязанности становится в наше время, когда разорвана уже последняя внешняя связь, объединявшая всех немцев, – имперская конституция. Если же окажется, – мы не говорим, что мы это знаем или этого боимся, а просто указываем на возможный случай, который однако нам также точно следует принять к сведению, – если окажется, говорю я, что уже сейчас слуги отдельных государств до такой степени будут охвачены страхом, боязнью и ужасом, что в первую очередь возбранят раздаваться, или, налагая запреты, помешают распространиться голосам тех людей, которые как раз предполагают нацию все еще существующей, и к ней именно обращаются, – то это и будет доказательством, что у нас уже сейчас нет больше немецкой словесности, и тогда мы будем знать наверняка, каковы виды на будущее нашей литературы.

Чего же именно боятся эти люди? Того ли, что тому или иному неприятно будет слышать подобные голоса? Тогда они, по меньшей мере, неудачно выбрали время для изъявлений своей нежной заботливости. Ведь они все-таки не могут помешать поносить и унижать все отечественное, безвкусно прославлять все заграничное; пусть же они не будут так строги и к раздающемуся порой в этом пошлом шуме слову за отечество! Возможно, разумеется, что не всем одинаково приятно бывает слышать все; но об этом мы сегодня не можем беспокоиться, нас подгоняет нужда, и мы должны говорить именно то, что она велит нам

сказать. Мы боремся за выживание; не хотят ли они, чтобы мы шагали поосторожнее, потому что, дескать, поднимаемой пылью можем запачкать чей-нибудь государственный мундир? Мы гибнем в потопе; не запретят ли нам звать других на помощь потому только, что крик наш может испугать какого-нибудь слабонервного соседа?

Кто же те, кому неприятно это слышать, и при каком же условии неприятно бывает им слышать это? Только неясность и тьма всегда наводят страх. Всякое страшило исчезнет, как только пристально взглядишься в него. Давайте же с той же непредвзятостью и прямоотой, с какой мы анализировали прежде всякий предмет этих речей, посмотрим в глаза и этому пугалу.

Либо мы допускаем, что тот человек, которому досталось ныне в удел управлять немалой частью мировых дел, поистине великодушен, или же мы допускаем противоположное этому, и третьего здесь не дано.

В первом случае: на чем же основано всякое человеческое величие, если не на самостоятельности и изначальности личности, и на том, что она – не притворное изделие своей эпохи, но росток из вечного и изначального мира духов, возросший совершенно таким, каков он есть, что ей открылось новое и своеобразное воззрение на мир в целом, и что она имеет твердую волю и стальную силу – ввести это свое воззрение в действительный мир? Но решительно невозможно, чтобы такая душа не почтила и вне себя, в народах и индивидах, то, что в ней самой составляет собственное ее величие, – самостоятельность, прочность, своеобразие существования. Если только он ощущает свое величие и вполне полагается на него, он с пренебрежением откажется властвовать над ничтожными холопами духа и быть великим среди гномов; ему презренна самая мысль, будто ему нужно сперва унижить людей, чтобы повелевать ими; его угнетает вид окружающей его нравственной порчи, ему больно сознавать, что он не может уважать людей; но все то, что возвышает, облагораживает, поставляет в более достойном свете по-братски родственное ему племя людей, приятно его духу. Который и сам благороден, и служит ему высшим наслаждением. И подобная-то душа не пожелает слышать, что кто-то пользуется произошедшими в наше время потрясениями, чтобы пробудить от глубокого сна одну старинную почтенную нацию, бывшую прародительницей большинства народов новой Европы и образовательницей всех ее народов, и сподвигнуть ее к тому, чтобы воспользоваться верным защитным средством и выбраться из глубины своего нравственного падения, и тем же средством предохранить себя в то же время от нового падения и поднять вместе с собою все прочие народы? Мы не призываем здесь к выступлениям, нарушающим общественный порядок; мы, скорее, предостерегаем от таких выступлений, ведущих к верной гибели. Мы указываем прочную неизменную основу, на которой может быть, наконец, построена в одном из народов мира высшая, чистейшая и в таком виде никогда у людей небывалая нравственность, на которой она утвердится в безопасности на все последующие времена, и распространится отсюда на другие народы. Мы указываем путь к пересозданию человеческого рода – к созданию, из земных и чувственных тварей, чистых и благородных духов. И подобное предложение, вы думаете, оскорбит слух мужа, дух которого сам чист, и благороден, и велик, или кого-то, кто образовал себя по его подобию?

Что же думали бы, напротив, те, кто питал бы все-таки подобные страхи и своими действиями обнаруживал бы публично свой страх, – что думали бы они про себя, и в чем гласно перед всем миром сознавались бы, говоря подобное? Они сознавались бы в своем убеждении, что над нами властвует мизантроп, мелкий и низменный принцип, который страшится любого проявления самостоятельной силы, который не может и слышать без боязни о нравственности, религии, облагорожении души, и для которого спасение и надежда заключаются единственно только в унижении людей, в их тупости и в их пороках. И с такой их верой, которая прибавила бы ко всем нашим прочим бедам еще и тяжкий позор – быть под властью подобного человека, – нам предлагают теперь безоговорочно, без каких-либо предварительных и очевидных доказательств, согласиться, и действовать согласно с нею?

Предположим даже самое худшее; предположим, что правы они, а не мы, самым делом предполагающие именно первую из возможностей. Разве же тогда и в самом деле, в угоду тому, кому это приятно, и в угоду им, боязливым, должен род людской унизиться и погибнуть, и никому не позволено предостеречь его от окончательной гибели, если сердце его повелевает ему сделать это? Предположим даже, что не только они правы, но что и мы обязаны решиться признать их правоту, перед лицом всех современников и потомков, и высказать во всеуслышание указанное только что суждение о самих себе: что же самое высшее и последнее могло бы последовать из того для непрошеного предсказателя? Знают ли они что-нибудь большее, чем смерть? Смерть же и так ожидает всех нас, и от начала человечества благородные натуры презирали смертельные опасности и ради менее значительных целей – ибо где бывала когда-нибудь цель выше той, о которой идет речь ныне? Кто же вправе стать на пути такого дела, которое затеяно с риском для жизни?

Если, – хотя я надеюсь, что это не так, – если среди нас, немцев, есть подобные люди, то они, не спрашивая позволения, не требуя благодарности, подставят свою шею под ярмо духовного холопства, и, как я надеюсь, будут отвергнуты. Тогда они, жестоко бранясь, – ведь они-то, не зная, как чувствует подлинно великий человек, и оценивая его мысли по мерке собственной своей духовной ясности, думали тонко и политически мудро польстить, – воспользуются литературой, в которой не видят иного смысла, чтобы, заколов ее как жертвенного быка, услужить этим на свой манер своему повелителю. Мы же, напротив, самым нашим доверием и самой нашей смелостью восхваляем, намного более, чем то когда-либо могут выразить слова, величие той души, которая над нами властвует. По всей той земле, где звучит немецкая речь, повсюду, где только раздается свободно и беспрепятственно наш народный голос, она, самым своим существованием, взывает к немцам: «не хотим от вас угнетения, вашего холопства, рабской покорности, но хотим вашей самостоятельности, вашей истинной свободы, хотим возвысить и облагородить вас, ибо не мешаем вам публично советоваться об этом и указываем вам на безошибочное средство для достижения всего этого». Если этот голос будет услышан и возымеет желаемое действие, то он воздвигнет в потоке столетий такой памятник этому величию и нашей вере в это величие, который не сможет разрушить никакое время, но который будет расти все выше, и распространяться все дальше, с каждым новым поколением. Кто же посмеет воспротивиться попытке воздвигнуть подобный памятник? А потому, вместо того чтобы утешать нас в утрате нашей самостоятельности, указывая нам на будущее процветание нашей литературы, и подобными утешениями удерживать нас от поиска

средства к восстановлению этой самостоятельности, мы хотели бы узнать, позволяют ли и сегодня те немцы, которым поручено исполнять своего рода опеку над литературой, другим немцам, которые пишут сами или читают сочинения других, иметь литературу в подлинном смысле этого слова, и считают ли они, что литература подобного рода в настоящее время все еще разрешена в Германии, или же нет; но то, как они в самом деле об этом думают, непременно выяснится в самом скором времени.

Из всего этого следует: первое, что нам нужно сделать, чтобы хотя бы сохраниться как народ, пока не совершится полное и основательное исправление нашего племени, это – обрести характер, и доказать это, для начала, тем, чтобы собственным размышлением составить себе твердое мнение о нашем действительном положении и о верном средстве к его улучшению. Мы показали, сколь ничтожно утешение, указывающее на сохранение у нас языка и литературы. Но есть еще и другие, еще не упоминавшиеся в этих речах, обманчивые утешения, мешающие немцам составить подобное твердое мнение. Нам целесообразно будет принять в расчет и эти последние; однако этот разговор мы оставляем для следующего часа.

Содержание тринадцатой речи. Продолжение начатого ранее рассуждения

[49]

В конце нашей прошлой речи мы сказали, что среди нас имеет хождение и еще немало ничтожных мыслей и обманчивых систем о задачах жизни народов, которые мешают немцам составить себе достойное их своеобразия твердое воззрение на теперешнее их положение. Поскольку именно сейчас эти мечтательные системы с величайшим усердием навязывают себя вниманию публики, и теперь, когда столь многое стало шатким и непрочным, иные могли бы принять их, чтобы только заполнить возникшие пробелы мысли, существо дела требует, мне кажется, подвергнуть эти мысли испытанию более серьезно, чем бы они того вообще-то заслуживали по их совершенной неважности. Во-первых и прежде всего; первые, изначальные и подлинно естественные границы государств суть, без сомнения, их внутренние границы. Все, кто говорят на одном и том же языке, и без всякого человеческого искусства самой природой уже связаны между собою множеством невидимых уз; они понимают друг друга, и способны объясниться друг с другом все с большей степенью ясности, они близки друг другу и естественно образуют единство и неразделимое целое. Подобное целое не может желать воспринять в свой состав народ с иным языком и происхождением и смешаться с этим народом, не запутавшись при этом совершенно, по крайней мере вначале, и не нарушив тем весьма значительно равномерный ход своего дальнейшего образования. Эта внутренняя граница, которую проводит сама духовная природа человека, определяет собою внешнее разграничение мест жительства, как следствие первой, и согласно естественному воззрению на вещи, люди составляют один народ вовсе не потому, что они живут в пределах известных рек или гор, но напротив: люди живут сообща и, если им так посчастливилось, под защитой рек или гор, потому что они уже и прежде того, в силу гораздо более общего закона природы, были единым народом.

Так и немецкая нация, объединенная вполне достаточно общим языком и образом мысли, и достаточно строго отделяясь от других народов, помещалась в центре Европы, подобно валу, разделяющему несродные друг другу племена, – достаточно храбрая и многочисленная, чтобы защитить свои границы от любого покушения иноземцев,

предоставленная своей собственной судьбе и мало расположенная проявлять интерес к соседним народностям, вмешиваться в их дела и тревожить их, возбуждая в них этим враждебное к себе отношение. Ее счастливая судьба уберегла ее от непосредственного участия в грабеже других миров; от этого события, которое более, чем какое-нибудь другое, послужило основой образу развития мировой истории в новое время, судьбам народов, и немалой части их мнений и понятий. Только начиная с этого события, христианская Европа, бывшая до тех пор, и сама того отчетливо не сознавая, единой, и выступавшая как единство в общих своих предприятиях, разделилась на множество обособленных частей; только начиная с этого события, взору всех предстала добыча, для всех общая, которую каждый одинаково желал получить сам, потому что мог одинаковым образом употребить ее, и которую каждый с ревнивой завистью видел в руках другого; только теперь явилась причина для тайной вражды и воинственности всех против всех. К тому же только теперь присоединение народов, в том числе, и иного происхождения и языка, посредством завоевания или, если завоевание было невозможно, посредством коалиции, и присвоение себе сил этих народов стало выгодно народам. Народ, неизменно следующий закону природы, если населяемые им земли станут слишком тесны для него, может желать расширить их, завоевав соседние земли, чтобы получить больше простора для себя, и в таком случае он изгонит с этих земель их прежних обитателей; он может пожелать сменить суровый и неплодородный край на области более мягкого и благословенного климата, и тогда он опять-таки прогонит оттуда их прежних обитателей; а если его тоже постигнет вырождение, он может предпринимать и просто разбойничьи набеги и, не желая себе ни самих земель, ни их обитателей, станет просто захватывать все, что может ему пригодиться, а затем снова оставлять опустошенные земли; он может, наконец, разделить между собою прежних обитателей завоеванной им земли, тоже как некую полезную вещь, сделав их рабами отдельных людей; но присоединять к себе чужую народность, такой, какова она есть, сделав ее составной частью своего государства, – от этого ему не будет ни малейшей выгоды, и он никогда не испытает даже искушения сделать подобное. Но если случится, что ему угодно будет отвоевать заманчивую общую добычу у равного ему по силам или даже сильнеешего соперника, – тогда уже он рассуждает иначе. Подходит ли нам впрочем побежденный народ, или нет, но по крайней мере его кулаки всегда сгодятся для борьбы с противником, которого мы собираемся ограбить, и мы будем рады каждому человеку, как прибавлению вооруженной силы нашего государства. Если же какому-нибудь мудрецу, который желал бы мира и спокойствия, вполне ясно открылись бы глаза на это положение вещей, то от чего бы он мог ожидать такого спокойствия? Конечно, не от естественного ограничения человеческой алчности сознанием того, что излишнее никому не приносит пользы; ибо налицо добыча, соблазнительная для всех; и так же точно не мог бы он ожидать желанного спокойствия от воли, которая сама себе положит границы, потому что среди таких людей, из которых каждый старается присвоить себе все, что только может, тот, кто станет себя ограничивать, непременно погибнет. Никто не желает уделить другому того, что сейчас принадлежит ему; каждый хочет украсть у другого его достояние, если только может. Если кто-то спокоен, то только потому, что он не считает себя достаточно сильным, чтобы затевать новый спор; и он наверняка затеет спор тут же, как только почувствует в себе необходимую для этого силу. Следовательно, единственное средство поддержания спокойствия – сделать так, чтобы никогда один человек не мог приобрести достаточно могущества для нарушения общего мира, и чтобы каждый знал, что у другой стороны есть столько же сил для сопротивления, сколько у него самого сил для

нападения; создать, таким образом, равновесие и противовес совокупной мощи, которое бы единственно сохраняло, по исчезновении всех других средств, наличное имущество каждого и общее спокойствие всех. А значит, известная система равновесия мощи государств в Европе предполагает два эти условия: во-первых, разбой, на который никто не имеет единоличного права, но которого одинаково жаждут все, и во-вторых, всеобщую, постоянно обнаруживающуюся в действии, страсть всех и каждого к разбою; а при этих условиях подобное равновесие будет, конечно же, единственным средством поддержания спокойствия, если бы только удалось найти второе средство для установления этого равновесия и сделать эту пустую мысль осязаемой действительностью.

Но разве позволительно было делать и эти два допущения в столь общем виде, и без всяких исключений? Разве в сердце Европы могучая немецкая нация не осталась чистой от этой добычи и от заразной охоты к ней, и почти неспособной даже и притязать на эту добычу? Если бы только эта нация оставалась соединенной в одну общую волю и одну общую силу, – то, пусть бы все прочие европейцы сколько угодно убивали друг друга на всех морях, на всех островах и побережьях; в центре Европы надежный вал немцев помешал бы им столкнуться между собою, – здесь сохранился бы мир, и сами немцы смогли бы сохранить себе, а вместе с собою и части прочих европейских народов, спокойствие и благосостояние.

Своекорыстие заграницы, рассчитывающее только на следующую минуту, не могло допустить, чтобы это так было. Иностранцы сочли, что немецкая храбрость пригодится им, чтобы вести войны с ее помощью, а немецкие руки – чтобы этими руками вырвать добычу у их соперников; нужно было изобрести только средство достичь этой цели, и заграничная хитрость одержала легкую победу над непосредственностью и неопасливостью немцев. Именно заграница первой воспользовалась возникшим в Германии внутренним разладом из-за религиозных разногласий, чтобы искусственно расколоть и эту нацию, представлявшую совокупность всей христианской Европы в миниатюре, из прежнего тесно сплоченного единства на обособленные и самобытно существующие части так же точно, как естественно раскололась прежде и сама Европа от явившейся перед нею общей добычи; заграница сумела представить друг другу эти, возникшие таким путем, особенные государства в недрах единой нации, у которых не было иных врагов, кроме самой заграницы, и не было иной задачи, кроме одной общей задачи: соединенными силами противостоять коварству и обольщениям этой заграницы, – заграница умела представить эти государства друг другу естественными врагами, которых каждое из них всегда должно бдительно остерегаться, а саму себя изобразить их естественной союзницей в борьбе с опасностью, грозящей им будто бы от их же собственных соотечественников; союзницей, вместе с которой они только и могут выстоять или победить, и которой они поэтому также должны всеми своими силами оказывать поддержку во всех ее предприятиях. Только силой этой искусственной связи всякий раздор в Старом или Новом свете, из-за какого бы предмета он ни возникал, становился поводом к раздору между самими немецкими племенами; исход всякой войны, по какой бы причине она ни возникла, приходилось решать на немецкой земле, проливая немецкую кровь; всякое смещение всемирного равновесия нужно было возмещать в той именно нации, которой был чужд самый первоисточник этих отношений, и немецкие государства, обособленное существование которых само уже было противно разуму и природе, чтобы только быть хотя чем-нибудь, сделались придатками главных гирь на весах европейского равновесия, за колебаниями которых они отныне слепо и безвольно

следовали. И подобно тому, как в ином иностранном государстве граждан обозначают по-разному, смотря по тому, принадлежат ли они к той или иной из иноземных партий и голосуют ли за ту или иную из иностранных коалиций, и только тех из граждан, кто принадлежит к партии отечества, не умеют назвать никаким особенным именем, – так и немцы давно уже были только за какую-нибудь чужеземную партию, и лишь изредка встречали вы среди них человека, державшего сторону немцев и убежденного, что этой стране нужно вступить в коалицию с самой собою.

Таково, следовательно, было подлинное происхождение и значение пресловутой системы искусственно поддерживаемого равновесия силы между европейскими государствами, таковы были ее последствия для Германии и для всего мира. Если бы христианская Европа осталась единой, как ей и следовало, и какова она была первоначально, то никогда не появилось бы причин сочинять подобную идею: единое покоится на самом себе и само себя поддерживает, а не разделяется на разногласные силы, которые бы нужно было удерживать друг с другом в равновесии; только в Европе разделившейся, где право утратило силу, эта идея приобрела хоть какое-то значение. Германия не принадлежала к этой утратившей правомерность, разделившейся в себе Европе. Если бы осталась единой, по крайней мере, только Германия, то она покоилась бы в самой себе посреди образованной земли, как Солнце посреди мироздания; она сохранилась бы в покое сама, и сохранила бы вместе с тем покой и в ближайшем своем окружении, и сообщила бы всему равновесие, не принимая каких бы то ни было искусственных мер, одним только естественным своим существованием. Только обман заграницы заставил Германию вмешаться в несправедливость и раздоры этой заграницы, и внушил ей это коварное понятие о равновесии, как одно из самых действительных средств для того, чтобы ввести ее в заблуждение о том, в чем состоит ее подлинная выгода, и удержать в ней это заблуждение. Эта цель ныне весьма успешно достигнута, и желаемые последствия этого у нас на виду. Если же мы и не можем устранить этих последствий, – то почему же не искоренить нам по крайней мере источник этого положения дел в нашем собственном разуме, который ныне есть едва ли не единственное, что осталось в нашем свободном распоряжении? Почему должны мы позволять, чтобы этот старый призрак сновидения по-прежнему витал перед нашими глазами, когда беда уже пробудила нас от этого сна? Почему же по крайней мере теперь не должны мы увидеть истину и то единственное средство, которое может спасти нас, – не совершат ли, быть может, хоть наши потомки то, что мы ныне постигли; так же, как мы страдаем теперь оттого, что наши отцы предавались грезам. Давайте же поймем, что идея искусственно поддерживаемого равновесия, хотя она и могла быть утешительной мечтой для заграницы при всех бедствиях, при всей вине, на ней тяготевших, – но что она, как исключительно заграничное изделие, никогда не должна бы укорениться в душе немца, и что немцы никогда не должны оказываться в положении, в котором бы эта идея могла укорениться у них. Сейчас по крайней мере мы постигаем все ее ничтожество, и нам следует понять, что спасение для всех – не в этой идее, а только в единении всех немцев между собою.

Столь же чужда для немцев и та свобода мореплавания, которую столь часто проповедуют в наши дни; все равно, подразумевают ли при этом действительно такую свободу для всех, или только нашу собственную способность не допустить к этой свободе всех прочих. В течение столетий, пока другие нации соперничали между собою, немец не обнаруживал

большого желания стать причастным этой свободе мореплавания в сколько-нибудь обширных пределах, и он никогда этого не пожелает. Да эта свобода ему и не нужна. Его щедро одаренная природой страна и его собственное прилежание дают ему все, что нужно для жизни образованному человеку; не лишен он и мастерства в обработке всего этого для своих целей: а чтобы он мог усвоить себе единственную подлинную выгоду, которую заключает в себе всемирная торговля – расширение научных сведений о Земле и ее обитателях, – его собственный научный дух доставит ему любой меновой товар. – О, если бы благосклонная судьба так же точно уберегла немцев от косвенного участия в ограблении других частей света и их обитателей, как она сохранила их от непосредственного в нем участия! О если бы легковерие и желание жить столь же изысканно и благородно, как другие народы, не сделало для нас потребностью все те ненужные товары, которые производятся в дальних краях, – и если бы в отношении товаров более насущных мы постарались лучше создать сносные условия жизни для наших свободных сограждан, чем извлекать для себя выгоду потом и кровью бедных рабов за океанами! Тогда бы мы, по крайней мере, не подали сами повода для нашей нынешней доли, на нас не пошли бы войной, как на скупщиков, и нас не разорили бы, как разоряют сельскую ярмарку. Почти десять лет тому назад, когда еще никто не мог предвидеть всего, что с тех пор случилось, немцам давали совет сделаться независимыми от мировой торговли и замкнуться в обособленное торговое государство⁵⁰. Это предложение шло вразрез с нашими привычками, но особенно – с нашим идолопоклонническим почтением к чеканному металлу, и потому оно встретило страстное неприятие публики и было ею высокомерно отвергнуто. С тех пор, под давлением чуждой силы и со многим бесчестием, мы учимся обходиться без того, и даже – без много большего, без чего, как мы уверяли тогда вполне свободно и к величайшей чести для себя, мы никак обойтись не можем. Пусть же теперь мы воспользуемся таким случаем, когда нас, по крайней мере, не искушает никакое удовольствие, чтобы раз навсегда исправить наши понятия о вещах! Пусть поймем мы, наконец, что все эти головокружительной широты системы, трактующие о мировой торговле и производстве для нужд всего мира хотя и годятся для иностранцев, и составляют как раз оружие из того арсенала, которым иностранец с нами издавна воевал, но что они не могут найти применения к немцам, и что после единства немцев между собою их внутренняя самостоятельность и торговая независимость есть второе средство их спасения, а через их посредство – и спасения Европы.

Пусть же решимся мы, наконец, ясно увидеть и всю ненавистную суть, все неразумие той мечты о всемирной монархии, которую начинают предлагать теперь публике для поклонения, вместо идеи равновесия, которая с некоторых пор начинает казаться все менее правдоподобной! Духовная природа могла явить нам сущность человечества лишь в беспредельном многообразии оттенков индивидуального, и вообще в индивидуальности в общем и целом, в отдельных народах. Только когда каждый из этих народов, будучи предоставлен самому себе, развивается и оформляется в согласии со своей собственной особостью (Eigenheit), а в каждом из этих народов каждый индивид развивается в согласии как с этой общенародной, так и со своей частной особостью и в самом себе, явление Божества выступает в своем подлинном зеркале именно таким, как должно; и только тот, кто или не имеет ни малейшего представления о закономерности и о божественном порядке, или кто закоренелый враг этого порядка, только тот может осмелиться самочинно вмешаться в действие этого высшего закона духовного мира. Только в незримых и

недоступных их собственному взору своеобразных чертах наций, – в том самом, что связывает их с источником изначальной жизни, заключен залог их нынешнего и будущего достоинства, их добродетели, их заслуги; если смешавшись или слившись с другими, народы притупят в себе эти особенные черты, то от этой плоскости произойдет отделение их от духовной природы, а от этого – слияние всех наций, после чего все их равно и все вместе ждет неминуемая гибель. Верить ли нам тем писателям, которые утешают нас во всех наших бедах надеждой на то, что зато всем нам предстоит стать подданными начинающейся ныне новой всемирной монархии, – когда они уверяют, что кто-то затем только решил до такой степени раздробить все зачатки человеческого в человеке, чтобы силой придать хоть какую-то форму растекающемуся тесту; и что еще возможна в нашу эпоху подобная грубость и враждебность ко всему роду человеческому? Или, если даже мы решимся поверить для начала в это совершенно невероятное утверждение: какое же орудие позволит, далее, осуществить такой план; что это за народ может, при нынешнем состоянии образованности в Европе, покорить мир для какого бы то ни было нового всемирного монарха? Вот уже несколько веков прошло с тех пор, как народы Европы перестали быть дикарями и радостно предаваться разрушению ради самого разрушения. Все ищут окончательного мира, после войны; покоя, после напряженных трудов, порядка, после мятежей. И все хотят увенчать свой жизненный путь мирной и тихой жизнью в кругу семьи. Какое-то время, пусть даже только воображаемая, национальная выгода может воодушевлять их к войне; но если повод к ней будет одинаковым образом повторяться снова и снова – исчезнут мечты о выгоде, и та сила одержимости и азарта, которую она вселяла прежде; вернется с прежней силой желание спокойствия и порядка, и встанет вопрос: ради какой же цели я делаю и терплю все это? Покорителю мира наших дней пришлось бы сперва искоренить в народах все эти чувства, и обдуманном искусством внедрить народ дикарей в эту эпоху, которая по самой природе своей не может дать такого народа. Но более того. Если только человеку дадут возможность хоть несколько успокоиться, то глазам того, кто с юных лет привык к образованному возделыванию земель, к благосостоянию и порядку, приятно видеть все это повсюду, где он это встречается, ибо это зрелище составляет предмет и его собственного, никогда вполне не искоренимого стремления, и ему самому бывает больно, разрушать этот порядок. Придется найти противовес и этому благоволению, столь глубоко запечатлевшемуся ныне в душе общественного человека, и этой его печали при виде бедствий, которые воин причиняет завоеванным странам. А этому нет иного противовеса, кроме страсти к грабежу. Если господствующим побуждением война станет накопить поболее сокровищ, если он привыкнет, опустошая цветущие некогда страны, не думать ни о чем, кроме того, что лично он может получить среди общей нищеты, то нужно ожидать, что чувства сострадания и жалости умолкнут в нем. Стало быть, кроме варварской грубости, покоритель мира должен будет воспитывать в своих воинах еще и страсть к грабежу; ему придется не наказывать вымогателей, но даже поощрять их. Должен будет совершенно исчезнуть тот позор, который естественно сопровождает это занятие, разбой будет считаться почетным знаком утонченного ума, великим и славным деянием, и за него станут отныне раздавать всевозможные почести и чины. Где же в новой Европе столь бесчестная нация, чтобы с ней можно было обойтись подобным образом? Или предположите даже, что ему удалось и это переобразование своего народа, но ведь теперь именно это его средство не позволит ему достигнуть своей цели. Такой народ видит отныне в завоеванных землях, людях и изделиях искусства не более чем только средство для того, чтобы в величайшей спешке делать деньги, дабы идти дальше и там опять-таки делать деньги; он

быстро вымогает у них все, что умеет, и бросает то, из чего выжал все соки, на произвол судьбы; он рубит дерево, плоды которого хочет достать; кто действует с такими орудиями, тот понапрасну станет упражнять на них все свое искусство совращения, убеждения и обмана; они могут вводить в заблуждение только издали, но как только их увидят вблизи, даже самый бессмысленный тупица сразу же заметит их животную грубость и бесстыдную и наглую хищность, и тогда очевидно для каждого человека обнаружится их презрение ко всему роду человеческому. С такими людьми можно разграбить землю, растереть ее в тупой хаос однообразия, но нельзя учредить на ней стройный порядок всемирной монархии.

Названные мысли, и все подобного рода мысли, суть порождения мышления, попросту играющего само с собою, а порою и застревающего в своей собственной паутине, мышления, недостойного немецкой основательности и серьезности. Некоторые из этих образов, как например, образ политического равновесия, годятся, самое большее, на то, чтобы послужить вспомогательными линиями, по которым мы можем сориентироваться в обширном и неясном многообразии явления и упорядочить его в своем уме; но верить в то, что подобные вещи существуют в природе, или стремиться к их осуществлению, – это все равно, как если бы кто-нибудь захотел найти на действительном земном шаре зримое выражение и обозначение тех полюсов, экватора и тропиков, по которым ориентирует он свои наблюдения на земле. Только бы в нашей нации вошло в обычай, мыслить не только в шутку и как бы ради пробы – что получится, – но так, как если бы то, что мы мыслим, должно быть истинным и иметь действительное значение в жизни, – и тогда излишними станут все предостережения от этих иллюзий исконно заграничной и просто обольщающей немцев государственной мудрости.

Эта основательность, серьезность и весомость нашего образа мысли, если только она будет нам присуща, тут же проявится и в нашей жизни. Мы побеждены, – хотим ли мы, чтобы нас в то же время презирали, и презирали справедливо, хотим ли мы, ко всем прочим нашим потерям, утратить еще и нашу честь, – это всегда будет зависеть от нас. Вооруженная борьба закончилась; начинается, если только мы этого захотим, новая борьба, борьба принципов, нравов, характера.

Давайте дадим нашим гостям, в самих себе, пример верной преданности отечеству и друзьям, неподкупной справедливости и любви к своему долгу, всех гражданских и семейственных добродетелей, как дружеский подарок хозяев возвращающимся гостям, – ведь когда-нибудь они вернуться, наконец, к себе на родину. И давайте поостережемся давать им повод презирать нас; а это презрение мы вызовем в них всего вернее, если мы будем сверх всякой меры бояться их, или если мы откажемся от нашего образа жизни и будем стремиться уподобиться им в их собственном образе жизни. Пусть удержимся мы и от того, чтобы отдельный человек из нашей среды раздражал и возбуждал других людей; а впрочем всего вернее для нас будет идти своим путем далее так, как будто бы мы были наедине сами с собою, и не вступать решительно ни в какие отношения, кроме тех, которых от нас безусловно требует необходимость; а для этого самое верное средство будет то, чтобы каждый удовлетворился тем, что могут дать ему его прежние отношения в отечестве, нес, в меру своих сил, свою часть бремени общественных обязанностей, а любое покровительство заграницы считал для себя позором и бесчестьем.

К сожалению, почти повсюду в Европе, а потому также и в Германии, стало обычаем, что люди, когда им случается делать выбор, предпочитают лучше унизиться, чем оказаться тем, что называют обыкновенно «внушительным», и, вероятно, всю систему усвоенных хороших манер можно было бы свести к этому одному принципу. Пусть бы мы, немцы, при настоящем случае погрешили уж лучше против этих хороших манер, нежели против чего-то высшего! Пусть бы мы лучше, хотя это и будет такую погрешностью, остались тем, что мы есть, и даже, если только сможем, стали бы еще сильнее и решительнее такими, какими мы должны быть! Пусть мы не устыдимся тех упреков, которые нам обыкновенно делают, – что нам не хватает быстроты и легкой сноровки, и что мы во всем бываем чересчур серьезны, тяжелы и важны, – и постараемся даже заслужить их все с большим правом и все в большем объеме! Пусть укрепит нас в этом решении то без особого труда усваиваемое, убеждение, что мы все равно, как бы ни старались, никогда не сумеем угодить им, если не перестанем вовсе быть самими собой, что было бы все равно, как если бы нас вовсе не было более на свете. Есть, в самом деле, такие народы, которые, сохраняя сами свое своеобразие и желая, чтобы другие относились к нему с почтением, признают и за всеми прочими народами их своеобразие, позволяют им и разрешают иметь это своеобразие. К числу таких народов, без сомнения, принадлежат и немцы, и эта черта столь глубоко коренится во всей прошедшей и нынешней жизни их в мире, что очень часто, чтобы только быть справедливыми и к современной им загранице, и к древнему миру, они бывали несправедливы к самим себе. Есть, однако, и другие народы, которым их тесно сплоченная в себе самость никогда не позволяет свободно отвлечься мыслью, чтобы хладнокровно и спокойно взглянуть на самость другого, и которые поэтому вынуждены верить, что существует лишь один единственный способ быть образованным человеком, и это именно тот способ, который силою какой-нибудь случайности достался в настоящее время на долю именно им самим; и что все прочие люди предназначены только к тому, чтобы стать такими же, как они. и все эти люди будут обязаны им величайшей благодарностью, если только эти народы пожелают взять на себя труд образовать их такими. Народы первого рода пребывают между собою в чрезвычайно благодетельном взаимодействии и взаимном проникновении, при котором, однако, всякий народ остается тождествен себе самому, по доброй воле другого. Народы второго рода не способны ничего образовать, ибо не способны ничего ухватить в его наличном существовании; они хотят только уничтожить все существующее и произвести всюду вне самих себя пустое место, на котором бы они могли повторять один лишь собственный свой облик; даже если они и вникают, казалось бы, поначалу в обычаи другого народа, то проявляют в том лишь добродушную снисходительность воспитателя к его теперь еще слабому, но подающему надежды ученику; даже лики совершенного прошедшего им не по душе, пока они не облачат их в свои собственные наряды, и если бы они только могли, они охотно вызвали бы их вновь из гроба, чтобы воспитать их на свой лад. Правда, я далек от того, чтобы дерзко упрекать в подобной ограниченности какую-нибудь существующую ныне нацию в целом и без исключений. Предположим, скорее, что и в этом также лучше других те, кто никак себя не проявляет. Но если мы должны оценивать тех, кто явился среди нас и проявил себя вполне, по этим их проявлениям, то из этого, мне кажется, следует, что их следует отнести к описанному мною только что классу. Подобное проявление требует, кажется, доказательств; и умолчав обо всех прочих следствиях этого же духа, которые ныне на виду у всей Европы, я приведу в доказательство только одно обстоятельство, а именно следующее: мы вели с ними войну; мы, со своей стороны, были в ней побежденными, а они – победителями; это истина, и это признают все. Этим, без

сомнения, они могли бы теперь удовлетвориться. Если бы теперь кто-нибудь из нас продолжал верить в то, что правое дело было все-таки на нашей стороне, что мы заслужили победу, и что достойно сожаления, если победа нам не досталась: разве же это было бы так уже плохо, и разве они, – которые, со своей стороны, могут так же точно думать про себя все, что им угодно, – могли бы так уж строго упрекать нас в этом? Но нет, мы не должны сметь так думать. Мы должны признать вместе с тем, сколь несправедливо желать когда-либо не так, как они, и не повиноваться им; мы должны благословить свои поражения, как самое благотворное из возможного для нас, и их самих, как своих благодетелей. Иначе ведь и быть не может, и это только надеются услышать от нашего здравого смысла! – Но к чему дальше повторять то, что почти две тысячи лет назад было сказано довольно точно, например, в книгах «Истории» Тацита? Взгляд римлян на отношение к ним побежденных военной силой варваров, основанием которому у самих римлян была все же заслуживающая некоторого извинения кажимость, будто сопротивление им есть преступный мятеж и возмущение против божественных и человеческих законов, и будто бы их оружие может принести народам только благословенное счастье, а их оковы – только честь, – этот же самый взгляд составили теперь и о нас, и его-то, с великим благодушием, требуют от нас самих, и предполагают его в нас самих. Не стану выдавать суждения подобного рода за некую высокомерную насмешку; я могу понять, как, при значительном самомнении и ограниченности духа, можно всерьез верить в подобное и добросовестно считать и другого способным в это верить, и я полагаю, что римляне, например, действительно в это верили; я всего лишь предлагаю Вам подумать, могут ли те из нас, кому представляется невозможным обратиться когда-нибудь в эту веру, рассчитывать при этом на какую бы то ни было компенсацию.

Мы станем глубоко презренны в глазах заграницы, если вслух ей станем обвинять один другого, немецкие племена, сословия, личности, в постигшей нас общей судьбе, и начнем сурово и страстно упрекать в этом друг друга. Прежде всего, подобного рода обвинения, по большей части, несправедливы, неправы, необоснованны. Какие причины привели Германию к ее теперешней участи, – это мы указали выше; эти причины столетиями одинаково были свойственны всем немецким племенам без исключения; а последние события не были следствиями какой-то отдельной ошибки одного-единственного племени или его правительства, они подготовлялись достаточно давно, и если бы все зависело только от причин, заключающихся в нас самих, эти события так же точно настигли бы нас уже давно. Правда, общая вина или невиновность всех в этих событиях одинаково велика, и считаться виной мы тоже уже не можем. Оказалось, что, торопя конечный исход событий, отдельные немецкие государства не знали даже самих себя, свои силы и свое действительное положение; как же может какое-нибудь из них присвоить себе право выступить из своих пределов и вынести окончательное суждение о вине другого, опирающееся на основательное знание дела?

Может быть, известное сословие⁵¹ во всяком племени нашего немецкого отечества с большим основанием заслуживает упреков, – не потому, чтобы и оно так же точно не понимало, или не способно было сделать, больше всех других, – ибо это – общая вина всех, – но потому, что оно делало вид, будто понимает и способно сделать больше других, и устранило всех прочих от управления государствами. Если бы и такой упрек был оправдан: кто мог бы высказать его, и для чего же нужно высказывать и обсуждать его именно теперь

громче и суровее, чем когда-либо прежде? Мы видим, что упрек этот исходит от писателей. Если прежде, когда это сословие еще обладало всей властью и авторитетом, с молчаливого согласия решительного большинства остального человечества, эти писатели говорили точно так же, как говорят теперь: кто может упрекнуть их в их желании напомнить о своей прежней речи, основательно подтвержденной нашим опытом? Мы слышим также, что они выводят на суд народа отдельных названных ими лиц, которые прежде стояли во главе государственных дел, представляют нам свидетельства их непригодности, их косности, их злой воли, и ясно доказывают, что из подобных причин необходимо должны были произойти такие следствия. Если они уже и прежде, когда власть еще была в руках этих обвиняемых, и когда то зло, которое необходимо должно было воспоследовать из их управления, еще можно было отвратить, они понимали то самое, что понимают теперь, и так же гласно это выражали; если уже тогда они с той же силой обвиняли тех, кого считают виновными, и не преминули испытать все средства для того, чтобы спасти от них отечество и вырвать его из рук этих виновных, и если тогда их просто не услышали: то они совершенно справедливо напоминают теперь о своем отвергнутом тогда проницательном предупреждении. Но если они извлекли свою теперешнюю премудрость только из результатов, из которых между тем и весь народ вместе с ними научился той же премудрости: почему теперь именно они говорят то, что всем прочим ныне и без того уже известно? Или, может быть, тогда они даже льстили из корыстолюбия, или молчали из страха перед теми лицами и сословиями, на которых теперь, когда они уже утратили государственную власть, безудержно обрушиваются их обвинительные речи: о, так пусть же они вперед не забывают упоминать, среди причин наших бедствий, наряду с дворянством и непригодными к службе министрами и полководцами, еще и политических писателей, которые узнают о том, что должно было совершиться, только по действительно данным результатам, как это свойственно и черни, и которые льстят власть имеющим, а над поверженными злорадно издеваются!

Или, быть может, они критикуют прошлые ошибки, которые, впрочем, не сможет уничтожить никакая критика, только затем, чтобы их более не совершали в будущем; и только их усердное желание основательно улучшить положение человечества заставляет их столь смело пренебрегать соображениями благоразумия и приличий? Мы охотно предположили бы в них подобную добрую волю, если бы только основательность ума и проницательность давали им право на добрую волю в этой области. Не только отдельные лица, случайно оказавшиеся на высших должностях в государстве, но вся связь и переплетение целого: весь дух времени, ошибки, невежество, поверхностность, нерешительность, и неразрывно с ними связанная неуверенность шага – все нравы эпохи, короче говоря, привели к нашим нынешним бедствиям; и потому должности действовали при этом гораздо более, нежели лица, и каждый, в том числе сами жестокие обвинители, может с большой вероятностью предположить, что, будь они на месте этих лиц, окружающие обстоятельства увлекли бы и их приблизительно к той же самой цели. Нужно только поменьше предаваться грезам о чьей-то намеренной злобе и предательстве! Для объяснения почти всех событий нам достаточно будет допустить неразумие и косность действующих лиц; а это – такая вина, от которой никто не должен освобождать себя без основательного самоиспытания; тем более, что там, где в большинстве имеется немалая сила инерции, индивиду, который постигает это, должна быть свойственна немалая сила деятельности. Как бы сурово ни обрисовали нам поэтому ошибки отдельных лиц, тем самым еще вовсе не обнаружат причину наших бедствий, как не устранят и самих бедствий только

тем, что станут в будущем избегать подобных ошибок. Если люди останутся несовершенны, то они не смогут не совершать ошибок; и если даже они избегут ошибок, допущенных их предшественниками, то в бесконечном пространстве их погрешимости без труда отыщутся новые ошибки. Нам может помочь только совершенное пересоздание людей, только начаток совершенно нового духа в них. Если они станут трудиться для развития в себе этого духа, то мы охотно признаем за ними, кроме достоинства доброй воли, и достоинство верного и спасительного разума. Эти взаимные упреки, кроме того, что они несправедливы и бесполезны, в то же время в крайней степени неблагоприятны, и они непременно глубоко унижают нас в мнении заграницы, которой мы, сверх того, еще всячески навязываем известия об этих упреках и облегчаем познание их. Если мы неустанно рассказываем иностранцам, как запутано и глупо все было у нас прежде, и до какой степени подлы оказались те, кто нами правил, – разве они не должны думать, что, как бы они теперь с нами не обращались, они однако все еще слишком хороши для нас, и никогда не могут стать для нас слишком плохи? Не должны ли они думать, что мы, при нашей величайшей неловкости и беспомощности, должны с самой смиренной благодарностью принимать от них всякую вещь, которую они уже предложили нам или еще предназначают передать нам в будущем, из богатой сокровищницы своего искусства править, управлять и законодательствовать? Нужно ли им такое подтверждение их и без того весьма выгодного мнения о себе самих и их ничтожного мнения о нас? Не становятся ли, благодаря таким упрекам, известные суждения, которые иначе приходилось бы считать лишь злой насмешкой, как например, те, что только они дали отечество немецким землям, у которых прежде не было отечества, или, что они отменили ту рабскую зависимость одних лиц от других, которая имела у нас прежде силу закона, повторением наших собственных утверждений и отзвуком нашей собственной лести за границе? То, что мы, немцы, как только показались среди нас чужеземные пушки – разразились поношениями нашим правительствам, нашим властителям, которым прежде мы расточали безвкусную лесть, и всему отечественному, – как будто бы мы давно уже ждали этого момента и хотим единственно употребить его себе на пользу, пока время еще не упущено, – это позор для нас, позор, который мы, немцы, не можем разделить ни с одним из прочих европейских народов, участь коих во всем остальном уподобилась ныне нашей участи.

Как же нам, всем прочим, и невинным, отвести от себя этот позор и оставить виновных наедине с их виной? Есть одно средство. Пасквили перестанут печататься сегодня же, если только будут уверены, что их отныне не станут покупать, и как только их авторы и издатели не смогут уже твердо рассчитывать на читателей, которых привлекает к их изделиям праздность, пустое любопытство и страсть к болтовне, или злорадное желание видеть униженным то, что некогда внушало им чувство мучительного уважения. Пусть каждый, кто чувствует этот позор, возвратит предложенный ему для прочтения пасквиль с тем презрением, которого он заслуживает; пусть он сделает это, хотя бы и думал, что он – единственный, кто это сделает, пока среди нас не станет обычаем, чтобы каждый поступал так же точно. А тогда мы без насильственных запретов на книги весьма скоро сможем избавиться от этой рубрики нашей литературы.

И наконец, мы унижаемся перед заграницей всего более, если принимаемся льстить ей. Некоторые из нас уже и прежде сделались достаточно смешны, презренны и отвратительны, воскурив при каждом случае грубый фимиам властителям отечества, и не

щадя ни разума, ни приличий, благообразия и вкуса там, где считали для себя возможным произнести льстивую речь о них. Со временем этот обычай устарел, а эти дифирамбы превратились отчасти просто в брань. Между тем, словно бы для того, чтобы не утратить полученного в прошлом навыка, мы обратили эти наши клубы фимиама в другую сторону, туда, где сейчас находится верховная власть. Уже и первое, – как сама лесть, так и то, что ее не запретили высказывать, – должно было причинять сердечную боль всякому серьезно мыслящему немцу; однако все это осталось среди нас. Не хотим ли мы теперь призвать и за границу в свидетельницы этой нашей низменной страсти, а в то же время и величайшей неловкости, с какой мы избавляемся от этой страсти, и тем присовокупить к презренному зрелищу нашей низости еще и смехотворное зрелище нашей же неуклюжести? Дело в том, что в этом нашем отправлении нам недостает тонкости, присущей иностранцу; чтобы только нас невозможно было не услышать, мы впадаем в пошлости и преувеличения, и без предисловий начинаем обожествлять предмет нашей хвалы и превозносить его выше солнца и звезд. К этому присоединяется то, что у нас, похоже, все эти восхваления вынуждают преимущественно страх и ужас перед победителем; однако нет ничего смешнее, чем боязливый, восхваляющий красоту и любезный вид того, кого он в самом деле считает страшилищем и кого он хочет просто подкупить этой своей лестью, опасаясь, как бы тот не проглотил его.

Или, может быть, все эти хвалы – не лесть, но истинное изъявление почтения и удивления, какими они обязаны великому гению, управляющему ныне, по их убеждению, делами всех людей? Как же мало они и в этом знают признаки истинного величия! Величие духа во все века и у всех народов было верно себе в том, что оно не было тщеславно, напротив, с давних пор именно то наверняка и было мелочно и низко, что обнаруживало в себе тщеславие. Подлинное, само себе довлеющее величие не радуется виду триумфальных колонн, воздвигаемых современниками, или эпитету «Великий», или крикливому ликованию и дифирамбам толпы; все это оно с должным презрением отвергает, и ожидает суждения современников о самом себе прежде всего от собственного судьи в душе каждого из них, а гласного приговора себе ожидает лишь от суда потомков. Этому величию всегда сопутствовала также и та черта, что оно чтит темный и загадочный рок и страшится его, помнит о вечно катящемся колесе фортуны и не позволяет прежде конца восхвалять свое величие или блаженство. А следовательно, эти панегиристы противоречат сами себе, и уже тем одним, какие слова они произносят, обращают содержание своих панегириков в сплошную ложь. Если бы они действительно признавали великим предмет своих похвал, то признались бы себе в том, что он выше их одобрения и их хвалы, и почтили бы его благоговейным молчанием. Коль скоро же они обращают похвалы ему в особое свое занятие, они тем самым показывают, что считают его на самом деле мелким и низменным существом, и настолько тщеславным, что их хвалы могут ему понравиться, и что этими хвалами они могут отвратить от себя какую-нибудь неприятность или добиться для себя какого-нибудь блага.

Все эти вдохновенные крики: «что за возвышенный гений, что за глубина премудрости, что за всеобъемлющий план!» – что же говорят они. в конце концов, если мы присмотримся к ним пристальнее? Они говорят, что гений этот столь велик, что и мы можем в полной мере постигнуть это, что премудрость эта столь глубока, что и мы способны проникнуть в ее бездны, что план этот столь всеобъемлющ, что и мы можем вполне вообразить его себе. Они

говорят, следовательно, что восхваляемый предмет велик приблизительно в той же мере, что и сам хвалитель, и однако не совсем в той же мере, – ведь этот последний вполне понимает и объемлет умом восхваляемое, а значит, стоит выше его, и наверное мог бы, если бы только постарался, сделать даже и нечто более значительное. Нужно быть очень высокого мнения о самом себе, чтобы думать, что сможешь таким образом приятной лестью услужить предмету похвалы; а восхваляемый должен быть очень невысокого мнения о самом себе, если благосклонно примет подобные знаки почтения.

Нет, порядочные, серьезные, степенные немецкие мужи и земляки, да не коснется подобное неразумие нашего духа, а подобное осквернение – нашего языка. Образованного для выражения истины! Предоставим за границе ликовать и изумляться при виде всякого нового явления; составлять себе новое мерило величия людей и дел в каждом новом десятилетии; и, в похвалу людям, изрекать богохульства. Пусть наше мерило величия останется прежним: пусть великим будет для нас лишь то, что способно воспринять идеи, которые всегда приносят народам только счастье, и вдохновляется ими; судить же о величии людей, живущих ныне, предоставим нашим потомкам! [52]

Четырнадцатая речь.

Заключение целого

Речи, которые я сегодня завершаю, обращали свой громкий голос, конечно, прежде всего к Вам, но они имели в виду всю немецкую нацию, и в своем намерении собирали вокруг себя в том зале, где зримо пребывали Вы, всех, кто способен был бы понять их на всем пространстве, где звучит немецкая речь. Если бы удалось мне заронить в чье-нибудь сердце, бившееся здесь предо мною, искру, которая бы пылала в нем и ожила, то я никак не желал бы, чтобы они остались одни и одиноки, но я хотел бы собрать и соединить с их настроением и решением подобные им настроения и решения по всей нашей общей земле, чтобы по всему нашему отечеству, до самых дальних его пределов, возгорелось из этого средоточия одно-единственное текучее и слитное пламя патриотического образа мысли. Эти речи предназначали себя в этой эпохе не для того, чтобы послужить времяпрепровождением для праздных ушей и глаз, но я хочу знать, наконец, – и пусть узнает это вместе со мною каждый, кто думает так же, – есть ли и вне нас что-нибудь родственное нашему образу мысли. Каждый немец, который все еще верит, что он есть звено одной нации, который знает ее величие и благородство, надеется на нее, рискует, терпит и страдает для нее, должен наконец избавиться от нетвердости этой своей веры; он должен ясно видеть, прав ли он в этой вере или он только глупец и мечтатель; он должен отныне или продолжать свой путь с уверенным и радостным сознанием своей правоты, или с бодрой решимостью отказаться от всякого земного отечества, и утешать себя только верой в небесное отечество. К ним, не как к тем или иным частным лицам в нашей обыденной и ограниченной жизни, но как к представителям нации, а через посредство их органов слуха – ко всей нации, эти речи взывают так:

Столетия канули в Лету с тех пор, как вас в последний раз созывали всех вместе, как сегодня; в таком множестве; по столь великому, столь насущному, столь общему для всех вас делу; столь безусловно как нацию и как немцев. И никогда впоследствии к вам не станут обращаться вновь таким же образом. Если вы не прислушаетесь и уйдете в себя, если вы позволите этим речам пройти мимо вас, как пустому раздражению слуха, или как какой-то редкостной диковине, то ни один человек не станет более полагаться на вас. Услышьте, наконец, хоть теперь; одумайтесь, наконец, хоть теперь. Не сходите на этот раз с места, не приняв в самих себе твердого решения; и пусть каждый, кто слышит этот голос, примет это решение в самом себе и для себя самого, как если бы он был один на свете, и должен был делать все в одиночестве. Если только довольное множество людей станет думать так, то явится великое целое, слитое в одну тесно сплоченную силу. Если же каждый, сделав исключение для себя самого, понадеется на других, и предоставит другим решать это дело; то никаких других для него не будет вовсе, и все вместе взятые останутся такими же, как

были прежде. – Примите же немедленно это решение. Не говорите: «дай нам еще немного отдохнуть, еще немного поспать и помечтать, пока улучшение не придет к нам само собою». Само собою оно не придет никогда. Кто, упустив вчерашний день, который был бы намного удобнее, чтобы прийти в чувство, не в силах желать этого даже сегодня, тот завтра сумеет сделать это еще того меньше. Всякое промедление только делает нас еще ленивее, только еще глубже усыпляет нас в любезной привычке к нашему жалкому состоянию. Да и внешние поводы к тому, чтобы нация наконец опомнилась, едва ли будут когда-нибудь сильнее и насущнее. Кого не побуждает к этому наша современность, тот наверняка утратил всякое человеческое чувство. – Мы призываем вас принять последнее и твердое решение и постановление; отнюдь не к тому, чтобы отдать приказ, поручение, или предъявить требование другим, но предъявить такое требование самим себе. Вы должны принять решение, которое каждый из вас может исполнить только сам, собственной своей персоной. При этом недостаточно лишь праздного намерения, этого желания захотеть когда-нибудь впоследствии, этого косного довольства тем, что, если мы когда-нибудь сами собою станем лучше, нам придется-де только принять это и покориться судьбе; но от вас требуется такое решение, которое то же время непосредственно есть жизнь и внутреннее деяние, и которое живет и правит нами, не колеблясь и не охладевая, пока не приблизится к цели.

Или, может быть, в вас совершенно уничтожен и исчез тот корень, из которого только и может произрасти подобное вторгающееся в самую жизнь решение? И все существо ваше действительно и в самом деле размякло и растеклось, став пустой тенью без соков, без крови, без собственной силы движения; и сновидением, в котором хотя и рождаются порою пестрые облики, и хлопчут, и пересекаются, и сталкиваются, но тело продолжает лежать подобно мертвецу, застывшее и неподвижное? Нашей эпохе уже давно открыто говорили, и на все возможные лады повторяли, что о ней составилось приблизительно такое мнение. Вожаки эпохи полагали, что говорящие так хотят только ругаться, и считали эту ругань вызовом для себя, чтобы и со своей стороны тоже хулить и ругать, и таким образом, как они думали, все опять возвратится к естественному порядку. В остальном незаметно было ни малейшего изменения или улучшения. Если вы это слышали, если это смогло вызвать в вас негодование, – так накажите же ложь тех, кто думает и говорит о вас такое, самым делом; покажите всему миру, что вы не таковы, и тогда эти люди, перед всем миром, будут уличены во лжи. Быть может, они говорили о вас столь сурово именно с тем намерением, чтобы вы их подобным образом опровергли, и потому, что отчаялись в успехе всех прочих средств для того, чтобы побудить вас к действию! Насколько же лучшего они в таком случае мнения о вас, чем те, кто льстит вам, чтобы удержать вас в косном покое бездействия и в ничего не уважающем безмыслии!

Но как бы слабы, как бы бессильны вы ни были, в наше время ясное и спокойное осмысление сделалось таким легким делом, каким не бывало никогда прежде. То, что собственно и повергало нас в путаницу понятий о нашем положении, в наше безмыслие, в наше слепое попустительство, было наше сладостное довольство самими собой и нашим образом существования. Так это шло до сих пор, и так продолжалось без конца; тому, кто призывал нас к размышлению о себе, мы вместо всякого другого опровержения торжествующе указывали на наше существование и прозябание, совершавшееся без всяких с нашей стороны размышлений. Но это сходило только потому, что нам не встречалось никакого испытания. С тех пор мы прошли через испытания. И с тех пор иллюзии, наваждения,

лживые утешения, которыми все мы сбивали с толку друг друга, должны бы были все-таки разрушиться? Наследственные предрассудки, которые, не исходя из какого-нибудь одного края земли, распространились над всеми подобно некому естественному туману, и погружали все умы в одинаковые сумерки, должны бы были теперь все-таки исчезнуть? Сумерки более не сдерживают нашего взора; но они не могут более служить и извинением для нас. Теперь стоим мы, чистые, пустые, обнаженные от всех чуждых покровов и завес, просто такие, каковы мы сами и есть. Теперь должно выясниться, что есть, или что не есть, эта наша самость. Может быть, выступит кто-нибудь из вашей среды и спросит меня: «что дает именно тебе, единственному из всех немецких мужей и писателей, особенное задание, призвание и привилегию, собирать нас и настойчиво призывать нас к чему-то? Разве каждый из тысяч писателей Германии не имел бы на это такого же права, как и ты? Но никто из них не делает этого, и только ты один вылезает вперед со своей речью?» Я отвечаю: конечно же, каждый имел бы такое же право сделать это, как и я, и я делаю это именно потому, что никто из них не сделал этого прежде меня: и я смолчал бы, если бы другой уже сделал это раньше. Таков был первый шаг к цели радикального исправления человека, кто-нибудь должен был сделать этот шаг. Я был тем, кто первым живо постиг его необходимость; поэтому я стал тем, кто первым сделал его. После этого шага какой-нибудь шаг будет вторым; все имеют сегодня одинаковое право сделать этот шаг; но действительно сделает его опять-таки лишь один человек. Кто-то один всегда должен быть первым, и кто может быть первым – пусть будет им!

Не заботясь об этом обстоятельстве, задержите ненадолго ваш взгляд на том рассуждении, к которому мы подводили вас уже и прежде, – сколь завидно было бы состояние Германии, и всего мира, если бы Германия сумела воспользоваться счастливыми сторонами своего положения и осознать свою собственную выгоду. Остановите затем взгляд ваш на том, чем стали они ныне – Германия и весь мир, – и проникнитесь вполне той мукой и досадой, которые должен испытать благородный человек, видя все это. Обратите потом взгляд на самих себя, и узрите, что это вас наше время хочет избавить от заблуждений прежних эпох, это с ваших глаз оно снимет пелену тумана, если только вы сами позволите это сделать; что вам, как ни одному поколению прежде вас, дано сделать бывшее небывшим и стереть бесславный отрезок времени из книги истории немцев.

Пусть пройдут перед вашими глазами различные состояния, между которыми вам предстоит ныне сделать выбор. Если вы и дальше будете ходить в той же тупости и неосмотрительности, то вас ожидают, прежде всего, все беды рабства: лишения, унижения, насмешки и высокомерие победителя; он будет гнать вас из всех закоулков, потому что всюду вы ему негодны, всюду вы у него на дороге, – пока, пожертвовав своей национальностью и своим языком, вы не купите себе какого-нибудь незначительного местечка, и пока ваш народ не исчезнет таким образом вовсе с лица земли. Если же вы пересилите себя и одумаетесь, то найдете, прежде всего, сносное и почтенное существование, и увидите, как среди вас и вокруг вас расцветает поколение, которое обещает оставить по себе самую славную память о вас и о немцах. Вы увидите в духе, как, благодаря этому поколению, имя немца возвысится и станет славнейшим среди всех народов, увидите, как эта нация станет возродительницей и восстановительницей всего мира.

От вас зависит, хотите ли вы стать концом и последними побегими поколения, недостойного уважения потомков и даже презираемого сверх всякой меры потомками, в истории которого, – если только в том варварстве, которое начнется потом, возможна будет какая-нибудь история, – потомки возрадуются, если им придет конец, и восхвалят справедливость судьбы; или вы хотите быть началом, и точкой развития нового, прекрасного сверх всяких ваших представлений времени, и теми, с кого потомки начнут летосчисление своего блаженства. Подумайте о том, что вы – последние, в чьей власти совершить эту великую перемену. Ведь вы еще слышали, как немцев называли единым народом, вы видели и зримый знак их единства – империю и имперский союз, или слышали о них, среди вас еще раздавались временами голоса, воодушевленные этой высшей любовью к отечеству. Те, кто придут после вас, привыкнут к другим представлениям, воспримут чужие формы, усвоят иной образ жизни и ведения дел; и много ли пройдет времени, пока не останется в живых ни одного человека, который бы видел немцев или слышал о них?

То, чего здесь от вас требуют – совсем немного. Вам нужно только взять на себя труд ненадолго собраться с мыслями и подумать о том, что непосредственно и очевидно находится у вас перед глазами. Вам нужно только составить себе об этом твердое мнение, остаться верным этому мнению в жизни, и выражать и высказывать это мнение также в своем ближайшем окружении. Мы предполагаем, мы убеждены и уверены, что результаты этого мышления окажутся одинаковы у всех вас, и что, если только вы действительно подумаете, а не пройдете мимо с прежней невнимательностью, вы будете мыслить согласно друг с другом; что, если только вы вообще усвоите себе дух, а не закоснеете в сугубо растительной жизни, то единодушие и согласие духа придут к вам сами собою. Но если это случится, то само собою последует и все прочее, что нам необходимо.

Но этого мышления мы и в самом деле требуем от каждого из вас, кто еще может мыслить лично сам о чем-то находящемся прямо у него перед глазами. У вас есть на это достаточно времени; события минуты не оглушат вас, не застанут вас врасплох; протоколы переговоров, которые с вами ведут, – перед вами; не выпускайте их из рук, пока сами не придете к единству между собою. Не позволяйте, о не позволяйте только склонить себя к беспечной вялости, полагаясь на других, или на что бы то ни было вне вас самих существующее; или прислушавшись к несмыслящей мудрости нашего времени, твердящей, что эпохи сделаются сами, без всякого содействия людей, какой-нибудь неведомой силой. Эти речи не уставали напоминать вам, что решительно ничто не может помочь вам, кроме вас самих, и они находят нужным повторять это до последней минуты. Пусть дожди и росы, неурожай и урожай вызывает неведомая нам и неподвластная нам сила; но совершенно своеобразное время людей, человеческие отношения, создают себе только сами же люди, и этого не может создать вовсе никакая сила, вне их находящаяся. Только если все они вместе одинаково слепы и невежественны, они достаются в жертву этой сокроуенной силе; однако от них зависит не быть слепыми и невеждами. Хотя то, в большей или в меньшей степени постигнут нас бедствия, зависит, вероятно, отчасти от этой неведомой силы, но в особенности от разума и доброй воли тех, чьей власти мы ныне подчинены. Но то, пойдут ли когда-нибудь снова на лад дела в нашем отечестве, – всецело зависит исключительно от нас, и никакое благоденствие наверняка никогда так и не вернется к нам, если мы не создадим его себе сами; и особенно, если каждый из нас не станет на свой манер действовать и поступать так, как если бы он был один, и как если бы только от него одного

зависело благо и спасение будущих поколений.

Вот что вы должны сделать; сделать это без промедления, заклиняют вас эти речи⁵³.

Они заклиняют вас, юноши. Я, который уже давно перестал быть одним из вас, убежден, и я высказывал это свое убеждение и в этих речах, что вы все еще более способны ко всякой мысли, выходящей за рамки обыденного, и все еще более чутки ко всему дельному и доброму, потому что возраст ваш еще недалек от лет детской невинности и естественности. Но совершенно иначе смотрит на эту основную вашу черту большинство старших. Они упрекают вас в дерзости, в торопливости, самонадеянности суждений о том, что превосходит меру ваших сил, в несговорчивости, в страсти к нововведениям. И однако, они только добродушно усмеваются всем этим вашим ошибкам. Все это, полагают они, происходит только от недостаточного знания света, т. е. знания общечеловеческой испорченности, – ведь у них нет глаз, чтобы видеть в мире что-нибудь другое. Теперь только, надеясь найти себе единомысленных помощников, и не знаете, какое яростное, упорное сопротивление противопоставит свет вашим проектам улучшения, – теперь только, думают они, вы смелы и решительны. Но как только угаснет молодое пламя вашего воображения, как только вы сами почувствуете в полной мере, как сладко идти по жизни привычной колеей: тогда-де пропадет у вас охота быть лучше и умнее всех прочих людей. Эти благие надежды на вас они взяли не с потолка; они нашли подтверждение им в самих себе. Им приходится сознаться, что в дни своей несмышленной юности они и сами так же, как и вы теперь, мечтали исправить весь мир; однако, с годами зрелости они стали такими смирными и спокойными, какими вы теперь их видите. Я им верю; я сам на своем не очень продолжительном опыте испытал, как юноши, подававшие поначалу иные надежды, впоследствии однако в полной мере оправдывали эти благомыслящие ожидания зрелого возраста. Не делайте этого больше, юноши, ибо иначе как же сможет начаться новое, лучшее поколение? Пусть очарование юности спадет с вас, и пламя воображения не сможет уже питаться самим собою; но возьмите это пламя и сгустите его ясным мышлением, усвойте себе искусство этого мышления, и вы получите еще в придачу лучшее украшение человека – характер. Это ясное мышление будет для вас источником вечного цветения юности; пусть состарится ваше тело и ослабеют колени, но дух ваш будет каждый раз возрождаться все в новой свежести, и характер ваш будет тверд и неколебим. Воспользуйтесь же немедленно представляющимся вам здесь случаем; подумайте ясно о том предмете, который мы выносим здесь на ваш совет; ясность, которая начнется в вас в одной точке, распространится постепенно и на все остальные.

Эти речи заклиняют вас, старцы. О вас думают именно так, как вы только что слышали, и говорят это вам в лицо; и сам оратор откровенно прибавляет от себя, что, – не считая исключений, случающихся впрочем нередко и тем более заслуживающих почтения, – думающие так о большинстве из вас бывают совершенно правы. Обратитесь к истории последних двух или трех десятилетий: все, кроме вас самих, согласны в том, – да и вы, каждый в той области, которая не касается непосредственно его самого, согласны тоже, – что, если опять-таки не принимать в расчет исключения и говорить только о большинстве, во всех отраслях, в науке, как и в делах практической жизни, гораздо больше непригодности к делу и эгоизма обнаруживали люди пожилые. Все современники могли видеть, что каждый, кто хотел чего-нибудь лучшего и совершеннейшего, должен был, кроме

борьбы с неясностью в самом себе и со всем прочим, что его окружает, вести еще и тяжелейшую борьбу с вами; что вы были твердо намерены не дать пробиться ничему такому, чего бы вы точно так же не делали и не знали сами; что вы почитали всякое свободное движение мысли оскорблением для вашего разума и не оставили втуне никакую силу, чтобы только победить в этой борьбе против лучшего, как вы, обыкновенно, и в самом деле одерживали победу. И так вы были сдерживающей силой на пути всякого улучшения, какое ни предлагала нам благостная природа из своих вечно юных недр, до тех пор, пока не обратились вы в тот прах, которым были уже и прежде, и пока следующее поколение, в войне с вами, не уподобилось вам самим и не переняло у вас вашего прежнего образа действий. Поступайте же и теперь так же, как поступали вы прежде в ответ на все предложения улучшений, предпочтите опять вашу суетную честь – чтобы не было ничего между небом и землею, чего бы вы еще не исследовали, – общему благу всех; и тогда эта последняя борьба избавит вас от необходимости бороться за что-нибудь впоследствии; тогда не будет никаких улучшений, а будет только ухудшение за ухудшением, так что вам еще будет чему порадоваться в жизни.

Не думайте только, будто я презираю и принижая старость, как таковую. Если только деянием свободы человек воспринял в свою жизнь источник изначальной жизни и ее вечного движения, то ясность, а с нею и сила, будет расти и расти в нем, пока продолжается жизнь. Такая жизнь живет все лучше, персть земного происхождения отпадает все более и более, и жизнь облагораживается, восходя к вечной жизни, и расцветает в ожидании вечности. Опыт подобной старости не примиряет нас со злом, но только яснее раскрывает перед нами средства и делает нас искуснее в умении победоносно бороться с этим злом. Ухудшение духа с приближением старости – это только вина нашего времени, и оно должно непременно наступить повсюду, где общество бывает весьма испорчено. Нас портит не природа – природа рождает нас невинными, – нас портит общество. Кто раз предаст себя на произвол его влияния, тот естественно должен будет становиться все хуже и хуже, чем дольше он будет подвержен этому влиянию. Стоит труда, вероятно, исследовать в этом отношении историю других весьма испорченных эпох и посмотреть, не становилось ли, например, и под властью римских императоров, все хуже и хуже с приближением старости то, что уже было дурно вначале.

А потому вас, старцы и опытные люди, которые составляют исключение из общего правила, – вас прежде всего заклиняют эти речи: утверждайте, укрепляйте, помогайте советом в этом деле миру молодости, который благоговейно обращает к вам свои взгляды. Но вас, прочие, живущие по прежнему правилу, эти речи заклиняют: не нужна вашей помощи, не мешайте только в этот единственный раз, не станьте вновь, как это всегда было прежде, на пути изменений с вашей премудростью и с тысячей своих сомнений. В этом деле, как во всяком разумном деле на свете, нет этой тысячи, оно просто, – и это еще одна из тысячи вещей, которых вы не знаете. Если бы ваша премудрость могла нас спасти, она бы уже спасла нас раньше, ведь не кто иной как вы давали нам прежде советы. Это, как и все прочее, мы простили вам, и никто не станет более ставить вам этого на вид. Научитесь только наконец познавать самих себя, и молчите.

Эти речи заклиняют вас, коммерсанты. До сих пор вы, за немногими исключениями, были в душе своей врагами отвлеченного мышления и всякой науки, которая желала быть чем-то

сама по себе, хотя вы и делали вид, будто питаете ко всему этому только благородное презрение. Вы, как только могли, старались держаться подальше от тех людей, которые занимались такой наукой, и от их предложений; и величайшая благодарность, на которую они обыкновенно могли рассчитывать от вас, – было обвинение в сумасшествии или совет отправить вас в дом умалишенных. Ученые же, со своей стороны. Хотя и не осмеливались высказываться о вас с такой же откровенностью, потому что они зависели от вас, но подлинное мнение их о вас в тайне сердца было таково: что вы, за немногими исключениями, – пустые болтуны и надменные хвастуны, недоучки, лишь мимоходом побывавшие в школах, слепо бредущие и плетущиеся по старой колее, не желающие и не могущие ничего другого. Накажите их ложь самым делом, если они лгут, и воспользуйтесь для этого предлагаемым вам сейчас случаем; отложите свое презрение к основательному мышлению и науке, прислушайтесь, услышите и научитесь тому. Чего вы не знаете; в противном случае ваши обвинители окажутся правы.

Эти речи заклиняют вас, мыслители, ученые, писатели, которые еще достойны этого имени. Упомянутые сейчас упреки коммерсантов по вашему адресу были, в известном смысле, не лишены основания. Вы часто слишком беззаботно оставались в области чистого мышления, не тревожась судьбой действительного мира и не справляясь о том, как можно было бы соединить эту область мысли с действительностью; вы описывали друг другу свой собственный мир, и оставляли мир действительный в стороне, чрезмерно им пренебрегая и презирая его. Правда, всякий порядок и устройство действительной жизни должны исходить от высшего упорядочивающего понятия, а движение по привычной колее не даст жизни строя и порядка; это – вечная истина, и она именем Божиим повергает ниц и предаёт нескрываемому презрению всякого, кто осмелится заниматься торговлей, не зная об этом. Но между понятием и введением его в особенную жизнь каждого человека лежит великая пропасть. Заполнить же эту пропасть – это и дело коммерсанта, который, конечно же, уже и прежде учился достаточно для того, чтобы понимать вас, – и ваше собственное дело, ибо вы не должны забывать о жизни ради вашего мира идей. Здесь вы оба встречаетесь. И пусть лучше, вместо того чтобы подозрительно коситься друг на друга через эту пропасть и унижать друг друга, каждый из вас приложит старание, чтобы заполнить со своей стороны эту пропасть, и проложить таким образом путь к соединению. Поймите же наконец, что вы оба необходимы другу так же, как необходимы друг другу голова и руки.

Эти речи заклиняют вас, мыслители, ученые, писатели, которые еще достойны этого имени, еще и в других отношениях. Пусть ваши жалобы на всеобщую поверхностность, безмыслие и рассеянность, на самомнение учености и неиссякаемую болтовню, на презрение всех сословий к серьезности и основательности, справедливы, – каковы они и есть действительно. Но какое же сословие воспитало все эти сословия, и превратило для них все научные занятия в игру, и с самой ранней юности поощряло в них эту мнимую ученость и эту пустую болтовню? Кто же это продолжает и ныне воспитывать даже и те поколения, которые уже вышли из ученических лет? Самая очевиднейшая причина тупости нашей эпохи заключается в том, что она до отупения начиталась написанных вами ученых трудов. Почему же все-таки вы по прежнему так усердно заботитесь о том, чтобы дать новое развлечение уму этого праздного народа, хотя вам и известно, что он ничему не научился и не желает ничему учиться; называете его публикой, льстите ему титулом вашего судьи, натравляете его на ваших соперников, и всеми средствами пытаетесь привлечь на свою

сторону эту слепую и путаную толпу; для чего, наконец, сами даете ему в ваших рецензионных заведениях и журналах и материал, и образец для его страсти к опрометчивым и скороспелым суждениям, потому что судите в них так же бессвязно, наудачу и по памяти, и по большей части так же пошло, как мог бы судить и последний из ваших читателей? Если не все вы думаете так, если среди вас еще есть люди более благородного образа мысли, то почему же эти благомыслящие не объединятся, чтобы положить конец бедствиям? Что касается в особенности молодых коммерсантов, то они прошли вашу школу, вы сами это говорите. Почему же они не воспользовались этим пребыванием их в ваших школах по крайней мере для того, чтобы внушить им некоторую степень немого уважения к наукам, и сломить самомнение хотя бы в юношах благородного происхождения, и показать им, что сословие и происхождение не означает никакого преимущества в делах мысли? Может быть, вы уже тогда льстили им и неподобающим образом выделяли их среди прочих учеников, – так терпите же теперь то, чему вы сами были причиной!

Они, эти речи, хотели бы оправдать вас, допустив, что вы не понимали всей важности своего дела; они заклинаят вас с этой же минуты признать вполне эту важность его, и никогда не исполнять его отныне как простое ремесло. Научитесь уважать самих себя, и покажите своим поведением, что вы себя уважаете, тогда и мир станет уважать вас. Первое же доказательство этого вы представите тем, что станете усердно влиять на предлагаемое здесь всем волевое решение, и тем, как вы поведете себя при этом решении.

Эти речи заклинаят вас, князя Германии. Те, кто создает у вас впечатление, будто народу вовсе не позволено говорить вам что-нибудь, или будто ему нечего вам сказать, – презренно льстят вам и злобно клеветают на вас же самих; гоните их прочь от себя. Истина состоит в том, что вы рождаетесь таким же невежественными, как и все мы, прочие люди, и что если вы должны когда-нибудь выйти из этого естественного невежества, вам нужно слушать других и учиться у них, так же точно, как и нам. Ваша доля вины в той судьбе, что постигла теперь вас вместе с вашими народами, была изложена здесь самым снисходительным и, как мы полагаем, единственно справедливым и правильным образом, и вы не можете пожаловаться на эти речи, если, конечно, вы не желаете слышать от всех только лесть, а никак не правду. Забудем все это, – как и мы все тоже хотим, чтобы наша доля вины была предана забвению. Теперь, как для всех нас, так и для вас, начинается новая жизнь. Пусть только мой голос дойдет до вас через все то ваше окружение, которое обыкновенно делает вас недоступными! Он может сказать вам с гордым самосознанием: вы властвуете народами, верными, восприимчивыми, достойными всякого счастья, какими не властвовали князья ни в какой эпохе и ни у какой нации. Они умеют ценить свободу и способны жить свободно; но они последовали за вами на кровавую войну против того, что казалось им свободой, последовали потому, что вы того желали. Некоторые из вас впоследствии пожелали иначе, и народы последовали за вами на войну, которая должна была казаться им войною за искоренение одного из последних остатков немецкой независимости и самостоятельности; тоже потому, что вы того желали. С тех пор они терпят и сносят тягостное бремя общих бедствий; и они не перестают хранить верность вам, питать к вам искреннюю преданность и привязанность и любить вас, как Богом данных им опекунов. Если бы вы только могли наблюдать за ними неприметно для них самих; если бы вы только могли, освободившись вполне от вашего окружения, которое не всегда представляет вам самую

прекрасную сторону человечества, сойти в дом горожанина, в сельскую хижину, и следить спокойным созерцанием за тихой и сокровенной жизнью этих сословий, к которым удалась, похоже, та верность и порядочность, которая все реже встречается ныне в жизни высших сословий, – то конечно, о конечно вами овладела бы решимость подумать серьезнее, чем когда-либо прежде, о том, как вы могли бы помочь им. Эти речи предложили вам одно средство подобной помощи, которое они считают средством верным, радикальным и решающим. Пусть ваши советники подскажут вам, считают ли они сами так же точно, или им известно лучшее средство, только средство столь же решительное. Но убеждение в том, что что-то должно быть сделано, и сделано немедленно, и нечто радикальное и решительное, и что время полумер и новых способов тянуть время прошло навсегда, – это убеждение они охотно желали бы создать в вас самих, если бы только могли, потому что они по-прежнему доверяют, более всего, вашей честности.

Эти речи заклиняют вас. немцы, всех вместе, какое бы место ни занимали вы в обществе, чтобы каждый из вас, кто способен думать, подумал прежде всего о предложенном ими предмете, и чтобы каждый сделал для этого то, что ближе всего именно ему, на его месте.

К этим речам присоединяются и заклиняют вас ваши предки. Подумайте, что с моим голосом сливаются голоса ваших праотцов из туманного прошлого, которые своими телами заграждали путь надвигающемуся мировому господству Рима, которые своей кровью завоевали независимость своих гор, равнин и потоков, ставших при вас добычей чужеземцев. Они взывают к вам: замените нас собою, передайте потомкам память о нас такой же почтенной и безупречной, какой вы сами узнали ее и какая дает вам право хвалиться этой нашей славой и вашим происхождением от нас. До сих пор считали, что наше сопротивление было великим, благородным и мудрым, все видели в нас посвященных в тайны, вдохновенных исполнителей божественного провидения. Если иссякнет род наш в вас, то честь наша обратится в позор, а мудрость – в безумие. Ибо если немецким племенам надлежало погибнуть, раствориться в римстве, то лучше бы было нам слиться с древним Римом, чем с новым. Перед древним Римом мы устояли и победили его; а вас новые римляне растоптали в прах. Раз так случилось, вам и не нужно теперь побеждать этих римлян физическим оружием, – только дух ваш должен возвыситься и прямо стоять перед ними. Вам выпала много величайшая судьба – первым положить начало царству духа и разума, и уничтожить всякую грубую физическую власть как властвующее миром начало. Если вы совершите это, то будете достойны своего происхождения от нас.

С моим голосом сливаются и голоса ваших предков позднейшего времени, павших в священной борьбе за свободу религии и веры. Спасите же и нашу честь, – взывают они к вам. Нам не было вполне ясно, за что мы сражаемся; помимо справедливой решимости не позволять внешней власти повелевать нам в делах нашей совести, нами руководил и более высокий дух, который никогда вполне не открылся нам. Вам он открыт, этот дух, если вы способны видеть в духовном мире, и он возвышенным и ясным взглядом смотрит на вас. Пестрая и сумбурная смесь чувственных и духовных мотивов должна быть совершенно свергнута с престола мирового господства, и у кормила человеческих дел должен встать только дух, чистый и обнаженный от всех чувственных побуждений дух. Чтобы этот дух обрел свободу, мог развиваться и возрасти к самостоятельному существованию, – вот за что лилась наша кровь. От вас зависит теперь дать этим жертвам значение и оправдание,

утвердив этот дух на предназначенном ему мировом господстве. Если этого не случится, если эта конечная цель, к которой устремлялось до сих пор все развитие нашей нации, не будет достигнута, тогда и наши битвы превратятся в пустой фарс, прошумевший и забытый, и завоеванная нами свобода совести и свобода духа есть не больше чем пустой звук, если отныне не должно быть более ни духа, не совести.

Вас заклинают и ваши еще не родившиеся потомки. Вы хвалитесь своими предками, взывают они к вам, и гордо становитесь в их благородный ряд. Позаботьтесь же о том, чтобы эта цепь не прекратилась с вами: сделайте так, чтобы и мы могли похвалиться вами, и благодаря вам, как безупречному связующему звену, встать подобно вам в том же славном ряду. Не допустите же, чтобы нам пришлось стыдиться нашего происхождения от вас, как от низкого, варварского, рабского племени, не пришлось скрывать наше происхождение, или лживо изобретать себе иное имя и иную родословную, чтобы только, узнав о нем, нас не отвергали и не попирали ногами сразу же, без дальнейших разбирательств. Каково будет следующее происходящее от вас поколение, такой же окажется и память о вас в истории: славной, если оно станет славным свидетелем в вашу пользу; и даже сверх всякой меры позорной, если не оставите вы по себе имеющего голос потомства и если победитель станет творить за вас вашу историю. Еще никогда победитель не был достаточно склонен или осведомлен, чтобы суметь справедливо оценить побежденных. Чем более он унижает их, тем справедливее он кажется самому себе. Кто знает, какие великие деяния, какие превосходные учреждения, какие благородные нравы иных народов прежних времен оказались забыты потому, что их потомков поработил другой народ, и этот победитель, не встречая возражения, сообщал о них в истории так, как это соответствовало его целям.

Вас заклинает даже заграница, если только она хоть самую малость понимает сама себя и еще способна видеть свою настоящую выгоду. Да и среди всех народов еще есть люди, которые не могут поверить, чтобы великие пророчества о царстве права, разума и истины в человечестве оказались тщетны, оказались пустым миражом, и которые полагают поэтому, что нынешний железный век есть лишь переход к лучшему состоянию. Эти люди, а с ними и все новейшее человечество, рассчитывают на вас. Немалая часть этого новейшего человечества происходит от нас, все остальные получили от нас свою религию и всю свою образованность. Одни заклинают нас общей всем нам землей наших отцов, которая и им была колыбелью, и которую они по доброй воле оставили нам в наследство; другие – образованностью, которую они получили от нас как залог высшего счастья в будущем, – сохранить себя, также и для них и ради них, такими, какими мы были всегда, не дать вырвать из связи вновь возникшего племени это столь важное для него звено; чтобы, если когда-нибудь им понадобится наш совет, наш пример, наше содействие на пути к подлинной цели всей земной жизни, им не пришлось мучительно сожалеть о том, что нас нет рядом с ними.

Все эпохи, все мудрецы и добрые люди, что когда-нибудь дышали на этой земле, все их мысли и смутные предчувствия высшего, вливаются в хор этих голосов и окружают вас, и протягивают к вам умоляющие руки; даже, если можно так сказать, само провидение и божественный промысел в сотворении человеческого рода, который ведь существует лишь затем, чтобы люди мыслили его, и чтобы люди осуществляли его в действительности, заклинает вас спасти его честь и самое его существование. Будут ли в конце концов правы

те, кто думал, что человечество должно становиться все лучше и лучше, и что идеи порядка и достоинства человечности суть не пустые мечты, а пророчество и залог того, что некогда станет действительностью, – или же правы будут те, кто продолжает дремать в своей животной и растительной жизни и смеется над всякой попыткой воспарить умом в высшие миры; обосновать и вынести окончательное суждение об этом мы предоставим вам. Старый мир, с его величием и славой, как и с его недостатками, ушел в небытие силою собственного своего недостойнства и властью ваших отцов. Если есть истина в том, что было изложено в этих речах, то из всех новейших народов именно в вас всего определеннее заложен задаток усовершенствования человечества, и на вас преимущественно возложено обязательство развивать его. Если вы, с такой существенностью, погибнете, то с вами вместе погибнут навсегда и все надежды целого человечества на спасение из глубины своих бедствий. Не надейтесь только и не утешайтесь тем взятым решительно с потолка, и рассчитывающим на простое повторение прежде бывших случаев, мнением, которое уверяет вас, что во второй раз, когда погибнет старая образованность, на руинах ее возникнет из полуварварской нации новая. В древнее время был уже такой народ, наделенный всем нужным для того, чтобы исполнить это предназначение, и был весьма неплохо известен народу – творцу образованности, и описан им; и сам этот последний, если бы он только мог предположить возможность собственной гибели, мог бы открыть в этом народе средство для своего возрождения⁵⁴. Нам тоже хорошо известна вся поверхность земли, и известны все народы, живущие на ней. Знаем ли мы такой народ, подобный коренному народу нового мира, на который мы могли бы возлагать подобные же ожидания? Думаю, что каждый, кто не склонен просто предаваться фантастическим мнениям и надеждам, должен будет ответить на этот вопрос: нет, не знаем. Поэтому иного исхода нет: если потонете в пучине вы, с вами вместе потонет и все человечество, без всякой надежды когда-нибудь возродиться.

Вот что, почтенное собрание, я хотел и обязан был еще раз настоятельно напомнить Вам, как представителем нации в моих глазах, а через ваше посредство – и всей нации.

Приложение к «Речам к немецкой нации»

Применение красноречия к настоящей войне

Современные люди находят красноречие часто и в том, что не высказывается словами. Здесь под красноречием мы понимаем, прежде всего, действительно произносимые речи; об упомянтом только что мы станем говорить ниже.

Что с давних пор повсюду, где было красноречие, и были уши, чтобы слышать его, это красноречие воодушевляло и воинов к победе на войне, и что нередко одно слово разбивало целые армии, – это известно из истории, и если бы даже мы могли забыть об этом, это показал нам наш враг, вплоть до самых последних событий.

Правда здесь предполагают, и справедливо, что в нынешней войне нигде – от главнокомандующего до последнего подчиненного, не было надобности в ободрении и воодушевлении, ибо сердца всех и так уже довольно пылали, воспламененные причиной, подобной которой не бывало еще в истории. Однако все-таки и теперь, независимо от этой задачи, у красноречия остается цель гораздо более чистая и прекрасная – сгустить уже возгоревшийся пыл в постоянное, свободное и обдуманное пламя, и сохранить священный огонь, так, чтобы он целесообразно разгорался более с каждым мгновением. Красноречие в этом духе, предполагая уже имеющееся понимание, рассчитывает только на первых в войске, и на лучших, на тех, кто способен к ясному и чистому осмыслению себя. Оно, не воспламеняя изначально, способно только вновь представить созерцанию то, что действительно являет собою лучший человек и как он, в душе, мыслит; оно хочет только выяснить для него в слове то, что в непрерывной деятельности ускользает от взора действующего, удерживая в нем для постоянного созерцания тот прекрасный образ, что зародился в нем в минуту наибольшего воодушевления; оно хочет только поразмыслить о том же, о чем так же точно поразмыслил бы сам с собою каждый, если бы только у него было время на это, и тем самым укрепить это размышление для большей ясности его сознания о себе в жизни, для непоколебимой последовательности его деятельности согласно этому образу, как и для того, чтобы облегчить ему сообщение этого образа другим.

Тот, кто взялся бы теперь исполнить эту задачу оратора, обязан был бы прежде всего доказать, что он сам понимает значение этой войны, и что интерес этой войны владеет им более, чем интерес его собственной жизни или какой-нибудь иной интерес. Автор настоящего проекта рассматривает предстоящую войну вот как: В этой войне должен решиться вопрос о том, сохранится ли и будет ли далее прирастать по законам человеческого развития все то, чего тысячекратными жертвами добилось человечество от начала – порядок и умения, нравы, искусство и наука, и радостные взоры на небо, – или все

то, что воспевали поэты, что мыслили мудрецы и что совершили герои, должно погибнуть в бездонной пропасти произвола, вовсе не ведающего, чего он хочет, и знающего только это свое безграничное и железное хотение! Решение этого вопроса выпало, наконец, после неудачных попыток других, на долю тому государству в Европе, которое более всех прочих преуспело в обладании всеми теми благами человечества, которые поставлены теперь на карту, и которому должно быть важнее, чем кому бы то ни было, сохранение их; словно бы именно с этой самой целью развивалось оно и сохраняло свою значимость в новейшее время.

Вопрос в том, знает ли предлагающий свои услуги оратор, каким образом может быть победоносно решена эта великая задача? Автор знает, что он не может жить, если не будет обладать тем, что поставлено теперь на карту, и что только надежда содействовать чем-нибудь достижению этой цели, отрывает его от занятий, которые намного более возбуждают его деятельность, и заставляет предлагать ныне свои услуги на другом поприще.

Что касается внешней формы, то, если бы в нашу эпоху, когда все обновляется и враг угрожает нам новым злом, шествующим к нам в революционной форме, непривычная новая форма покажется вызывающей, автор охотно ограничился бы старой и привычной формой проповеди (что с внешней стороны будет тем легче сделать, что он некогда изучал богословие и неоднократно говорил проповеди); хотя более свободная форма, в какой выражается красноречие светского государственного оратора, кажется ему более соответствующей нашему времени: государственного оратора, вокруг которого собирались бы в определенные дни, скажем по воскресеньям, лучшие люди в обществе, чтобы серьезно и торжественно поразмышлять о своем ближайшем великом предназначении, на указанном выше материале, который обещает, кажется, неиссякаемый предмет для разговора.

Вот что хотел я сказать о непосредственном красноречии, которое животворит сильнее всего, излучаясь на публику лицом к лицу.

Что касается другого рода красноречия, которому нужны буквы, как средства, то следует издать прокламации к армии, или для того, чтобы разумно и со всей определенностью и различием признать и похвалить в них правильное, или же, не просто угрожая, но в то же время и убеждая их волю, советуя им сохранять в тех провинциях, которые они проходят, самообладание, благонравие и порядок. Следует издать прокламации к населению провинций, захваченных нашим походом, в которых бы мы знакомили их с нашим намерением, заключающимся не в том, чтобы ограбить или поработить их, но в том, чтобы возвратить им мир, свободу и спокойствие, и внушали им согласие с этим намерением.

Хотя это и выходит за границы той задачи, которую я намерен взять на себя, однако я желал бы все-таки, чтобы, при упоминании задачи таланта в этой войне за человечество, мне было позволено для полноты картины прибавить, что, как мне кажется, при объявлении ее также нужно будет издать манифест, который бы громко и недвусмысленно выражал цель этой войны, в непревзойденной для нас самих форме защищал бы нас от подозрений в каких бы то ни было иных намерениях, и решил бы таким образом в нашу пользу общее мнение Европы, – небезупречного союзника, и лучшего союзника, какой может быть у нас

ввиду характера настоящей войны. Мы должны будем признаться себе, что пора, наконец, удалить от этой священной борьбы все проекты мелочно рассчитывающей кабинетной политики, – и если мы действительно решились вступить в эту борьбу, то эту свою решимость мы должны подтвердить и недвусмысленно засвидетельствовать делом!

Речи к немецким воинам в начале похода 1806 года (фрагмент)

Вступительная речь

Кто такой оратор? Помимо прочего, он посланец науки и таланта. Вы знаете, что все состояния вверили вам самые дорогие свои интересы, безмолвно взывая к вам. желая защитить ваше движение вперед, ваше здоровье и благополучие. Вам вверена теперь и наука, и все дальнейшее духовное образование человечества. Наука может говорить, и она говорит; она молит вас словом; но она не молит, она доверительно предрекает вам, – не боясь, что будущее посрамит или расстроит ее надежды, – что предстоит вам совершить также и для нее.

Она окидывает взором все прочие интересы, даже самые священные из них; поэтому она может оценить величие заслуги в том, что будет вами исполнено. Она желает заниматься только высшим, тем, что видит не каждый глаз. Если бы это было ей нужно, она заставила бы и эти, самые священные интересы духа, умолять вас; сейчас же она всего лишь приглашает их в свидетели возвышенности и ценности ваших будущих деяний, истолковывая перед вами на этих высших интересах самый потаенный и сокровенный смысл, облагораживая и освящая ваши деяния значением их для вас самих.

Каким органом пользуется она и объемлемые ею интересы? Человеком, образ мысли и умонастроение которого, по крайней мере, не вовсе неизвестны немецкой нации, но уже более десяти лет зримо обнаруживаются пред нею; за которым каждый признает, по крайней мере, что взгляд его не прилеплялся к праху земному, но всегда искал созерцания непреходящего, что он никогда не скрывал, трусливо и малодушно, своих убеждений, но, жертвуя для них всем, гласно исповедовал их, и образ мысли которого делает его не вовсе недостойным того, чтобы говорить о смелости и решительности в кругу смельчаков. Если он должен удовольствоваться тем, чтобы говорить речи, если он не может сражаться в ваших рядах, и рядом с вами, то в этом повинна лишь его эпоха, которая до такой степени разделила призвание ученого от призвания воина, и образование дельного воина не включает в план образования ученого. Но он чувствует, что если бы он умел владеть оружием, он не уступил бы в смелости никому из вас: он сожалеет, что эпоха не позволяет ему, как это было некогда позволено Эсхилу и Сервантесу, подтвердить свое слово могучим деянием, и в настоящем случае, который он осмеливается считать новой задачей своей жизни, он охотнее приступил бы к действию, нежели к слову.

Но теперь, когда он может только говорить, он желал бы, чтобы речь его разила, как меч, как молния. И он не хочет, чтобы речь его текла уверенно и безопасно. В этих речах он станет выражать истины, сюда относящиеся, со всей ясностью, с какой он их постигает, со

всей силой убеждения, на какую он способен, ручаясь за них собственным своим именем, истины, за которые перед судом врага он повинен был бы смерти. Но он не будет из-за этого малодушно скрываться, но перед лицом вашим клянется или жить свободным вместе с отечеством, или погибнуть, если оно погибнет.

Он последовал этому призванию единственно лишь по влечению своего сердца; то, что он говорит – это его собственные воззрения и убеждения, а не такие, которые поручили ему излагать другие, и излагая их, он не имеет никаких иных намерений, кроме этого. Поэтому он хотел бы и отвечать за них сам единолично. – И позвольте ему говорить с вами тем более, что его влечет к этому подлинная потребность сокрыть свои мысли из привычного их окружения в вашем обществе, в вашем образе, как в некоем убежище. Ибо нужно сознаться, и это очевидно: немецкая нация по своей вине, бремя которой могут полностью сложить с себя лишь очень немногие индивиды, навлекла на себя ту участь, которая ныне вложила вам в руки оружие, и она, к сожалению, заслужила то, от чего, я надеюсь, избавят нас теперь ваши победы. Вялость, трусость, неспособность к жертвам и риску, неспособность ставить на карту жизнь и имущество там, где дело идет о чести, – желание лучше терпеть и позволить повергнуть себя все глубже в пучину позора, – таков был до сих пор характер времени и его политики. Это и есть привязанность к праху, которая считает экзальтацией всякую попытку возвыситься над ним и находит ее даже смешной. – Человек чего-нибудь стоит, только когда он рискует жизнью, только если есть в нем воля, которая не склоняется ни перед чем и ничего, даже самой смерти, не страшится. Экзальтация есть единственно достойное уважения, есть подлинно человеческое. А эта тривиальность обыкновенного есть безволие, с которым слишком часто соединяется и безмыслие.

Что же такое характер воина? Он должен быть способен пожертвовать собою; и в нем воспитывают эту способность. В нем не может иссякнуть подлинно нравственное умонастроение, настоящее честолюбие, – возвышение к тому, что выше жизни, выше ее наслаждений. Пусть не найдет к вам доступа расслабляющая теория нравственности, жалкая софистика, – пусть их величайшие и влиятельнейшие приверженцы постараются, по крайней мере, удержать их подальше от вас. – Тот, кто возвысил свой дух спекулятивной мыслью и общением с древними и лучшими среди новейших писателей, и кто стал бы искать кого-нибудь единомысленного себе в действительном мире, – где найдет он его, если не среди вас? Расплывчатость, если только потребовать от нее хоть раз серьезно возвысить дух к идеям, сразу будто бы съежится и сожмется: и смех – вот то указываемое вам сами естественным инстинктом средство против этого непривычного и мучительного чувства, которое позволяет нам вновь приятно расширяться душой. Вы смеетесь в лицо тому, кто предостерегает вас об опасности! О если бы мне удалось впервые высказать перед вами истины о высшем миропорядке, и не услышать сразу же в ответ хохота тех, к кому я обращался!

У вас есть, и вам сейчас представится, случай удостовериться в этой высокой ценности вашего дела. Перед битвой в отношении к войне: не колебаться и желать только войны, но твердо и обдуманно предвидеть все ее последствия. В битве: в пылу и суматохе боя хранить в душе своей твердое сознание, даже умирая, думать о победе, об отечестве, о вечном. Этот случай не представится никому так, так вам теперь: в этом вам можно позавидовать. Но одним своим примером вы подействуете и на других, внесете твердость и силу и в

остальную нацию, в ту часть ее, которая была прежде мертвой и расслабленной. К вам с надеждой обращает свой взор друг человечества, друг немцев. При виде вас поднимается в нем с новой силой поверженная была надежда! – О если бы я мог говорить с вами живым словом, воодушевляясь и сам при виде вас! Но пусть и теперь наша общая любовь пробудит к жизни мертвую букву, и пусть наше общее настроение послужит вам верным переводчиком.

В отношении безымянного [56]

При каких условиях могут возникать династии? Династии новейшего времени возникли из уже имевшихся прежде отношений доверия, а кроме того, из связи подданных с землей. Так было во Франции. В эти чуждые для него права вступает узурпатор: именно в том и состоит существо узурпатора, что он использует для себя вещи, на которые не приобрел права, но которые украл у врага. – Как возникли древние династии, например, римская? Император, который в то же время, вследствие постоянной вражды группировок, упорядочил строй республики. При этом введение наследственности власти произошло, собственно, всего лишь в подражание королям варварских народов. – Нет ли в этом последнем некоторого сходства с нынешним случаем? Но тогда он должен был бы оставить в покое республику и объявить себя лишь протектором, главой этой республики, соединяя в своем лице высшие звания республики, как это сделал Август: а не возлагать на себя новое звание – корону⁵⁷. Он есть в то же самое время и узурпатор прав всех прочих монархов, ибо желает, чтобы его считали подобным им, и тем самым хитростью переманивает на свою сторону их мнение. (Это, может быть, так; но что за честь французам, если они спешат доставить короны и его братьям, достоинство принцев – и его племянникам⁵⁸?)

Правители новейшего времени были собственно только домохозяевами, а их подданные были у них наемными слугами на различных условиях найма; они по крайней мере имели то благо, что умели поддерживать среди подданных порядок с помощью полиции. Вопрос состоит в том: когда подобные новые династии сделаются уже невозможными? Прежде всего: если народ и Европа будет видеть ясно и заботиться об общественных делах. И глубже: если будет возможно государство, и если его будут желать народы. Но государство, согласно своей идее, стремится содействовать достижению цели народа с помощью общей воли. А эти, подобные полиции, государственные заведения предоставляют большую часть этой заботы на собственное усмотрение властителей. – Но в действительности оба эти воззрения весьма близко подходят друг к другу. Можно говорить о безопасности Европы – ведь Он и сам так говорит! – и все-таки иметь в виду при этом только экономическую цель государства. (Мы увидим, что идея государства была впервые развита в особенности в имперском устройстве Германии.) Откуда же тогда взять решающий критерий правого и подлинного настроения?

1). Там, где в личности правителя нет вовсе никаких подобного рода эмолюментов (ничего, кроме содержания), и там, где нет наследственности власти, сама возможность экономической цели совершенно исключена, и побудительным началом может быть только идея общежития (как во всех республиках).

2). Но там, где, например, еще сохраняется наследственная власть, как может все-таки выступить пред нами государство также и там, т. е. как можно было бы приукрасить наследственность власти и как возможно терпеть ее там, где она есть?

Это должна сделать вера, доверие. Ими до сих пор правила эта королевская фамилия, при ней они выросли. Вера именно что взаимна. Здесь как бы божественное призвание, и потому вера в обязанность, заменяющая собою ответственность. Но эта вера никак не может быть свойственна узурпатору. В этом – основное различие.

Кто-нибудь должен, наконец, взять на себя ответственность, если этого не желает сделать, или вследствие форм государственного устройства не вправе сделать, весь народ. Человек говорит: так было угодно Богу, чтобы я жил в монархии (где все прочие люди верят в нее), и чтобы этот человек был моим монархом. Так было угодно Богу, думает монарх, что все зависит именно от моего решения и от способности моего ума. – Не так узурпатор. Для чего же ты втерся к ним в доверие? Ясно, что многое изменилось, что произошло немало несчастий от того, что ты занял это место: но разве ты не думаешь когда-нибудь отвечать за это? Если верно, что французы избрали тебя, то пусть они сами терпят последствия. Но почему же мы, прочие европейцы, которые не избирали тебя, оказались принуждены терпеть твои непомерные притязания? Если бы был у вас наследственный монарх, тогда, по крайней мере, другие наследственные монархи не могли бы на него жаловаться. Но то, что вы из республики впали в наихудшую деспотию, есть преступление вашей трусости перед человечеством.

То, чего человечество не постигает умом, есть в конце концов перст Божий; и даже человек, который лучше знает это, вынужден бывает смириться. А ведь наследственный властитель правит также вместе со своими министрами; если этих министров он выбирает, может быть, руководствуясь общим голосом всей нации, – то ведь в таком случае он негласно учреждает республику (Freistaat). Дело не во внешней форме. Его опорой служит вера его и других и их взаимное доверие.

Это два весьма различных вопроса: чем отличается узурпатор от действительного наследственного монарха, и когда могут возникать новые монархии? Ответ на первый вопрос: наследственный монарх может верить в себя и иметь чистую совесть, а узурпатор – никогда.

(От этой нечистой совести происходит и внутреннее беспокойство и недоверчивость, суеверие и толкование тайных знаков: все эти люди воображают, будто борются с тяжелым роком).

Второй вопрос не следует смешивать с тем, с которым мы его только что спутали: при каком условии могут сохраниться старые династии? Ведь это последний вопрос здесь поднимать не нужно.

Первый же вопрос тесно связан, мне кажется, с нашими понятиями о земельной собственности; а эти понятия – в свою очередь с понятием о человечестве, как органическом целом, или же агрегате индивидов. (Мы предполагаем здесь, что наследственный князь

земли постепенно превратился в правителя народа, и что в народе в целом эти понятия еще смешаны и слиты друг с другом. Впрочем, Roi de France и Roi des Français⁵⁹ – это большая разница; но первый может постепенно стать вторым, и он может утвердиться в конце концов в общем сознании народа и явиться конституционным путем.)

Исторически королевство в первой форме исходило от земли, как земля же служила и доказательством подданства. Здесь, напротив, земельная собственность исходит от королевства: там реализм, здесь идеализм. Там каждый заботится о себе, и хотя все они подчиняются полицейским законам и должны платить налоги властителю земли, но все же их частное владение и его обеспечение есть здесь высшее, и конечная цель государства в этом отношении. Здесь высшее есть нация, общность, и ее цели, и все возникает здесь только из понятия о взаимности услуг. Поэтому там – собственность гражданина на землю как основа всякого владения; здесь же только условное пользование тем, что принадлежит общности, государству.

Поэтому вопрос вовсе нельзя ставить так: при каком условии могут возникать новые династии?, – ибо никакая новая династия вообще возникнуть не может, – но вопрос стоит так: при каком условии может вообще возникнуть нечто подобное? Основная мысль здесь такова: наследственный монарх встречает в других веру в себя, и совесть его может быть чиста. Если тот, кто учреждает династию, подобен ему в этом и отличается, именно этим же, от узурпатора, то это возможно лишь благодаря тому, что его избирает народ, мирным путем, одновременно с правом передавать свою корону по наследству. Примера монархов совершенно такого рода я в новейшей истории не припоминаю, ведь избрание Ганноверского дома на английский престол опиралось все-таки на соображения родства, и в этих соображениях находило источник ее прав. Но как бы то ни было, новую династию нужно рассматривать как без сомнения легитимную, если ее основатель обязан своей должностью избранию народа.

Примечания

1 Первое издание: Berlin 1808. Im Verlage der Realschulbuchhandlung. Второе издание: Leipzig 1824, bei Herbig. Fichtes sämtliche Werke Bd. VI, S. 257–302.

2 «Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters» – публичные лекции Фихте в Берлине зимой 1804–1805 гг., напечатаны в 1806 г. Имеется русский перевод (Фихте И. Г. Основные черты современной эпохи. СПб., 1906), в последние годы переизданный. В настоящих примечаниях цитируется по изданию: Fichte J. G. Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters. Hg. v. Alwin Diemer. 4. Auflage. Hamburg, Meiner, 1978. (Philosophische Bibliothek Bd. 247).

3 «Über Macchiavelli als Schriftsteller, nebst Auszügen aus seinen Schriften» (1807) – работа, написанная Фихте во время его пребывания в Кенигсберге, с целью убедить современных ему князей в необходимости широкого политического взгляда на свои задачи и в гибельности узкого лжегосударственного эгоизма.

4 «История Флоренции» – сочинение итальянского политического мыслителя Николо Маккиавелли (1469–1527). Русский перевод: Макиавелли Н. История Флоренции. Л., 1973.

5 «Il Principe» («Государь») (1532) – наиболее известное и влиятельное из сочинений Маккиавелли, посвященное созданию сильной власти при отсутствии гражданской добродетели в народе; как частное лицо государь подлжит моральной норме, как политический деятель он может ею пренебречь во имя достижения мощи и благосостояния государства. Это убеждение Маккиавелли сделало самое понятие макиавеллизма нарицательным словом для обозначения имморальной политической философии. «Рассуждения на первую декаду Тита Ливия» – трактат Маккиавелли, где выясняется отношение древних римлян к государству и доказывается, что этот гражданский, республиканский дух римлян является идеалом и для современного Маккиавелли, по его убеждению упадочного, состояния итальянского государства. См.: Макиавелли Н. Сочинения. Том 1. М.-Л., 1934.

6 «Желая удовлетворить воле честного мужа Антонио» (лат.)

7 «Der Patriotismus und sein Gegenteil» (Патриотизм и его противоположность) – два диалога из наследия Фихте, написанных в 1806–1807 году. См.: Fichte J. G. Sämtliche Werke. Band 11, S. 221 и след.

8 «Что касается меня, я полагаю, что настоящее время находится как раз в середине совокупного мирового времени... в настоящем времени соединяются концы двух миров, совершенно различных по своему принципу, – мира ясности и мира тьмы, мира принуждения и мира свободы, не принадлежа однако же ни одному из этих миров. Или еще так: настоящее время находится, по моему мнению, в эпохе, которая, по указанному мною выше исчислению, была третьей – в эпохе освобождения непосредственно – от повелевающего

человеком внешнего авторитета, а косвенно – от подчинения инстинкта разума, и вообще разума в какой бы то ни было форме: эпохе абсолютного равнодушия ко всякой истине, и полной раскованности без какой-нибудь путеводной нити; состоянии законченной порочности... для эпохи, которая освобождается от власти первого (инстинкта разума), не получая вместо него разума в иной форме, не может остаться решительно ничего реального, кроме жизни индивида и того, что связано с нею и относится к ней» (S. 21, 25–26). «Мы все зачаты и рождены в эгоизме, и жили в нем, и нам стоит труда и борьбы умертвить в себе эту свою вторую природу» (S. 39).

9 См. «Наставление к блаженной жизни», речи первая, четвертая, десятая: «подлинная жизнь и блаженство жизни состоят в соединении с неизменным и вечным; вечное же можно охватить единственно и только мыслью... Итак, подлинная жизнь и блаженство ее состоят в мысли, т. е. в известного рода определенном воззрении на нас самих и на мир, как на происшедшие из внутренней и в себе сокрытой Божественной сущности... Источник жизни – в духе, в основанной на самой себе жизни мысли» (Фихте И. Г. Наставление к блаженной жизни. М., 1997. С. 15); «кроме Бога решительно ничто не существует поистине и в собственном смысле этого слова, не считая лишь знания; а это знание есть само божественное существование, прямо и непосредственно, и насколько мы суть знание, мы сами, в глубочайшем корне нашем, суть это божественное существование... Для блаженной жизни требуется, чтобы эта живая религия достигла по меньшей мере того, что укрепила бы в нас сердечное убеждение... в бытии нашем единственно в Боге и благодаря ему, чтобы мы по крайней мере всегда и непрерывно чувствовали эту связь и чтобы она... была... определяющим основанием всех наших мыслей, чувствований, движений и побуждений (Там же. С. 49–50).

10 «Первый, самый низший, поверхностный и спутанный способ восприятия мира есть тот, при котором мы считаем миром и действительно сущим то, что дается внешним чувствам, считаем это высшим, подлинным и для себя существующим... Второе воззрение, рождающееся из изначального дробления возможных мировоззрений, есть такое, когда мир постигают как закон порядка и равного права в системе разумных существ... Закон... есть для этого воззрения нечто подлинно реальное и для себя самого существующее, – то, с чего начинается мир и в чем заключается его корень... реальность и самостоятельность человека доказывается лишь царящим в нем нравственным законом и... лишь благодаря последнему человек становится чем-то сам по себе» (Наставление к блаженной жизни. С. 65, 66, 67).

11 «Цель земной жизни человечества состоит в том, чтобы в этой земной жизни оно свободно устроило все свои отношения в соответствии с разумом... Эта свобода должна явиться в совокупной жизни человечества, и выступить в его жизни как его собственная свобода, как подлинное действительное деяние, и как порождение рода» (Основные черты современной эпохи. S. 11). «Но весь путь, который... проходит здесь человечество, есть не что иное, как возвращение в ту точку, в которой оно находилось уже в самом начале, и не имеет в виду ничего, кроме возврата к его истоку. Только человечество должно пройти этот путь своими собственными ногами; оно должно собственной своей силой вновь сделать себя тем, чем оно было без всякого своего сознательного содействия; и поэтому оно должно было перестать быть этим» (Ibid. S. 15).

12 Книга пророка Иезекииля, 37, 1-10.

13 Исследователи отмечают значительную близость этого и многих других ключевых положений философии языка у Фихте к философским и языковедческим воззрениям Вильгельма фон Гумбольдта, и даже говорят о прямом влиянии Фихте на Гумбольдта в этом отношении. Ср., например: «Он (язык) обладает некоторой зримо открывающейся нашему взгляду самодеятельностью, и с этой стороны он есть не создание наций, но дар, доставшийся им силою их внутренней судьбы» (Humboldt W. von. *Gesammelte Schriften*. Bd. 7. Berlin, 1921. S. 17). «Всякая речь, начиная с самой простейшей, есть присоединение отдельного восприятия к общей человеческой природе» (Ibid. S. 56).

14 Имеется в виду целый ряд мест в Библии, где в немецком Лютеровом переводе стоит *Gesicht* – видение, вид. Русский перевод не обнаруживает, конечно, того именно, на что хочет указать здесь Фихте, но сохраняет живую конкретность этого пророческого видения, в противоположность пустому лже-видению лжепророков. Особенно близко место из Книги пророка Иоиля, 2, 28: «И будет после того, излию от духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения». Также следующие места ветхозаветного текста: Книга Чисел, 12, 6 («И сказал: Слушайте слова Мои: если бывает у вас пророк Господень, то Я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним»); Книга пророка Иезекииля 1, 1 («разверзлись небеса, И я видел видения Божиия»); Книга пророка Даниила 1, 17 («И даровал Бог четырем сим отрокам знание и разумение всякой мудрости, а Даниилу еще даровал разуметь и всякое видение, и сны»); 4, 6-7; («Видения же головы моей на ложе моем были такие»); Книга Иова, 7, 14 («Ты страшишь меня снами и видениями пугаешь меня»); Книга пророка Иезекииля 40, 2 («В видениях Божиих привел он меня в землю Израилеву»); 8, 31 («и принес меня в видениях Божиих в Иерусалим»); 12, 24.

15 «Немецкое название» для философии есть предложенное самим Фихте слово «наукоучение». См. первое упоминание термина: «вопрос ставится так: Как возможно вообще содержание и форма науки, т. е. как возможна сама наука? Нечто, в чем будет дан ответ на этот вопрос, будет само наукой и именно наукой о науке вообще... Наименование подобной науки, возможность которой до сего времени проблематична, произвольно... Нация, которая найдет эту науку, будет, конечно, достойной дать ей имя из своего языка; и она может называться тогда просто наукой или наукоучением. Так называемая до сих пор философия стала бы таким образом Наукой о науке вообще» (Фихте И. Г. О понятии наукоучения или так называемой философии // И. Г. Фихте. Избранные сочинения. Том 1. М., 1916. С. 16-18).

16 Говоря о философах, для которых метакритика языка есть основная или единственная задача философии, Фихте намекает на Иоганна Георга Гаманна (1730-1788) немецкого философа и литератора, предвосхитившего собою тип критика культуры и повлиявшего также на поколение предромантиков и «бурных гениев» конца XVIII века. Один из первых критиков Канта как «пуриста разума».

17 Подразумевается, вероятно, комедия Мольера (1622-1673) «Тартюф, или обманщик» (1669), основной темой которой именно и является обличение лицемерия и ханжества.

18 Тема из «Теогонии» Гесиода, где младшее поколение богов побеждает древних владык космоса и ссылает их в темноту и ничто нижнего мира, Тартара.

19 Гораций. Оды, III, 4, 53 ff.:

Но что Тифей и мощный Мимант могли Иль грозный видом Порфирион свершить, И Рет и Энкелад, метавший Груды исторгнутых с корнем вязов, – Когда Паллада мощный простерла щит Навстречу дерзким... (пер. Н. С. Гинцбурга) Квинт Гораций Флакк. Полное собрание сочинений. М.-Л., 1936. С. 97–98.

20 Место, к которому относится примечание, соответствует тексту на с. 38–39 настоящего издания.

21 «Еще более азиатским» стало христианское учение, по мнению Фихте, под влиянием апостола Павла. Истинное христианское учение заключено для философа в учении апостола Иоанна Богослова. См. об этом: Основные черты современной эпохи. S. 103–105.

22 Курфюрст Саксонский Фридрих Премудрый (1463–1525, правил 1486–1525). Хотя курфюрст Фридрих не объявлял себя открыто сторонником реформации и до конца дней своих считал себя верным сыном римско-католической церкви, однако оказывал помощь Мартину Лютеру (в частности, выдал ему паспорт для свободного проезда на Вормсский рейхстаг, предоставлял защиту во время пребывания в замке Вартбург). Лично он никогда не видался с Лютером. Историки признают, что именно сдержанная, но недвусмысленная политика курфюрста Фридриха в отношении реформации обеспечила ей успех и распространение в Германии.

23 Виттенбергский университет, основанный курфюрстом Фридрихом Саксонским в 1502 году, впоследствии одна из основных опор лютеранской реформации в ученом мире.

24 Лейбниц, Готтфрид Вильгельм (1646–1716) – немецкий философ, математик, физик и изобретатель. Основные сочинения на русском языке: Лейбниц Г. В. Сочинения: В 4 т. М., 1982–1989. О Лейбнице см.: Герье В. И. Лейбниц и его век. Т. 1–2. СПб., 1868– 1871. Фишер К. История новой философии. Т. 3. СПб., 1907.

25 Немецкий философ Иммануил Кант (1724–1804), создатель системы критического идеализма, развитием и завершением которого считал свою философию Фихте. См. о нем: Гулыга А. В. Кант. М., 1977.

26 Вот как говорил об этом сам Кант: «Я охотно признаюсь: указание Давида Юма было именно то, что впервые – много лет тому назад – прервало мою догматическую дремоту и дало моим изысканиям в области умозрительной философии совершенно иное направление. Но я далеко не последовал за ним в его заключениях, явившихся только вследствие того, что он не представил себе своей задачи в ее целостности, а попал лишь на одну ее часть, отдельное исследование которой не может привести ни к какому результату. Когда начинаешь с основательной, хотя и не выполненной мысли, доставшейся нам от другого, то можно надеяться при продолженном размышлении довести дело дальше, чем докуда дошел пронизательный человек, которому мы обязаны первою искрой этого света» (Кант И.

Пролегомены ко всякой будущей метафизике, могущей возникнуть в смысле науки / Пер. Вл. Соловьева. М., 1889. С. 10–11).

27 См.: Наставление к блаженной жизни, чтение четвертое. С. 51–60, особенно С. 55–58.

28 См. «Наставление к блаженной жизни», чтение 11-е (Примечание Фихте) [см.: Наставление к блаженной жизни, чтение одиннадцатое. С. 156–159].

29 Имеется в виду «философия природы» Фридриха Вильгельма Йозефа Шеллинга, как она представлена, во всяком случае, в следующих его произведениях: «Идеи к философии природы» (1797), «Введение к наброску философии природы» (1799), «Система трансцендентального идеализма» (1800). Однако нужно заметить здесь, что уже «Изложение моей системы философии» (май 1801) не знает этой самосущей философии природы, а потому не подпадает под эту критику Фихте. В известной степени Фихте мечет критические молнии в ту форму шеллингианства, которая, хотя осталась весьма влиятельной также и впоследствии, причем не только в самой Германии (вспомним русских профессоров-шеллингианцев, не оставшихся равнодушными к «философии натуры»), но на которую сам Шеллинг мог уже не обращать внимания, как на превзойденный им (не без воздействия критики со стороны самого же Фихте) этап собственного развития.

30 Эта «другая философия» есть последовательный философский реализм наподобие пантеистического Спинозизма или материализма.

31 Тело представлялось темницей духа, или как бы местом его временной ссылки, у Платона и философов, продолживших его традицию, хотя в платонизме же было распространено и представление о душе как идее тела, «душа туго-натуго связана в теле и прилеплена к нему, она вынуждена рассматривать и постигать сущее не сама по себе, но через тело, словно бы через решетки тюрьмы, и погрязает в глубочайшем невежестве. Видит философия и всю грозную силу этой тюрьмы: подчиняясь страстям, узник сам крепче блюстителя караулит собственную темницу... философия берет ее (душу. – А. С.) под свое покровительство и с тихими увещаниями принимается освобождать» (Платон. Федон // Платон. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 1. М., 1993. С. 39). Ср.: «еще не отмеченные, словно надгробием, той оболочкой, которую мы теперь называем телом» (Платон. Пир // Там же. С. 159).

32 У Тацита германцы говорят о римлянах так: «Вспомним о римской алчности, жестокости и надменности; есть ли у нас другой выход, как только отстоять свою независимость или погибнуть, не давшись в рабство?» (Публий Корнелий Тацит. Анналы. II, 15 // Публий Корнелий Тацит. Анналы. Малые произведения. История. М., 2001. С. 62).

33 Имеется в виду драма Вольтера «Фанатизм, или Магомет пророк» (1742).

34 «Не противься злему. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую, и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду» (Евангелие от Матфея, 5, 39–40).

35 Иоганн Генрих Песталоцци (1746–1827) – швейцарский педагог, один из основоположников дидактики начальной школы. Поставив идеалом воспитание, сообразное природе человека в духе Руссо, стремился развивать силы духа и тела воспитанников на основе присущего им влечения к всесторонней деятельности. Основой такого развития полагал систематическое упражнение ума и руки в семье и в школе. Разработал методики обучения детей счету, измерению и речи. Создал по своей системе институты в Бургдорфе и Ивердоне. Основные сочинения: «Лингард и Гертруда» (1781–1787), «Как Гертруда учит своих детей» (1801), «Письмо к другу о пребывании в Станце» (1827).

36 «Я и в самом деле, с каждым днем более, организовывал преподавание в моей школе согласно с предчувствием подобного рода правил, но основного начала их я не осознавал, пока исполнительный советник Глере, которому я прошлым летом попытался объяснить существо моей работы, не сказал мне: “Vous voulez mécaniser l’éducation (Вы хотите механизировать образование (франц.))”. – Я еще очень плохо понимал по-французски. Услышав это слово, я подумал про себя, будто он хочет сказать, что я пытаюсь поставить средства воспитания и преподавания в психологически упорядоченную последовательность, и если принимать это слово в таком смысле, оно действительно попало в самую точку, и, как я полагал, назвало мне то самое слово, которое обозначало существо моей цели и всех средств к ее достижению» (Pestalozzi J. H. *Sämtliche Schriften*. Bd. 5. Stuttgart-Tübingen, Cotta, 1820. S. 25).

37 «И чем более я рассматривал этот последний (народ), тем более находил, что все то, что льется, казалось бы, могучим потоком в книгах для народа, то самое, если посмотрим на него в деревне и в школьной комнате, рассеивается и обращается в туман, во влажной тьме которого народ не намокнет, но и сухим не останется, и который, в свою очередь, не доставляет ему ни преимуществ дня, ни преимуществ ночи. Я не мог скрыть от самого себя, что школьное преподавание, как оно осуществлялось в действительности на моих глазах, для большой массы народа вообще и для самого низшего класса народа, – во всяком случае насколько я сам наблюдал на деле это преподавание, – ровно ни на что не годится» (Ibid. S. 96).

38 «Все обучение человека есть не что иное, как искусство содействовать природе в этом ее стремлении к собственному развитию, а это искусство в существенной мере основывается на соразмерности и гармонии тех впечатлений, которые мы собираемся оставить в душе ребенка, с определенной степенью его собственной развитой силы. Поэтому в тех впечатлениях, которые обучение должно сообщать ребенку, необходимо заключена некоторая последовательность, начало и дальнейший ход которой должны точно следовать за началом и дальнейшим ходом сил ребенка, которые мы намерены развивать... Мне стало ясно: в ребенке следует развить высокую степень навыков созерцания и владения речью, прежде чем разумно будет учить его читать или хотя бы только разбирать буквы в словах; а когда я сделал такой вывод, то решил про себя, что дети в самом раннем возрасте нуждаются в психологическом руководстве к разумному созерцанию всех вещей (Ibid. S. 26–28).

39 «Наряду с действительным созерцанием, язык... есть первое познавательное средство для человеческого рода» (Ibid. S. 41). «Конечная цель языка очевидным образом

заключается в том, чтобы привести человеческий род от смутных созерцаний к отчетливым понятиям» (Ibid. S. 134).

40 Pestalozzi, Johann Heinrich. *Wie Gertrud ihre Kinder lehrt. Ein Versuch, den Müttern Anleitung zu geben, ihre Kinder selbst zu unterrichten. In Briefen* (1801). (Как Гертруда учит своих детей. Опыт руководства для матерей, желающих самостоятельно обучать своих детей. В письмах).

41 «Итак, я спрашиваю себя: Почему я прихожу вообще к мысли о том, чтобы любить людей, доверять людям, благодарить людей, повиноваться людям? Как возникают в моей природе чувства, на которых существенным образом основаны человеколюбие, благодарность людям и человеческое повиновение? – и я нахожу, что они исходят, главным образом, из того отношения, которое существует между несовершеннолетним ребенком и его матерью» (Ibid. S. 259; далее эта мысль конкретизируется и развивается: S. 259–270). «Пусть первое обучение ребенка никогда не будет делом головным, никогда не будет делом разума; – пусть оно навек останется делом чувств, пусть оно навек останется делом сердца, делом матери... пусть обучение человека долго остается делом сердца, прежде чем оно начнет становиться делом разума, – пусть оно долго остается делом женщины, прежде чем начнет становиться делом мужчины» (Ibid. S. 270).

42 «В этой работе я постепенно развил идею о возможности некоторой азбуки созерцания» (Ibid. S. 23). «Азбука созерцаний..., то есть искусство упрощать и определять правила измерения посредством точного разграничения всех неравенств, которые обнаруживаются в созерцании предметов» (Ibid. S. 160).

43 *Ansichten, Erfahrungen und Mittel zur Beförderung einer der Menschennatur angemessenen Erziehungsweise. Leipzig 1807, bei Gräff.*

44 «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море» (Евангелие от Марка, 9, 42).

45 «Моя цель заключалась, собственно, в том, чтобы соединить учебу с трудом, учебное заведение с промышленным, и сделать так, чтобы то и другое слилось между собою неразделимо» (Ibid. Bd. 9. Stuttgart-Tübingen, Cotta, 1822. S. 38).

46 Намек на галломанию господствующего тона светского и литературного обихода.

47 Судя по всему, подразумеваются латинский язык древности и польский – из новых языков (после разделов Польши, она как государство окончательно перестала существовать, и агитация наполеоновской армии за независимость Польши также была для самого Наполеона не более чем политически рассчитанной фразой).

48 Лужичане (называемые по-немецки сорбами или вендами) – народность в Германии. Говорят на языке западнославянской группы. В конце 10 века земли лужичан, составлявших прежде того даже особое вендское государство, были завоеваны немецкими феодалами, а сами они оказались на многие века в положении угнетенного национального меньшинства. Литература на лужицком языке существует с 16 века, но в настоящем смысле только с 19 века. Фихте – уроженец Саксонии, на землях которой проживает большинство лужичан –

конечно, не понаслышке знал о положении этого народа и его языка, так что пример далеко не случаен.

49 О том, почему мы приводим здесь только содержание этой речи, а не саму речь, см. прим. в конце речи.

50 Фихте имеет в виду свое произведение: *Der geschlossene Handelsstaat* (1801), в русском переводе: Фихте И. Г. *Замкнутое торговое государство*. М., 1923.

51 Имеется в виду, очевидно, аристократическое дворянство германских государств.

52 Прождав несколько недель возвращения мне рукописи этой тринадцатой речи, представленной мною в цензурное ведомство, я получил наконец, вместо этой рукописи, следующее письмо: «Рукопись господина профессора Фихте, после того как уже было выдано разрешение на ее опубликование, была по какой-то случайности утрачена, и несмотря на все наши старания, вновь обнаружить ее не удалось.

Чтобы не создать теперь задержки в напечатании книги для издателя и проч. Раймера, прошу Вас, Ваше благородие господин профессор Фихте, восполнить эту речь из Ваших конспектов и прислать ее мне для выдачи цензурного разрешения.

Берлин, 13 апреля 1808. Фон Шеве». Того, что в этом письме понимается, вероятно, под «конспектами», я не держу, а то, что было приготовлено мною и записано на дополнительных листах, я предал огню при случившемся в это же время переезде на новую квартиру. Поэтому я вынужден был настаивать на том, чтобы вновь была отыскана рукопись, которая – никак не должна была затеряться. Этого, как меня уверяли, не удалось сделать даже в результате самых тщательных розысков; во всяком случае, этого не было сделано, и этот пробел мне пришлось восполнять, чем я только мог.

Поскольку я принужден, в оправдание себе самому, довести этот случай до сведения иностранной публики, я прошу однако эту публику быть уверенной в том, что те явления, которые можно найти и в самом этом случае, и в вышеприведенном письме об этом случае, отнюдь не составляют у нас общепринятого обычая, но что этот случай есть лишь крайне редкое, и быть может никогда в таком виде не бывалое исключение, и есть все основания ожидать, что будут приняты меры для того, чтобы подобного более не могло случиться.

53 Стилистика последней речи испытала заметное влияние стилистики Послания апостола Иоанна Богослова, которого философ неслучайно особенно выделял среди учеников Христа как самого, по его мнению, глубокого мыслителя. Сравни: «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали Сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца» (Первое соборное послание апостола Иоанна Богослова, 2, 12–13).

54 Здесь имеются в виду древние германцы в их отношении к римлянам и их просвещению.

55 Написано в 1806 году. Не напечатано. *Fichtes sämtliche Werke*, Bd. VII, S. 503–516.

56 Наполеона.

57 2 декабря 1804 года Наполеон Бонапарт, уже «утвержденный» к тому времени (всенародным плебисцитом) пожизненным консулом Франции, короновал себя в Париже, в Соборе Парижской Богоматери императорской короной и был помазан на императорство папой Римским; 26 мая 1805 года коронован королем Италии (фактически Ломбардии) в Милане.

58 Голландским, Неаполитанским, Вестфальским королями были к тому времени родные братья Наполеона Бонапарта, пасынок его Богарнэ был женат на принцессе Баварской, дядя Наполеона провозглашен преемником Майнцкого архиепископа.

59 «Король французов» (Roi des Français) (точнее: «Император французов») – титул, принятый Наполеоном при коронации.

60 «В одной ли Москве владычествовал Париж? Где не было Французов и Француженок? Где не поклонялись Французским модам? Где новый Французской чепец не составлял всего достоинства головы и души? Где не славилось лепетанье Французское? Где не стыдились быть Русскими? Где не радовались сходству с Французами? ... В несколько месяцев изгнан из России вооруженный Французский разбой, труднее искоренить нравственный разбой Французский... И сей разбой исчезнет с лица земли Русской, если Русские твердо решатся быть Русскими в России» (Русской Вестник, 1814. № 5, с. 25–27). Вообще всякий народ в Европе должен вступить в свои естественные пределы, говорит Глинка.

61 «Философы осьмогонадесять столетия ... порицали все, все опровергали; обещевали беспредельное просвещение, неограниченную свободу, – не говоря, что такое то, и другое; не показывая к ним никакого следа; словом, они желали преобразить все по-своему. Мы видели, к чему привели сии романы, сии мечты воспаленного и тщеславного воображения!» (там же, 1808, № 1, с. 6).

62 «Словесность непосредственно сопряжена с чистотою нравов и добродетелью. Тщеславие и страсти все обезображивают» (там же, с. 105–106). Порчу французского языка Глинка связывает поэтому с эпохой господства эгоизма, с эпохой революции.